ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XI.

ADIUVANTIBUS

J. DOMBROVSZKY, L. KARANCSY, E. NIEDERHAUSER

REDIGUNT

ENDRE IGLÓI, FERENC PAPP

DEBRECEN, 1971

СОТРУДНИКИ НАШЕГО ТОМА

В. М. ГРИГОРЯН
профессор (СССР, Ереван)

ЮЖЕФ ВЕРЕШШ
(см. Slavica II.)

ЮЖЕФ ДРАХОШ
(см. Slavica II.)

ЛАСЛО ИМРЕ
ассистент при Кафедре венгерской литературы (Венгрия, Дебрецен 10)

ЛАСЛО КАРАНЧИ
доцент (см. Slavica I.)

ИШТВАН КОВАЧ
(см. Slavica II.)

БЕЛА ЛЕВАИ
ассистент при Кафедре славянской филологии (Венгрия, Дебрецен 10)

ЯКАБ МАТЭ
старший преподаватель (Румыния, Клуж)

Й. АННА МАТИ
ассистент при Кафедре русской литературы (Венгрия, Дебрецен 10)

ПАЛ МИШЛЕЙ
ассистент при Кафедре русской литературы (Венгрия, Дебрецен 10)

ЭСТЕР ОЙТОЗИ
(см. Slavica II.)

ЯН ОРЛОВСКИЙ
Кафедра славянской филологии, Университет им. Мари Кюри-Склодовской (Польша, Люблин)

М. ЮЛИЯ ПАНДУР
(см. Slavica II.)

ФЕРЕНЦ ПАПП
доцент, зав. Кафедрой славянской филологии (см. Slavica I.)

ЗОЛТАН УЙВАРИ
доцент (см. Slavica I.)

АЛЕКСАНДЕР ФОДО
старший преподаватель (СССР, Ужгород, Госуниверситет)

ЛИДИЯ ХЕГЕДЮШ
ассистент при Кафедре славянской филологии (Венгрия, Дебрецен 10)

ИШТВАН ЧАПЛАРОШ
зав. Кафедрой венгерской филологии (см. Slavica I.)

ПАУЛ ШВАЙГЕР
старший преподаватель (Румыиия, Клуж)

АУГУСТИН ШТЕФФЕН
профессор (Англия, 85 Вест Кромвелл, Лондон, С. В. 5)

ФЕРЕНЦ ЭРДЕИ
старший предодаватель при Кафедре славянской филологии (Венгрия, Дебрецен 10)

ЛАСЛО ЯГУСТИН
ассистент при Кафедре русской литературы (Венгрия, Дебрецен) 10.)

ШАНДОР ЯНОШКА
(см. Slavica II.)

SLAVICA XI.

Kossuth Lajos Tudományegyetem
Felelős kiadó: *Bognár Rezső*
Felelős szerkesztő: *Iglói Endre*
Technikai szerkesztő: *Kovács István*
A kézirat a nyomdába érkezett 1970. novemberében
Megjelent: 1971. november
Készült monószedéssel íves magasnyomással,
az MSZ 5601-50 és az MSZ 5602-55 szabvány szerint
Példányszám: 700. Terjedelem: 13,5 ív
71.6600.66-19-2 Alföldi Nyomda, Debrecen

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XI.

ADIUVANTIBUS
J. DOMBROVSZKY, L. KARANCSY, E. NIEDERHAUSER

REDIGUNT
ENDRE IGLÓI, FERENC PAPP

DEBRECEN, 1971

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 5—15 1971 Debrecen

К вопросу о структурном описании предложения в русском языке

П. Швайгер — Я. Матэ

Формальное исследование языков ставит вопросы, которые лингвист не может решить сугубо лингвистическими методами; теоретические и практические причины, о которых не будем здесь говорить, заставляли и заставляют лингвистов прибегать к приёмам и результатам других наук (формальной и математической логики). В связи с этим считаем особенно важными методы, разработанные польской и венской логическими школами в ходе составления различных искусственных (формальных) языков. В 1953 году Бар-Хиллел создал логико-математическую модель языка, известную под названием категориальной грамматики[1]. Она происходит от семантических категорий Лесневского, и даже может быть связана с «Bedeutungskategorie» Э. Гуссерля и с логическим типом (англ. logical type) Б. Расселя[2]; во всяком случае разработка современной формы этой грамматики связана с именами И. Бар-Хиллела и И. Ламбека.

Бар-Хиллела и Ламбека, в первую очередь, заинтересовало, как можно описать и правильно проанализировать предложения языка, а затем как можно различить беспорядочное множество слов от грамматически правильного предложения. В этой связи мы коснемся и некоторых различий в оценке природы категориальных грамматик. Ф. Кифер[3] считает, что модель Бар-Хиллел-Ламбека — это распознающая модель, в то время, как Хомский[4] считает, что

[1] *Y. Bar-Hille.* Logical Syntax and Semantics, *Language*, 29, 1953 цитирует *Ф. Кифер* в статье «A kategoriális gramatikáról», *Általános Nyelvészeti Tanulmányok*, III , Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 97; *K. Ajdukiewicz.* Die Syntaktische Konnexität, *Studia Philosophica* 1935, 1, цитирует *И. Ламбек.* The Matematics of Sentence Structure, *American Mathematical Monthly*, 65, No. 3, 1958 (см. и русский перевод в томе «Математическая лингвистика» 1964); *Y. Bar-Hillel.* A Quasi-Arithmetical Notation for Syntactic Description, *Language*, 29, 1953.

[2] О сущности категориальной грамматики и ее развития будем говорить основываясь на работу *Ф. Кифера*. Эта работа отличается тем, что в ней впервые исследуется неиндоевропейский язык на основе категориальной грамматики (речь идет о венгерском языке).

[3] *F. Kiefer.* Matematikai Nyelvészeti Tanulmányok, Budapest, 1964, 16.

[4] *Noam Chomsky.* Formal Properties of Grammars, *Handbook of Mathematical Psychology*, Willey 1963, 11 том (смотри и русский перевод, *Кибернетический сборник*, новая серия, 2, Москва, 1966).

это — порождающая модель. Мы считаем эту разницу несущественной, так как в ее рамках имеется противоречие части с целым.

Целью категориальной грамматики является формальное различение категорий предложения от непредложения. Мы согласны с Ламбеком, который считает, что этот предел не является достаточно ясным и точным[5].

Категориальная грамматика опирается на использование некоторых точных категорий[6] для описания и определения слов и словоформ или групп слов. Необходимо подчеркнуть, что в английском языке слова могут принадлежать, как правило, к нескольким типам. Эти грамматики состоят из двух элементарных категорий: n и s[7]. К категории n принадлежит каждое собственное имя и всякое другое слово или группа слов, которые могут заменить собственное имя в грамматически правильном предложении: s — это категория любого правильного повествовательного предложения[8].

Метод, изложенный выше, можно применить и к более сложным повествовательным предложениям. Важно, чтобы при математических сокращениях последняя производная категорий слов (остаток) была бы s. Считаем, что изложенный метод применим и к вопросительным и восклицательным предложениям после употребления некоторых трансформаций[9].

Принимается во внимание несколько типов категориальных грамматик: однонаправленная категориальная грамматика искусственных языков, двунаправленная категориальная грамматика естественных языков (в первую очередь, английского). Упоминается еще о сокращенной категориальной грамматике (англ. restricted)[10]. Однонаправленная категориальная грамматика позволяет лишь правое или левое деления, в то время как двунаправленная категориальная грамматика характеризуется тем, что элемент из оператора может превращаться в аргумент, и наоборот. Сокращенная грамматика состоит из ограниченного числа основных категорий и определенных категорий операторов[11].

Проиллюстрируем определение двунаправленной категориальной грамматики примерами Н. Хомского[12]. Имеется словарь: John и Mary — n, died —

[5] *J. Lambek*. The Matematics of Sentence Structure (русский перевод появился в томе *Математическая лингвисмика*), стр. 47—48.

[6] *Ф. Кифер* цит. работа, стр. 98.

[7] Эти категории называются И. Ламбеком синтаксическими типами; см. цит. р., стр. 47.

[8] *И. Ламбек* цит. р, стр. 49.

[9] Более подробно смотри цитированные работы И. Бар—Хиллела, И. Ламбека, и Ф. Кифера. Нам кажется важным упомянуть цитированную работу Н. Хомского (см. № 4), где разбирается отношение категориальной и порождающей грамматик.

[10] *Y. Bar-Hillel*. C. Gaifman. E. Shamir, On Categorical and Phrase-Structure Grammars. *The Bulletin of the Research Council of Israel*, 9 F. 1, 1960 (русский перевод в томе *Математическая лингвистика*), стр. 108.

[11] См. цит. р. Ф. Кифера стр. 114

[12] *Н. Хомский* цит. р. стр. 228 (русский перевод).

n\s, loves — n\s/n, old—n/n, very — n/n/n/n, is — n\s/n/n. Таким образом непереходный глагол died является оператором, превращающим существительное (И $\Gamma_{Им}$), находящееся непосредственно слева от него (вместе с ним самим) в предложение, переходный глагол loves вместе с существительным (И $\Gamma_{Вин}$), находящимся непосредственно справа, ставится непереходным глаголом. Прилагательное превращается вместе с существительным, находящимся справа, в «существительное», а наречие very является оператором, превращающим вместе с прилагательным, находящимся справа от него в «прилагательное», которое в свою очередь, образует с n группу со значением n. Вспомогательный глагол is является оператором, который вместе с прилагательным, находящимся справа, превращается в непереходный глагол. Применив эти правила, получим s следующим образом:

1. John died

$$\frac{n \quad n\backslash s}{s}$$

2. John loves Mary

$$\frac{\dfrac{n \quad n\backslash s/n \quad n}{n \quad n\backslash s}}{s}$$

3. John is very old

$$\frac{n \quad n\backslash s/n/n \quad \dfrac{n/n/n/n \quad n/n}{n/n}}{\dfrac{n\backslash s}{s}}$$

При помощи грамматической модели Бар-Хиллела — Ламбека возможно только формальное механическое описание предложения. Благодаря этому метод представляет собой важность с точки зрения прикладного языкознания. В последние годы сам Бар-Хиллел все больше подчеркивает недостаточность своего метода и считает, что он является неподходящим для полного описания естественных языков. На этом же основании он ставит под сомнение и возможность осуществления полностью автоматизированного высококачественного перевода.

Можно отметить, как указал и Бар-Хиллел[13], что при разработке категориальных грамматик логики принимали во внимание лишь контактные положения-хотя в естественных язках часты ситуации, когда между аргументом и оператором появляются и другие формы. Решением, соответствующим условию формализации, может быть группировка формул, чтобы сократить их в случае такой дистактной топики. Группировка формул ввиду сокращения представления групп с дистактной топикой более сложна, чем для

Девочки тихо спят соответственно
девочки, тихо, спят.

По-видимому, такая категориальная грамматика должна будет ввести символы (формулы) не только для представления суперсегментных элементов (интонация и другие), но и для знаков препинания.

Принимая во внимение наличие «пар» типа

ртутная соль — ртутный термометр
моторное строительство — моторная лодка
пара сапог — черный сапог

с их различными переводами (и соответственно с их грамматическими структурами), попытаемся рассмотреть категории и формулы категориальной грамматики на основе новейших результатов формальной лингвистической семантики, связанных с трансформационной грамматикой Н. Хомского[14].

Необходимо отличать глубинные и поверхностные структуры, то есть установить место, занимаемое в этой дихотомии выражением, представление которого в плане категориальной грамматики неудовлетворительно. При этом замечаем, что пары из первой колонки имеют матрикс семантических черт, отличающийся от матрикса пар из второй колонки; в первой колонке имеются предметы с их определенными свойствами: *ртутная соль*, но которая может быть и другой, *моторное строительство*, но которое может быть и другим, *пара сапог*, но которое жожет быть и в другом количестве). Во второй колонке имеются сложные наименования едничных предметов. Все ето ведет к тому, чтобы не согласиться сразу с утверждением У. Вайнрейха, согласно которому «the distinction between semantic and syntactic markers claimed by Katz and Fodor is non-existent»[15]. Надо отличать присущие черты слов,

[13] *Y. Bar-Hillel.* Decision Procedures for Structures in Natural Languages (русский перевод в томе *Математическая лингвистика*),стр. 108.

[14] *Noam Chomsky.* Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass., 1965; *Uriel Weinreich.* Explorations in Semantic Theory, *Current Trends in Linguistics*, III, Mouton, 1966.

[15] *У. Вайнрайх* цит. р. стр. 405.

которые не зависят от контекста (у глаголов и предлогов) от контекстуальных, которые действуют только в определенных условиях (у прилагательных и частично и у существительных). Группировка отличительных и контекстуальных черт зависит от данного языка; русское существительное *кровь*, которое имеет матрикс (+Mass) не мохет группироватсья с числительными *одна, две*, которые имеют матрикс (+Number), следовательно «пара» *одна кровь* не появится в именной группе, приводимой к S; исключением является предложение

У них одна кровь

где *одна* не знак количества, а качества: *одинаковая кровь*. С грамматической точки зрения (точнее кореляционной), важно ввести отличительные черты существительных русского зыка, как *Деятельность* (±) : *ходьба* (+ Деятельность), но *стол* (—Деятельность), *Считаемость* (±):*вода* (—Считаемость), *стакан* (+Считаемость); но *воды* (+Считаемость) с изменившимся значением.

Матриксы отличительных черт образуются из синтаксического составляющего (когда форма слова зависит от характера другого слова) и из семантического составляющего (когда значение слова дополняет или изменяет значение другого). Синтаксическое составляющее определяет род прилагательного или причастия, падеж существительного после глагола или другого существительного; вторым составляющим определяется образование пар слов перечисленных в первой колонке.

Одна из самых важных присущих черт — это управление (включая категорию переходности глаголов); она определяет форму слова в зависимости от постоянного свойства слова с данным управлением. Следует уточнить, что управление — это потенциальная отличительная черта, которая может действовать или нет, в зависимости от содержания сообщения

писать книгу
писать брату
писать карандашом
писать красиво.

В русском языке управление глагола обычно сохраняется и в отглагольных существительных. При разработке категориальной грамматики с семантическими данными — это имеет довольно большое значение. И у глаголов мы должны принимать во внимание черту *Деятельность* (±): *ходить* (+ *Деятельность*), *иметь* (—*Деятельность*) или *быть* (—*Деятельность*).

В зависимости от характера присущих или контекстуальных отличительных черт надо будет ввести градацию категорий, т. е. некоторых из формул категориальной грамматики. В таком смысле следует иметь в виду и вопрос омонимных групп с различными значениями полифункциональных слов.

Рассмотрим простое двусоставное русское предложение в свете двунаправленной категориальной грамматики. Основные обозначения совпадают с обозначениями категориальных грамматик: s это символ любого простого повествовательного двусоставного предложения, а n — символ любого сегмента, принадлежего V_T, который можно транскрибировать (в порождающей грамматике, описанной Хомским) (16) как именную группу (для равновесия конструкции формально приравняем именную группу в Им. пад. к именной группе в Вин. падеже). Такое решение подсказано Хомским, который обозначает обе конструкции как именные группы, добавляя, что последняя — это *Дополнение*. Наличие факультативных трансформаций Passiv:

Ученик читает книгу
Книга читается учеником

убеждает, что в глубинной структуре именная группа в Им. падеже и именная группа в Вин. падеже взаимно уравновешиваются вокруг центральной транзитивной глагольной группы. При помощи перечисленных правил создаются формулы остальных частей предложения. Если взять представление правильного предложения s, то сказуемое подлежащего n будет $n\backslash s$. Речь идет о сказуемых, выражаемых либо непереходным глаголом: *играть*, либо о сказуемых, выражаемых переходным глаголом с неосуществленным потенциальным управлением:

Ребенок играет
n $n\backslash s$ или
Человек читает
n $n\backslash s$

Проблема актуализации потенциального управления переходного глагола (как и любого другого управления: Дательным, Творительным и т. д.) связана с семантическим матриксом слова, или данного выражения. Ограничимся указанием его места в предложении; если возьмем опять второе предложение и прибавим к нему второе дополнение, то получим следующее:

Человек читает книгу
n $n\backslash s/n$ n

что можно рассмотреть в терминах грамматики непосредственных составляющих, как:

ИГ + ГГ
ГГ = Г + И

Если ГГ представлена как (n\s/n+n), который образует конструкцию n\s, равную сказуемому.

Отец подарил мальчику книгу
n n\s/(n+) n n

Он читает книгу в светлой комнате
n n\s/(n+) n

где имеются следующие неисключающие друг друга трансформации:

Глагол + { Прямое Дополнение
Косвенное Дощолнение
Наречное (в смысле Adverbial употребленного Хомским) (в данном случае выраженное группой (n+предлог) —n) }

В этой схеме порядок комплементов выражает и порядок развертывания.

Отдельно рассмотрим вопрос составных сказуемых, состоящих из глагола — связки существования плюс имя существительное или имя прилагательное в именительном или творительном падежах. Прежде всего следует напомнить, что при этом стоит вопрос независимого присутствия группы [глагол-связка + имя (в им. или вин. падежах)]. Считаем, что здесь необходимо принять единство группы ГГ (глагол-связка + его «дополнение», потому что ИГ (подлежащее) образует с глаголом-связкой самостоятельные конструкции лишь в определенных частных случаях, когда глагол-связка становится предикативным глаголом с неосуществленным управлением):

Он был матрос
Он был.

Второй пример представляет собой категорию s только, если считать его ответом на вопрос или другим частным случаем. Анализ путем группировки скобок приведет к подобным же результатам:

(Он (был матрос)), но не
((Он был) матрос).

Так как различие между «дополнением» в Им/Вин. и «дополнением» в Твор. стилистического порядка, не вводим специальных категорий для их анализа.[16]

Рассмотрим категории глагола-связки и его «дополнение».

Он был матрос.
$n \quad n\backslash s/n \quad n$

Он был красивый
$n \quad n\backslash s/n/n \quad n/n$ или
$n \quad n\backslash s/n \quad n$

Предпочитаем второе изображение, т. к. оно ближе к лингвистической действительности такого типа предложений. В этом случае имя прилагательное *красивый* представляет ИГ: *красивый* $+n$, которая равна n. Во всех этих случаях у нас имеется следующий матрикс

Он + [(иметь) + (признак «. . .»)].

Следующие типы конструкций отличаются от вышеуказанных:

Он был красивый человек.

$$\dfrac{n \qquad \dfrac{n/n \qquad n}{n\backslash s/n \qquad n}}{n\backslash s}$$

$$s$$

Наш анализ экономнее анализа Шаумяна[17], который для этих случаев различает R_2XR_1A— *Снег был серый* от R_2XR_1N—*Он был поэтом*, но считает, что якобы первая формула представляет и такую конструкцию как *Жизнь хороша*, что приемлемо как представление глагола-связки с нулевым значением, и что вторую можно рассмотреть и как *Она студентка*. Вторая формула содержит, однако, «дополнение» в Им./Вин. и в Твор. падежах в то время как первая формула не содержит его.

Вкратце изложим категории имени прилагательного и наречия. Обозначим (n/n) имя прилагательное, за которым следует n или группа, редуцируемая к n. В этом случае (n/n) образует ИГ

[16] *Noam Chomsky* цит. работа, Syntactic Structures, Mouton, 1957.

[17] *С. К. Шаумян., А. П. Соболева.* Аппликативная порождающая модель, Москва, 1965, стр. 26—7.

Умный человек читает.

n/n n
n n\s
s

Наречие, определяющее прилагательное, которое образует со следующим n ИГ, обозначим (n/n/n/n). В этом случае мы считаем, что наречие со следующим за ним именем прилагательным, представляет компактную группу, редуцируемую к n/n, которое потом сокращается на n и получаем n, эквивалентное ИГ. Рассмотрим такой пример:

Очень умный человек читает

n/n/n/n,n/n
n/n n
n n\s
s

Особо следует рассмотреть вопрос об однородных и неоднородных определениях. В случае:

Быстродействующая электронная вычислительная машина.

компоненты описываются методом правой скобочной записи:

(Быстродействующая (электронная (вычислительная машина)))

n/n n
n/n n
n/n n
n

А в случае:

Новая и хорошая машина

нужно иметь в виду глубинную структуру:

новая машина +
и +
хорошая жашина.

Наречие, которое дополняет глагол с неосуществленным управлением (с которым образует ГГ), имеет совсем другое представление. Такое наречие будет представлено как

Студенты ответили хорошо

$$\frac{\mathrm{n} \qquad \frac{\mathrm{n}\backslash\mathrm{s} \qquad \mathrm{n}\backslash\mathrm{s}\backslash\mathrm{n}\backslash\mathrm{s}}{\mathrm{n}\backslash\mathrm{s}}}{\mathrm{s}}$$

Предлагаем для решения проблем топики включение глаголов вкатегор ии, в зависимости от конкретного места, занимаемого ими в данном предложении, имея в виду их положение в kernel phrase

Я сегодня гулял. n (n s\n\s n\s)
Сегодня я гулял. n\s\n\s n n\s!
Сегодня гулял я. (n\s\n\s n\s) n

Для окончательного решения необходимо иметь в виду их общую глубинную структуру и указания на применение факультативной (стилистической) трансформации, при которых значительно сокращается категориальная система соответствующих слов. Речь идет о том, что все перечисленные предложения являются стилистическими вариантами (трансформами в смысле Шаумяна) *основного* K. Ph. глубинной структуры. Правила словопорядка вводят новые стилистические трансформации и придают нелинейным злементам линейный характер[18].

Нам кажется, что «порядок» слов в глубинной структуре характеризуется именно как

$$\mathrm{n}\ \mathrm{n}\backslash\mathrm{s}\backslash\mathrm{n}\backslash\mathrm{s}\quad \mathrm{n}\backslash\mathrm{s}$$

потому что и предложение типа

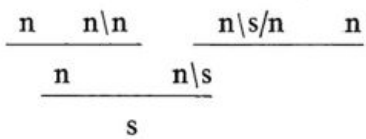
Я сегодня гулял.

не может быть приведено к s.

Представление n в Род. надеже (имеющего функцию обратного n/n) будет n\n:

[18] Ср. *А. В. Исаченко.* О грамматическом порядке слов, ВЯ, 1966, 6, стр. 29 и *Д.С. Уорт.* Об отображении линейных отношений в порождающих моделях языка, ВЯ, 1964, 5.

Работа учителя была **хорошая.**



Таким образом подтверждается «адъективальная» функция этого падежа.

На основании вышеизложенного считаем, что категориальная грамматика, принимающая во внимание *поверхностиую* и *глубинную* структуры с трансформациями, которые связывают их, может отвечать на прикладные вопросы, которые поднимаются автоматическим переводом и другими областями прикладной лингвистики.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 17—30 1971 Debrecen

Особые случаи употребления союзных слов *кто* и *что*

Ш. Яношка

1. Со времени появления нашей статьи[1] найдены примеры, позволяющие сделать некоторые дополнительные выводы как относительно союзного слова *кто*, так и — *что*.

2. Союзное слово *кто* согласно общему правилу употребляется в начале придаточного предложения, когда оно поясняет член предложения, выраженный субстантивированным местоимением (*тот, те; всякий, любой, каждый* и др.), но и в этих случаях придаточное предложение может подчиняться главному посредством союзного слова *который:* случаи подчинения придаточных предложений главному, не включающему в свой состав указательного местоимения (субстантивированного или несубстантивированного), не рассматривались. Все найденные примеры особого употребления союзного слова *кто* как бы противоречат основному правилу его употребления.

*2.*1 При субстантивированном местоимении *те* наблюдается употребление то союзного слова *кто*, то — *который*.

Но те, кто позабыл об этом [об исходном значении слова «благодаря», Ш. Я.], *пишут без зазрения совести: «Благодаря безобразной работе телеграфа газета лишилась необходимой информации». А те, которые помнят, негодуют и язвительно спрашивают:—Как можно благодарить за безобразие?* Чуковский[2] 1963, 199; *Но есть тема, которой писательница особенно предана, — это Москва, ее труженики, ее мечтатели, те, которых часто зовут «простыми людьми», но кто совсем не прост, а глубок и сложен.* [Предисловие издателя к рассказу И. Гуро, «Московские бульвары» (*Советский писатель*, Москва, 1964)].

[1] Ш. Яношка. Придаточные предложения с союзными словами *кто, что* и *который*, Slavica X, 1970. 57—68.

[2] К. И. Чуковский. Живой как жизнь (О русском языке), Изд. 2-е, переработанное. Москва, *Молодая гвардия*, 1963 (в сокращении — *Чуковский* 1963). См. еще сокращения, Попов 1958 — И. Ф. Попов, На исходе ночи, *Советский писатель*, Москва, 1958; Герасимов 1969 — И. Герасимов. Обыкновенные происшествия, журнал *Нева*, 1969/3.

Согласно общему правилу в этих случаях употребительнее союзное слово *кто*, но допускается и употребление союзного слова *который:* первое из них дает, видимо, более отвлеченную характеристику, а второе — более конкретную; кроме того, употребление обоих союзных слов в одном и том же предложении является побочным средством, подчеркивающим противопоставление: ср., *кто позабыл, пишут без зазрения совести — которые помнят, негодуют и язвительно спрашивают; которых часто зовут «простыми людьми» — но кто совсем не прост...*

2.2. Придаточным предложением, вводимым союзным словом *кто*, поясняется член главного предложения, выраженный сочетанием слов тот + из NP[3], то есть, имя существительное в главном предложении как бы поясняется придаточным с *кто*, что противоречит основному правилу.

Он (В. И. Ленин) *горячо желал, чтобы мать жила с ним, но она всегда находилась с теми из детей, кто больше всего нуждался в ее помощи.* Биография, 1960, 98; *...многие из тех рабочих, кто повлиятельнее, уже разъехались...* (Попов, 1958, ч. I, IX).

В большинстве случаев такие конструкции в главном предложении поясняются придаточными предложениями, вводимыми союзным словом *который*, что — даже в том случае, когда придаточное предложение поясняет не всю конструкцию, а только имеющееся в ней субстантивированное местоимение *тот (те)* — согласно основному правилу вполне допустимо (см. примеры в пункте *2.1*). Видимо, в этих конструкциях поясняемым членом главного предложения нужно считать субстантивированное местоимение, имеющее при себе несогласованное определение-дополнение, выраженное в форме родительного падежа имени существительного с предлогом *из*. Исходя из этого положения, мы можем считать подходящим примером только предложение, приведенное из биографии В. И. Ленина, так как во втором предложении поясняемым словом является субстантивированное имя прилагательное *многие*, выступающее здесь как местоимение и имеющее при себе ту же конструкцию несогласованного определения-дополнения: указательное местоимение *тех* здесь не субстантивировано, оно входит в именную группу *из NP*.

2.3. Придаточные предложения с союзным словом *кто* поясняют определительное сочетание слов *тот NP*, что противоречит основному правилу.

Если теперь говорю, что жалею отца, то не его именно жалею, а того отца, кто мог бы своим вниманием указать мне в жизни истинный путь (Приш-

[3] NP — символ для обозначения именной группы предложения. В настоящей работе употребляются еще следующие символы: XP — любой член предложения, VP — глагольная группа, N — имя существительное, V — глагол, COP — связка, A — имя прилагательное, AD — наречие; K — компонент; кроме того употребляются индексы: внизу — падежи (i — любой неименительный, n — именительный, a — винительный) и — ∅ нулевая форма; вверху — порядок элемента в ряду таких же элементов. Подробнее см.: К. Болла, Э. Палл, Ф. Папп. Курс современного русского языка, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968, 454—5.

вин, Кащеева цепь, I, 1 [цитируется по ССРЛЯ[4], т. 15, *том*]; — *Нет, ты, Ефим, посмотри как его отделали! Глаза бы я тем людям выцарапала, кто его не защитил* (Попов, 1958, ч. 1, VII); *...рабочее единство не в сговоре с меньшевистскими вожаками, находящимися в плену у ликвидаторов-практиков, а с теми работниками на местах, кто остался на деле верен нелегальной организации* (Попов, 1958, ч. 2, XXIII); *Днем я делал доклады для тех рабочих, кто работал от семи вечера до шести утра в ночных сменах и кто бывал свободен часам к четырем, после дневного сна и короткого отдыха, а по вечерам для тех, кто заступал на работу с шести утра до пяти дня* (Попов, 1958, ч. 2, XV); *В Сибирь отец его по этапу пришел — сидел в Александровском централе за революционную деятельность, был среди тех двадцати красноармейцев, кому поручили расстрелять Колчака* (А. Ласкина, На самом краю земли, журнал «*Москва*», 1967—7, 193).

В преобладающем большинстве случаев такие конструкции в главном предложении, как и конструкции *тот + из NP*, поясняются придаточным предложением с союзным словом *который*. В таких конструкциях *местоимение-определение + существительное-определяемое*, видимо, возможно логическое выделение местоимения, что сближает его с субстантивированным местоимением в конструкции *тот + из* NP, и, тем самым, делается возможным пояснение его и придаточным предложением с союзным словом *кто*. Такому логическому выделению указательного местоимения в последнем примере, видимо, способствует и наличие в составе конструкции — между местоимением и существительным — и имени числительного, то есть, ведущая функция в словосочестании как бы закрепляется за местоимением, а количественно-именное словосочетание оттесняется на задний план, что может объясняться и тем, что в количественно-именных словосочетаниях имя существительное то управляется именем числительным, то согласуется с ним.

Хочется отметить и то, что в трех примерах в составе конструкции *тот+NP* последнее представлено словами *люди, работники, рабочие*, которые по своему обобщенному значению могут быть восприняты как слова, близкие к местоимениям. С этой точки зрения даже слово *отец* в данном контексте приобретает довольно отвлеченное значение (см. первый пример, второе употерблление слова.

3. В нашей статье (см. ссылку 1) рассматривалось неизменяемое местоимение *что* в функции союзного слова. На своеобразное употребление этого местоименного слова, не упомянутое в указанной статье, со времени появления ее было найдено больше тридцати примеров. Вот несколько из них: *Каждую из этих книг, я назвал бы «Занимательная лингвистика», так как они принад-*

[4] Словарь современного русского литературного языка, Издательство АН СССР, Москва—Ленинград (в сокращении — ССРЛЯ); другие сокращения названий словарей: Однотом ныйСРЯ — Словарь русского языка, составитель С. И. Ожегов, Изд. 7-е, Москва, 1968; СРЯ в 4-х томах — «Словарь русского языка», Москва, 1957—61.

лехат к той же категории популярных изданий, что и «Занимательная химия», «Занимательная геометрия»... (Чуковский, 1963, 41); *С тем же значением условности, что и союз «если», употребляется союз «ежели»* (ГРЯ, т. 2, § 1488); *...инфинитив выступает в той же функции, что и безлично-предикативное слово...* (ГРЯ, т. 2, § 1073).

Учитывая, что местоименное слово *что* «может относиться к любому имени подчиняющего предложения, как бы заменяя слово *который*, и в этом случае употребление его ограничивается именительно-винительным падежом»[6], мы можем установить, что, заменяя *что* на *который*, мы бы получили формы *к которой*, *с которым*, *в которой*, говорящие о том, что форма именительного-винительного падежа слова *что* воплощает в себе и значение других падежей.

Во всех трех приведенных примерах мы имеем, однако, не только указанное местоименное слово, оформляющее подчинительную связь между двумя компонентами сложной синтаксической единицы, но и другие слова. Это указательное местоименне *тот (та, то; те)* и частицы *же* и *и*. Таким образом, приходится говорить не о неизменяемом местоименном слове *что*, а следует рассматривать сложный синтаксический комплекс *тот же + (ХР) — что и*, оформляющий синтаксическую связь между компонентами указанной сложной синтаксической единицы.

3.1. В грамматиках[3,5—7] и словарях[4] данное грамматическое явление либо не описывается вовсе, либо описание его структурной базы сопровождается весьма скудными сведениями.

В Синтаксисе А. А. Шахматова[7] хотя и говорится об «употреблении в качестве неизменяемого слова вопросительного *что*», но подобный тип предложений, как приведенный выше, там не объясняется.

В замечательном труде А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» даются примеры на употребление союзного слова *что* и устанавливается, что его употребление троякое: «1) оно может относиться к субстантивированному прилагательному среднего рода подчиняющего предложения (*то, всё, иное, многое* и т. д.), имеющемуся налицо или опущенному...; 2)... к любому имени подчиняющего предложения, как бы заменяя слово *который*, и в этом случае употребление его ограничивается именительно-винительным падежом...; и 3) ..ко всему подчиняющему предложению как целому...» (см. ук. м.). Тип же предложений, приведенных нами выше, среди примеров, данных А. М. Пешковском, отсутствует.

[5] Грамматика русского языка, Издательство АН СССР, Москва, 1960 (в сокращении — ГРЯ).

[6] А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении, Изд. 7-е, *Учпедгиз*, 1956, 498 (в сокращении — Пешковский 1956).

[7] А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка, изд. 2-е, *Учпедгиз*, 1941. Здесь разбираются вопросительное *что за* (§ 153), *что такое за, что это за, это что за* (§ 154) и определительное *что за, что это за* (§ 155).

В ГРЯ (т. 2, §§ 1235, 1244, 1417, 1438 — 40, 1444 и 1540) указывается на то же троякое употребление данного союзного слова, но интересующий нас тип предложений и здесь не обнаружен.

Однотомный СРЯ, без указания на неизменяемость союзного слова, дает единственный пример: *Дом, что стоит на углу* (см. второй случай употребления у А. М. Пешковского). ССРЛЯ, подытоживающий опыт и материалы других словарей, в том числе и СРЯ в 4-х томах, документирует все указанные А. А. Шахматовым и А. М. Пешковским случаи употребления данного союзного слова: здесь имеются примеры на употребление неизменяемого союзного слова *что* в значении *который* (пункт 14); примеры на придаточно-присоединительные и вводные предложения с данным союзным словом (пункт 16; ограничение, по которому относительное местоимение *что* «употребляется в форме вин. и им.», надо признать ошибочным: в четырех из приведенных здесь же шести примеров мы имеем формы *чему, к чему, чем* и *за что);* в ССРЛЯ отмечено и употребление этого неизменяемого местоимения «в начале придаточного предложения (или придаточной части простого предложения в сочетании со следующим за ним именем существительным в именительном падеже» (пункт 17), однако, рассматриваемый нами тип предложений и здесь не отмечен.

3.2. Тип предложений с синтаксическим комплексом *тот же + (XP) — что и* как особый тип не выделен и в словарных статьях для других компонентов данного синтаксического комплекса, то есть, ни в словарной статье *же* (ССРЛЯ, т. 4), ни в словарной статье *тот* (ССРЛЯ, т. 15). Правда, в словарной статье *тот* в 13 примерах придаточное предложение вводится союзным словом *что:* в двух примерах этим типом придаточного предложения поясняется конструкция *тот+NP*, то есть, местоимение *тот* без частицы *же* в сочетании с именной группой; в остальных 11 примерах придаточным предложением поясняется член главного предложения, выраженный субстантивированным местоимением *тот (та, то; те)*. В четырех из 11 примеров мы имеем, однако, изменяемое местоимение *что* как союзное слово; из оставшихся семи примеров местоимение *то* только в двух примерах осложнено усилительной частицей *же:* [Пикар] *намарал, словно помелом, весьма дурные изображения, которые в литературе то же самое, что в живописи знаменитое «Погребение кота мышами»* (Белинский, «Люди высшего и низшего круга...» Пикара); *Точно она* [бричка] *ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня* (Чехов, Степь, 2 [примеры цитированы по ССРЛЯ, т. 15]). Как видно из сопоставления этих двух предложений, неизменяемое *что* только во втором примере усложнено частицей *и*, и, тем самым, только это предложение обнаруживает полное сходство с рассматриваемым нами типом предложений: с точки зрения полного сходства не имеет значения, что в одних случаях местоимение с частицей *тот же* входит в состав именной группы как определение, а в других — оно субстантивировано и, быть может, усложнено определением

самый. В настоящей работе будут рассматриваться как предложения, в которых неизменяемое *что* усложнено частицей *и* или стоит без нее, так и предложения, в которых местоимение *тот же* субстантивировано или входит в состав именной группы как определение.

3.3. Предложения, построенные по конструкции *тот же + (XP) — что и*, несмотря на многообразие во втором компоненте элементов, обнаруживают общую черту: сказуемое-глагол или сказумое-связка (V или COP) имеется только в первом компоненте.

3.3.1. Конструкцией *тот же + (XP) — что и* выражено подлежащее предложения:

В качестве обобщающих слов здесь выступают те же слова, что и в предыдущей группе (ГРЯ, т. 2, § 842); *Валерий прошел на кухню вслед за директором, здесь был тот же опрятный порядок, что и в комнате...* (Герасимов 1969, гл. 14); *В предложениях, в которых придаточная часть содержит сравнение, употребляются те же сравнительные союзы, что и в сравнительных придаточных предложениях* (ГРЯ, т. 2, § 1557); *Из крепости видны были те же горы, что из аула...* (Лермонтов, Бэла); *На первый взгляд можно подумать, что в синтаксисе изучается то же самое, что в морфологии, только в другом порядке* (Пешковский 1956, 38).

Все приведенные здесь предложения можно записать формулой:

$$K^1\left\{\left(\frac{VP^1}{NP_i \sim AD + V^1}\right) + \left(\frac{NP^1}{\text{ТОТ ЖЕ} + NP_n \sim (\text{САМЫЙ})}\right)\right\} + K^2\left\{\left(\frac{NP^2}{\text{ЧТО}_n}\right) + \left(\frac{VP^2}{V^2 + (\text{И}) + NP_i}\right)\right\}^8$$

Во всех предложениях, кроме общего сказуемого для обоих компонентов предложения, имеется и общий субъект, который, в отличие от сказуемого, выражен в обоих компонентах предложения: в первом его компоненте — конструкцией *тот же (XP)*, а во втором — неизменяемым *что* в сочетании с частицей *и* (реже без нее). В обоих компонентах имеются приглагольные дополнения: это дополнение во втором компоненте, как правило, повторяет форму такого же дополнения в первом компоненте. Таким образом, возникает симметричное предложение, вторая половина которого, за исключением неповторяемого глагола-сказуемого, как бы является зеркальным отражением первой его половины.

Из формулы видно, что данный тип предложения как будто напоминает сложное предложение, однако, это еще не ответ на вопрос, является ли данный тип предложения сложным или простым: такая запись предложения преследует скорее практическую цель облегчить анализ взаимоотношений в рамках данного синтаксического целого.

[8] Выражения, расположенные под чертой, являются реализациями данного состава предложения.

Если допустить, что неизменяемое *что* имеет тут значение, соответствующее значению союзных слов *который* или *какой*, и заменить их в данных предложениях на *который* или *какой* (такой замене не поддаются только предложения с субстантивированным местоимением *то*), то обязательно восстанавливается глагольное сказуемое во втором компоненте или же вставляется глагольное сказуемое, близкое по значению, см.: *В качестве обобщающих слов здесь выступают те же слова, которые выступают (имели место) и в предыдущей группе; ...здесь был тот же опрятный порядок, какой был (наблюдался) и в комнате.* На основе продемонстрированной здесь возможности обратить данные предложения с *что* в предложения с *который, какой* и с наличествующим глаголом-сказуемым во втором компоненте сложного предложения еще не доказано, что и предложения с *что* являются сложными. Предложения с *что*, с одной стороны, и предложения с *который, какой*, с другой, несмотря на частичную обоюдную заменяемость союзных слов в них, представляют собой два разных типа предложений; навязывание особенностей предложений с союзным словом *который* на предложения с конструкцией *тот же + (XP) — что и* в конечном счете означало бы полное отрицание данного типа предложения. С другой стороны, трудно доказать и то, что предложения с *что* и отсутствующим глаголом-сказуемым во второй части являются простыми предложениями. Для этого мало доказать, что местоименное слово является здесь союзом сравнительным: классификация подобных конструкций как придаточной части простого предложения, например, статус конструкции с явным сравнительным союзом *как*, многими считается сомнительной[9].

3.3.2. Конструкцией *тот же + (XP) — что и* выражена именная часть сказуемого (найдены примеры только с субстантивированным указательным местоимением *тот же*):

Во всех таких сложных предложениях [в которых придаточное предложение присоединяется к главному посредством одного из следующих союзов: *словно, будто...*] *в главном возможны указательные слова (так, такой), функция которых та же, что и при сравнительном союзе «как»* (ГРЯ, т. 2, § 1532); *Правила употребления форм рода, числа и падежа союзного слова «какой» — те же, что и для союзного слова «который»* (ГРЯ, т. 2, § 1416); *...сцепление ..здесь то же, что и во всех вышерассмотренных случаях неравной связи слов* (Пешковский 1956, 59).

Для записи приведенных здесь предложений предлагается формула:

$$K^1\left\{\left(\frac{NP^1}{NP_n^1+NP_i^1\ldots NP_i^x}\right)+\left(\frac{VP^1}{COP_{(\varnothing)}+ТОТ\ ЖЕ_{n\sim a}}\right)\right\}+$$
$$+K^2\left\{\left(\frac{VP^2}{ЧТО_{n\sim a}+COP_{\varnothing}}\right)+\left(\frac{NP^2}{[N]+NP_{\varnothing}^1+NP_i^z\sim NP_{\varnothing}^1+NP_i^9}\right)\right\}$$

[9] Пешковский 1956, примечание на странице. 59.

NP_i^x Индекс «x» вверху здесь обозначает последний элемент данного ряда, а «z» — новый элемент данного ряда.

По сравнению с предложениями, где *тот же + (XP)* является подлежащим (пункт *3.3.1.*), здесь бросается в глаза, что во втором компоненте предложения, как правило, опускается больше элементов: минимальное отсутствие элементов — это отсутствие связки в форме настоящего времени в обоих компонентах (за исключением связок *являться*, *оставаться* и др. для первого компонента; пример см. ниже), а максимальное — это отсутствие во втором компоненте состава NP^2, тождественного с составом NP^1 целиком (при наличии нового приименного дополнения к составу NP^2, не имевшего места в составе NP^1 (см. первый пример) или отсутствие того же состава NP^2 без последнего приименного дополнения (см. примеры второй и третий; приименные дополнения, выраженные наречием или предложным сочетанием имени, считаются соответствующими друг другу членами словосочетаний, если они занимают в данных симметричных предложениях соответствующее друг другу место). Приводим пример со связкой *оставаться: Если придаточное в нем следует за главным, то присоединительные отношения и связь частей сложносочиненного предложения остаются теми же, что и в случаях присоединения простого предложения* (ГРЯ, т. 2, § 1407). Во втором компоненте не повторена связка и вся группа NP^1 *(присоединительные отношения и связь частей сложносочиненного предложения):* последняя представлена новым приименным дополнением к ней, начинающимся со слова *в случаях*.

Неполнота обоих компонентов данного предложения доказывается наличием подчиненных элементов к подчиняющим членам обоих компонентов: наличие именной части именного сказуемого в обоих компонентах предполагает наличие связки хотя бы в нулевой форме (см. примеры 1—3), а наличие приименного дополнения, то есть, последнего элемента состава NP^1 или нового такого дополнения, не имевшего места в составе NP^1, предполагает наличие поясняемого этим приименным дополнением центра состава NP^2. Допускается возможность, что новое приименное дополнение к составу NP^2 (см. первый и четвертый примеры) отнюдь не ново, а является заменителем целого предложения, предшествующего данному предложению (4-й пример) или имевшего место в первом компоненте данного сложного предложения (1-й пример); ср. также и с случаями, когда в этих симметричных предложениях соответствуют друг другу наречие и именная группа.

Допускается и здесь, как и в предложениях, где конструкция *тот же + (XP)* является подлежащим *(3.3.1.)*, что при одной и той же связке имеются однородные именные части сказуемого, а посредством их к одной и той же связке относятся и однородные подлежащие, усложненные применными дополнениями-определениями: эти подлежащие в первом компоненте выступают как полное сочетание слов, а во втором — как неполное. Такое толкование данного синтаксического явления делается, однако, с большей натяжкой,чем при предложениях, рассмотренных в пункте *3.3.1.*

3.3.3. Конструкцией *тот же + (XP) — что и* оформлено дополнение к глаголу-сказуемому:

Особую опасность для российского рабочего движения Ленин видел в оппортунистической деятельности «экономистов», которые проповедовали по существу те же взгляды, что и бернштейнианцы за границей (Биография В. И. Ленина, 1960, 69); *...они* [союзные слова] *выражают те же отношения, что и подчинительные союзы...* (Пешковский 1956, 501); *Точно она* [бричка] *ехала назад, а не дальше, путники видели то же самое, что и до полудня* (Чехов, Степь, 2); *Придаточные подлежащие присоединяются к главному теми же союзными словами, что и дополнительные предложения* (Школьная грамматика, § 50).

В приведенных предложениях является общим то, что к обоим компонентам относится одно и то же сказуемое и в обоих компонентах имеется самостоятельное подлежащее (исключение представляет только третий пример). Для предложений с разными подлежащими как для первого, так и для второго компонента предлагается формула, в которой другие поясняющие члены предложения, не имеющие значения с точки зрения структуры, не учитываются:

$$K^1\left\{\left(\frac{NP^1}{NP^1_n}\right)+\left(\frac{VP^1}{V^1+\text{ТОТ ЖЕ}\,(NP_a)}\right)\right\}+K^2\left\{\left(\frac{VP^2}{\text{ЧТО}_a+V_\varnothing}\right)+\left(\frac{NP^2}{(\text{И})+NP^2_n}\right)\right\}$$

В предложениях с общим подлежащим для обоих компонентов, которое так же не повторяется во втором компоненте, как и сказуемое, кроме учета подлежащего, сказуемого и дополнения, имеет существенное значение и учет других поясняющих членов предложения. Для нашего конкретного предложения таким поясняющим членом является обстоятельство времени, выраженное группой *до* NP. В нашем примере и первый компонент является неполным: обстоятельству *до полудня* должно быть противопоставлено в первом компоненте обстоятельство *теперь* или *после полудня*. В таких предложениях сравниваются не подлежащие (при одном и том же сказуемом и объекте), а обстоятельства (при одном и том же сказуемом, подлежащем и дополнении): в этом легко убедиться при тансформации этого предложения в простое предложение, усложненное однородными членами (см. ниже в п. *3.4.*). Для данного предложения предлагается формула:

$$K^1\left\{\left(\frac{NP^1}{NP^1_n}\right)+\left(\frac{VP^1}{P^1+XP^1_\varnothing+\text{ТО ЖЕ}(NP)_a}\right)\right\}+K^2\left\{\left(\frac{VP^2}{\text{ЧТО}_a+V^1_\varnothing+(\text{И})XP^2}\right)+\left(\frac{NP^2}{NP^2_n}\right)\right\}$$

Можно привести пример, в котором конструкция *тот же + NP* подчинена причастию: *Вводными называются предложения, включенные в другое (основное по отношению к ним) предложение и выполняющие в нем те же функции, что и вводные слова и вводные сочетания слов* (ГРЯ т. 2, § 1230). Такие предложения

по существу не отличаются от тех, в которых конструкция *тот же + (ХР)* подчинена спрягаемому глаголу (ср. предложение после трансформации с предложениями, где данная конструкция была подчинена спрягаемой форме глагола, см. пункт *3.3.1* и анализ подобной структуры в пункте *3.3.4.*).

3.3.4. Конструкцией *тот же + (ХР) — что и* оформлено приглагольное косвенное дополнение:

Происхождение этого «живительного» оттенка уходит в ту же «глубь времен», что и происхождение оттенка предметности (Пешковский 1956, 79); *Союзное слово «что»* употребляется *в той же функции, что и союзное слово «который»* (ГРЯ, т. 2, § 1417); *Они* [маркеры] *не только обладают той же материальной формой, что и соотвествующие аффиксы, но и выражают тот же круг значений* (Кубрякова, ВЯ[10], 1970; 2, 87).

Предложения, в которых второй компонент вклинивается в середину первого компонента, посредством изменения порядка слов легко переделываются в предложения с таким расположением компонентов, какое наблюдается в приведенных выше предложениях: *В XIX веке в той же функции, что и союзное слово «какой», употреблялось слово «каковой»* (ГРЯ, т. 2, § 1415) → *XIX веке слово «каковой» употреблялось в той же финкции, что и союзное слово «какой».*

Предложения, рассмотренные здесь, обнаруживают те же особенностия, что и предложения, рассмотренные в пункте *3.3.3.*: общее сказуемое и общее приглагольное дополнение для обоих компонентов при разных подлежащих для первого и для второго компонентов.

Особым проявлением данного типа являются бесподлежащные предложения, в которых посредством общего сказуемого и общего приглагольного дополнения сопоставляются друг с другом не подлежащие, а другие приглагольные дополнения: *К той же группе, что и предложения, описанные в предыдущем параграфе, следует отнести сложные предложения, в которых вторая часть связывается при помощи союза «чтоды (чтоб)» с первой частью...* (ГРЯ, т. 2, § 1545).

В результате трансформации спрягаемой формы глагола в причастие или, в конечном счете, в нуль — рассматриваемая конструкция *тот же + (ХР) — что и* может оказаться при группе NP как приименное дополнение-определение: [Для предложений-ответов, вызванных вопросом, в котором выделяется, подчеркивается один из членов предложения, характерно то, что] *эти ответы состоят из слова или сочетания слов в той же функции, что и слово, на котором сосредточен смысл вопроса* (ГРЯ, т. 2, § 1126).

Из-за отсутствия в данной конструкции сказуемого здесь нельзя говорить о двух подлежащих, сопоставляемых посредством глагольного сказуемого и приглагольного косвенного дополнения, а только об определяемых именных

[10] ВЯ — журнал *Вопросы языкознания.*

группах, сопоставляемых с помощью приименных дополнений-определений, выраженных конструкцией *тот же (XP) — что и*. Настоящий статус таких двучленных сопоставительных приименных дополнений устанавливается только путем восстановления хотя бы причастия для данного сложного сочетания слов: [предложения-] *ответы состоят из слова или сочетания слов (выступающих) в той же функции, что и слово, на котором сосредоточен смысл вопроса*. Ясно, что центр приименной причастной конструкции восходит к спрягаемому глаголу, который вместе со сказуемым *состоят* представляет ряд однородных сказуемых: *... ответы состоят из NP и выступают в той же функции, что и ...* При желании подчеркнуть действенный признак, выражаемый не первым, а вторым глаголом из ряда однородных глаголов-сказуемых, трансформируется в причастие или в нуль первое сказуемое: *ответы (состоящие) из NP выступают в той же функции, что и слово* (-вопрос).

Подобным образом должно рассматриваться и предложение с причастным оборотом, приведенное в пункте 3.3.3, которое состоит из двух высказываний (предварительные трансформации депредикативации и прономинализации, имеющие место в этих высказываниях, здесь не рассматриваются): 1) *Вводные слова и вводные сочетания слов выполняют в нем* [в предложении] *определенные функции* и 2) *Предложения, включенные в другое (...) предложение и выполняющие в нем* [в предложении] *те же функции, называются вводными*. Эти два высказывания могут быть объединены не только с целью дать дефиницию субъекту второго высказывания, но и с целью подчеркнуть функцию субъектов обоих высказываний. В этом случае в причастие должно трансформироваться глагольное сказуемое не первого, а второго высказывания, а в результате такой трансформации становится более ясным и статус компонента, вводимого местоименным словом *что и* и поясняющего группу NP, стоящую при причастии.

3.4. С целью установления настоящего статуса местоименного слова *что* все типы предложения, рассмотренные в пунктах 3.3.1 — 4 были подвергнуты трансформации, в результате которой были получены простые предложения, усложненные однородными подлежащими или приглагольными дополнениями. Поскольку конструкция *тот же + (XP) — что и* всегда сопоставляет два члена предложения, с целью сохранения этого сопоставительно-сравнительного значения для создания однородных членов был применен союз *как..., так и...*, имеющий сходное значение.

3.4.1. В результате указанной трансформации получены два типа предложений: если в исходном предложении местоимение с частицей *тот же* входило в состав подлежащего или сказуемого, то после трансформации в предложении имеются однородные приглагольные дополнения (первый тип); если же в исходном предложении указанное словосочетание входило в состав VP как приглагольное дополнение — прямое или косвенное —, то после трансформации получены однородные подлежащие (второй тип).

Тип 1 (пп. 3.3.1 — 2):

В качестве обобщающих слов здесь выступают те же слова, что и в предыдущей группе $\xrightarrow{\text{Т}}$ *В качестве обобщающих слов как в предыдущей группе, так и здесь выступают (одни и) те же слова; Правила употребления форм рода, числа и падежа союзного слова «какой» — те же, что и для союзного слова «который»* $\xrightarrow{\text{Т}}$ *Правила употребления... как для союзного слова «который», так и (для) союзного слова «какой» — (одни и) те же.*

Тип 2 (пп. 3.3.3 — 4.):

..«экономисты» проповедовали по существу те же взгляды, что и бернштейнианцы за границей $\xrightarrow{\text{Т}}$ *Как бернштейнианцы за границей, так и «экономисты» (в России) по существу проповедовали (одни и) те же взгляды; ...они* [книги серии «Занимательная лингвистика»] *принадлежат к той же категории, что и «Занимательная химия:...* $\xrightarrow{\text{Т}}$ *Как «Занимательная химия»..., так и они* [«Занимательная лингвистика»] *принадлежат к (одной и) той же категории популярных изданий.*

Для предложений, имеющих только состав VP (см. пример в пункте 3.3.4.), после трансформации получены однородные дополнения: $\xrightarrow{\text{Т}}$ *Как предложения, описанные в предыдущем параграфе, так и сложные предложения, в которых вторая часть связывается при помощи союза «чтобы (чтоб)» с первой частью, следует отнести к (одной и) той же группе.* Этот последний пример ярче всех примеров доказывает, что конструкция *тот же + (XP) — что и* всегда сопоставляет члены предложения, в состав которых она не входит: будь она в составе подлежащего — будут сопоставлены приглагольные дополнения; будь она в составе приглагольного дополенения — будут сопоставлены подлежащие или (при отсутствии последних) другие приглагольные дополнения. В этот тип входят и предложения (пункт *3.3.4.*), в которых рассматриваемая конструкция относится к причастию (наличествующему или пропущенному).

3.4.2. Трансформации с помощью союза *как..., так и...* не поддавались предложения, в которых местоименное слово *что* не было усложнено частицей *и*, что свидетельствует о том, что эта частица является важным структурным элементом данной сопоставительной конструкции. Для большинства указанных предложений с местоименным словом *что*, не усложненным частицеей *и* при трансформации в предложения с однородными членами сопоставительно-сравнительный союз *как..., так и* оказался неподходящим: трансформации они поддавались только посредством сочинительного союза *и* (одиночного или повторяющегося):

Из крепости видны были те же горы, что из аула $\xrightarrow{\text{Т}}$ *(И) из крепости и из аула видны были (одни и) те же горы; ...отношение между учителем и братом в сочетании «учитель брата» не те же, что в сочетании «брат учителя»* (Пешковский 1956, 54). $\xrightarrow{\text{Т}}$ *...отношения между учителем и братом в сочетании* (-иях) *«учитель брата» и «брат учителя» не* (один и) *те же.*

3.4.3. Не поддавались трансформации даже посредством сочинительного союза *и* два предложения: *Я для нее то же, что вот для этой пальмы паутина...* (Чехов, Рассказ неизвестного человека, XVI) и предложение [Пикар] *намарал...* (см. п. *3.2.*). В обоих предложениях налицо сопоставление, хотя *что* не усложнено частицей *и*, но в обоих предложениях имеется не одно, а два сказуемых: по одному сказуемому в обоих компонентах (ср. с пунктом *3.3*). Оба предложения являются сложноподчиненными: как в первом (главном) компоненте, так и во втором (подчиненном) каждого из этих двух предложений имеется именное сказуемое и нулевая связка для настоящего времени; именная часть сказуемого главных компонентов выражена субстантивированным местоимением *то*, усложненным словами *же (самое)*, а в подчиненном — союзным словом *что* в именительном падеже. О наличии самостоятельных сказуемых для обоих компонентов свидетельствуют приглагольные дополнения *для нее, в литературе* для главных компонентов и *вот для этой пальмы* и *в живописи* для подчиненных компонентов. Таким образом, предложения с конструкцией *тот же + (XP) — что*, имеющие самостоятельные сказуемые в обоих компонентах, являются предложениями сложными, в которых подчиненное предложение, кроме своей основной функции раскрывать содержание подлежащего, дополнения и т. д. главного предложения, выраженного формой *тот же (XP)*, имеет и дополнительное значение сопоставительного признака. Косвенным доказательством того, что эти предложения являются сложными, является и то, что они не поддаются трансформации, продемонстрированной в пунте *3.4.2.*

3.4.4. В рассмотренных выше предложениях со структурным комплексом *тот же + (XP) — что и* указательное местоимение входило в состав подлежащего *(3.3.1)*, именного сказуемого *(3.3.2)* или приглагольного дополнения *(3.3.3. — 4)* или само представляло эти члены предложения; все предложения с данным структурным комплексом, за исключением сложных предложений *(3.4.3)*, легко поддавались трансформации *(3.4.1)*. Указательное местоимение *тот же* ни в одном примере не относилось к глаголу, наречию или прилагательному-определению. Это и понятно, так как указание на сопоставительно-сравнительный признак признака или действия и состояния осуществляется посредством указательного наречия *так (же)*: *Я опять ошибся*: *любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой* (Лермонтов, Бэла [см. ГРЯ, т. 2, § 1559]). Из сказанного здесь следует, что как указательное наречие *так (же)* при глаголах, наречиях и прилагательных, так и указательное местоимение *тот (же)* при членах предложения, оформленных группой NP, являются важными конструкционными элементами, указывающими на придаточную часть предложения, содержащую сравнение: придаточная часть при указании на нее в главной (основной) части наречием *так же* вводится союзом *так и*, а при указании на нее местоимением

— союзом *что и*. Таким образом, неизменяемое местоименное слово *что*, усложненное частицей *и*, в рассмотренных предложениях должно рассматриваться не как союзное слово, а как союз, оформляющий своеобразную двучленную связь в рамках симметричных предложений, близкую к однородным членам предложения. Рассмотренные типы предложений с придаточной частью, вводимой союзом *что и*, занимая как бы промежуточное положение между сложными предложениями и предложениями простыми, усложненными однородными членами, являются предложениями, обладающими большей силой сопоставительного сравнения, чем предложения, оформленные близким по значению союзом *как..., так и*.

О придаточной части приходится говорить и в случаях, когда часть предложения, вводимая союзом *что и*, посредством указательного местоимения *тот же* относится к причастию (наличествующему или опующенному).

Союз *что*, усложненный частицей *и*, вместе с предшествующим ему сложным структурным элементом *тот же + (XP)* напоминает сложные союзы *как... — так и, не толкьо... — но и* и др. Последние отличаются от рассматриваемого сложного синтаксического комплекса тем, что союзы, в том числе и двучленные, неизменяемы; в разбираемой же конструкции неизменяема только вторая часть. И, видимо, поэтому здесь в качестве союзного элемента употребляется не союз *как и*, как при указательном наречии *так (же)*, а союз *что и*, выступающий здесь в функции промежиточной между союзным словом и союзом. Этим промеждуточным характером союза *что и* поддерживается также и промежуточный характер рассмотренных выше придаточных конструкций, вводнимых данным союзом, их характерная особенность занимать место между придаточными предложениями и однородными членами предложения.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 31—42 1971 Debrecen

К вопросу категории предельности/непредельности в глагольных действиях

Й. Драхош

В аспектологии кроме категорий вида (Aspekt) и способа глагольного действия (Aktionsart) имеется еще одна треться языковая категория, которая получила в советском языкознании название предельности/непредельности (в дальнейшем для краткости П/НП). В международной лингвистической литературе для выражения категории П/НП употребляются следующие термины: терминативность/кутсивность[1], детерминированность/индетерминированность[2] (детерминативность-индетерминативность), конклюзивность/неконклюзивность[3], линеарность/нелинеарность[4], целевость/нецелевость[5], терминативность/атерминативность или лимитативность/алимитативность[6]. Эта категория занимает промежуточное место между категориями способа глагольного действия и вида, т. е. она является лексико-грамматической категорией.

Категория П/НП довольно поздно появилась в лингвистике. Прична этого факта наверно состоит в том, что П/НП не имеет непосредственного грамматического выражения, а выражается косвенно, во взаимодействии с другими грамматическими категориями. Изучение проблем этой категории впервые возникает в связи с исследованием значений временных форм страдательного залога глаголов в романских, позже и в германских языках и в связи с сопо-

[1] См. *H. Pedersen.* Zur Lehre von den Aktionsarten. KZ. 37, 1904, стр. 221; *A. Noreen.* Vårt språk, Nysvensk grammtik i utförlig framställning. Bd. V, Lund, 1904—12, стр. 645 и сл.

[2] См. *N. van Wijk.* Sur l'origine des aspects du verbe slave. RÉS, IX, fasc. 3—4, 1929, стр. 237—52; *I. Němec.* Genese slovanského systému vidového. «*Rozpravy Československé akadémie věd*», R. 68, seš. 7, стр. 158.

[3] См. *O. Jespersen.* Philosophy of Grammar. Copenhagen, 1924, стр. 287.

[4] См. *I. Poldauf.* Podíl mluvnice a nauky o slovníku na problematice slovesného vidu. «*Studie a práce linguistické* I». K. 60. narozenínám ak. B. Havránka. Praha, 1954, стр. 200—23.

[5] См. *H. B. Garey.* Verbal Aspect in French. Lg, 33, 1957, No 2, стр. 91—110.

[6] См. Сб. «Вопросы глагольного вида.» Под редакцией Ю. С. Маслова, Москва, 1962 стр. 14.

ставлением славянских приставочных глаголов с неславянскими, т. е. исследованием глагольного вида при помощи приставок в неславянских языках.

В романских и германских языках категория предельности/непредельности отражается в различном значении причастия, в различном значении форм страдательного причастия (отчасти и в самой возможности образования причастных форм). В этих языках формы страдательного причастия могут выражать два значения. Первое значение предполагает конечную цель, направленность действия к пределу, к цели. Это значение указывает на завершение прошедшего действия в настоящем (ср. ит. *il nemico e battuto*, франц. *l'ennemi est battu*, англ. *the enemy is beaten* 'враг разбит'). Второе значение не предполагают конечной цели действия, поэтому не указывают на заверзение действия. Это значение соответствует настоящему времени (ср. ит. *egli e amato da tutti*, франц. *il est aimé de tout le monde*, англ. *he is loved by everybody* 'он любим всеми')[7].

Предельность часто связывается с глагольными приставками, но это не обязательно (*заиграть, взвыть, договорить/договаривать; идти, везти, решить/решать*). Имеется немало предельных глаголов без приставок и наоборот — непредельных с приставками (*лететь, нести; побаливать, напевать*). Приставки часто вносят значение предельности в основу славянских глаголов и такие глаголы могут быть и предельными и перфективными. На основании перфективности отождествляли приставочные германские предельные глаголы с перфективными славянскими глаголами (*durchlesen* — прочитать). Из этого неправильного отождествления исходит смешивание предельности с видом в германских языках[8].

В славянских языках категория П/НП тоже выступает и скрывается под покровом аспектуального противопоставления и проявляется косвенно через аспектуальную дефективность славяских глаголов, так как здесь предельные глаголы могут выступать в обоих видах или только в совершенном виде (в глаголах perfectiva tantum), а непредельные глаголы — только в несовершенном виде (в глаголах imperfectiva tantum). При славянских глаголах предельность может выражать направленность действия к пределу и достигнутость этого предела, а при романских, германских глаголах выступает только направленность действия к пределу. Этот предел, может быть, не будет реально достигнут в данном акте действия , но он как бы предусматривается самой природой этого действия.

Предельные романские, германские глаголы поэтому соответствуют и имперфективным и перфективным славяским глаголам.

[7] См. *Fr. Dietz*. Grammatik der romanischen Sprachen III. Teil, Bonn, 1872, стр. 203.

[8] См *W. Streitberg*. Perfective und imperfektive Aktionsart im Germanischen. PBB. Bd. XV, Hf. 1. 1899, стр. 70—176.

1. Мы в этой статье будем рассматривать категорию П/НП в славянских языках, главным образом, в русском языке. Как категория вида (Aspekt) долго смешивалась с другими категориями — времени, способа глагольного действия (Aktionsart), так и категория П/НП не отграничивается ясно от других категорий вида, способа действия.

Исследователи занимались глаголами с предельным значением в древних индоевропейских языках, однако они не могли реконструировать четко значения категории П/НП в этих мертвых языках и этот факт дает возможность для полного отождествления категории П/НП с категорией определенности/неопределенности действия в славянских языках при глаголах движения *(бежать-бегать, ехать/ездить, идти/ ходить, лететь/летать, нести/носить* и т. д.)[9].

А Мейе уже полностью отождествляет категорию П/НП и категорию определенности/неопределенности и обозначает обе категории термином «déterminé—indéterminé» которой соотвтствует, «детерминированности»-«индетермированности». В работе А. Мейе «Общеславянский язык» (Москва, 1951), однако, детерминированность и индетерминированность переведены как «определенный» и «неопределенный» вид. Так мы легко можем установить, что здесь смешиваются друг с другом категории предельности/непредельности, определенности/неопределенности и вида.

Если сравним категорию П/НП с категорией определенности/неопределенности, то можем заметить, что между ними есть существенное различие. Неопределенные глаголы движения являются всегда непредельными и относятся к глаголам несовершенного вида, но определенные глаголы движения могут быть предельными и непредельными в зависимости от контекста. Если констекст указывает на конечную цель, то определенные глаголы движения имеют предельное значение *(самолет летит на юг, вчера студенты ехали в трамвае)*, но если контекст не указывает на конечную цель, то они имеют непредельное значение *(время идет* [*бежит*], дни летят*)*. Эти глаголы в предельном и непределном значении тоже относятся к глаголам несовершенного вида. Значение однонаправленности движения однако вовсе не то же самое, что значение направленности к какому-то пределу, с достижением которого действие должно прекратиться. Поэтому отождествление категории П/НП с категорией определенности и неопределенности является неправильным. Мы должны еще упомянуть, что между неопределенными и определенными глаголами движения противопоставления нет в видовом отношении, однако есть противопоставление между ними в отношении категории предельности/непределности, так как неопределенные глаголы движения имеют постоянно непредельное значение, а определенные глаголы — то предельное, то непредельное значение в зависимости от контекста.

[9] См. *A. Meillet*. Remarques sur l'étymologie de quelques mots grecs. BSL, 26, 1925, стр. 1.

Концепция А. Мейе, объединение двух категорий П/НП и определенности/неопределенности под термином «детерминированность — индетерминированность» получила широкое распространение среди лингвистов. Н. Ван-Вейк считает детерминораванность и индетермированность объективными категориями (objektive Aktionsarten) а перфективный и имперфективный виды — субъективными. По Н. Ван-Вейку глагол совершенного вида, так же как и детерминированный глагол выражает завершение действия или вообще определенный момент в развитии процесса, однако различие между ними состоит в том, что глагол совершенного вида определяется восприятием говорящего, а детерминированный глагол — объективными фактами. Он указывает, что детерминированный характер действия побуждает говорящего использовать совершенный вид, когда этому не препятствуют какие-любо обстоятельства объективного или субъективного порядка. Напротив, индетерминированный характер действия способствует употреблению несовершенного вида. Из этого неясно, позволяет ли детерминированность глаголов употребленние несовершенного вида. Мы можем установить, что автор опирается на теорию Э. Германа. «Der Unterschied zwischen der komplexiven und der kursiven Aktionsart ist demnach nur durch die Auffassung gegeben, nicht durch zwei verschiedene ausserhalb des Sprechenden liegende Tatsachen, er ist somit subjektiv.»[10] В этом определении он выражает различие между комплексивным и курсивным видами (subjektive Aktionsart). Однако он различает дуратвиных (длительный) и недуративный (недлительный) виды (objektive Aktionsart) и различие между ними он выражает так: «Der Unterschied zwischen beiden besteht auch ausserhalb des Sprechenden, er beruht auf den Tatsachen, ist also objektiv».[11]

Однако мы уже подчеркнули при определении способа действия и вида (см. Slavica X, стр. 73.), что объективность категории способа глагольного действия и суъбективность категории вида не играют решающей роли в различении этих категорий, потому что и объективность и субъективность могут выступать в обеих категориях и это относится и к категории П/НП.

Н. Ван-Вейк связывает дефективность славянских глаголов с детерминированным и индетерминированным характером глаголов. Он считает глалолы perfectiva tantum исключительно детерминированными, а глаголы imperfectiva tantum — исключительно индетерминированными. Это утверждение Н. Ван-Вейка является важным фактом, потому что дефективность служит особенностью проявления категории П/НП в славянских языках. Он так определяет детерминированные и индетерминированные глаголы: «En général, on peut dire que les verbes déterminés désignent des actions peu compliquées, menant directement à un but, tandis que les verbes indéterminés sont emp-

[10] См. *E. Hermann.* Objektive und subjektive Aktionsart. IF. Bd. XLV, 1927, Heft 3, стр. 207.

[11] Там же, стр. 209.

loyés pour des actions se composant de plusieurs actes ou pour des actions prolongées ou répétées.»[12]

Сам Н. Ван-Вейк указывает, что определение понятий детерминированности и индетерминированности не простое. Это так, потому что детерминированность у него употребляется и в значении завершенности и определенности, а индетерминированность — в значении итеративности (многократности), неопределенности и интенсивности. Поэтому эти термины являются неудачными для обозначения категории П/НП, потому что они выражают отдельные способы глагольного действия, поэтому не могут соответствовать определению абстрактной категории П/НП.

И. Польдауф различает две группы чешских глаголов: группу «линеарных» (парных) глаголов[13] dělati/udělati 'делать/сделать' и группу «нелинеарных» (непарных) глаголов (pracovat 'работать', umět 'уметь'. По мнению И. Польдауфа, «линеарные» глаголы могут ограничиваться (*pomáhal/pomohl, odchází/odešel* и т. д.), поэтому могут выступать как в несовершенном, так и в совершенном виде. Напротив «нелинеарные» глаголы выражают действия ненаправленные на определенный результат *(pracuje, se vznášˇi)*, состояние *(spí)* и отношение *(zná)*. Как видно, нелинеарные глаголы всегда остаются глаголами несовершенного вида, т е. дефективными глаголами (imperfectiva tantum). Однако И. Польдауф еще не затрагивает глаголов perfectiva tantum, которые он мог бы отнести к линеарным глаголам. Оценивая взгляды И. Польдауфа мы можем констатировать, что он считает категорию линеарности/нелинеарности лиминальной абстракцией, потому что она стоит на пороге лексической и грамматической абстракции.

По И. Польдауфу эта категория не имеет формального выражения, обычного для данной области (т. е. выражения при помощи слова в области лексики или при помощи формальной грамматической категории в области грамматики), и линеарный характер действия проявляется в возможности образования совершенной формы *(dělat/udělat* 'делать/сделать' *psát/napsát* 'писать /написать') в отличие от нелинеарного характера действия, где такой формы нет *pracovat* 'работать', *umět*, 'уметь', *vznašet se* 'реять'[14]. При этих глаголах эта категория проявляется через отсутствие несоотносительных глаголов совер-

[12] *N. van Wijk*. Sur l'origine des aspects du verbe slave. RÉS, fasc. 3—4, 1929, стр. 252.

[13] А. В. Исаченко использует термин «курсивность действия» для обозначения глаголов, обраующих соотносительные видовые пары, поэтому содержание этого термина приближается к термину «линеарности действия» И. Польдауфа, который употребляется для выражения парных глаголов, напротив с термином курсивность Х. Педерсена, А. Нурена, который выражает только имперфективные глаголы. Термин «курсивность действия» поэтому является противоречивым.

[14] *И. Польдауф*. Место грамматики и лексикологии в изучении вопросов глагольного вида. Сб. «Вопросы глагольного вида». Под редакцией Ю. С. Маслова, Москва, 1962, стр. 80.

шенного вида. Однако И. Польдауф еще не различает абсолютных и относительных imperfectiva tantum, у него *psát/napsát* 'писать/написать' — парный, линеарный глагол.

И. Немец, занимаясь генезисом славянской видовой системы, устанавливает, что совершенными стали глаголы, выражавшие детерминированное конкретно-единичное действие, а несовершенными — глаголы, выражавшие индетерминированное действие, т. е. состояние, свойство, повторяющееся, обычное и сложное действие. Он определяет детерминированность как «значение конкретно-единичного целенаправленного действия, стремящегося к своему завершению, а индетерминированность — как значение действия без момента конкретной единичности и ограниченности перспективой завершения»[15].

В своем определении И. Немец уже приближается к сущности категории П/НП, т. к. он уже полагает, что детерминированные глаголы имеют значение конкретно-единичного целенаправленного действия, стремящегося к пределу, а индетерминированные глаголы такого значения не имеют, но все–таки у него имеется неясность, охватывает ли детерминированность только совершенные или только несовершенные *(идти, вести)* или и совершенные и несовершенные. И у него видно, что категория детерминированности/индетерминированности не может дать полное определение категории П/НП, потому что и в определении И. Немца находятся разные значения категории способа глагольного действия, которые не могут выражать абстрактное значение категории П/НП.

В своих работах Ю. С. Маслов тоже занимается категорией П/НП. Уже в своей докторской диссертации[16] он называет термины И. Польдауфа «линеарность» и «нелинеарность» предельностью и непредельностью глагольного действия, которые выражают направленность и ненаправленность к внутреннему пределу. Ю. С. Маслов утверждает, что категория П/НП есть высшая абстракция в области способов действия и она образует «переходное звено» между «низшими» способами действия и грамматической категорией вида, поэтому стоит на пороге лексики и грамматики и таким образом является лексико-грамматической категорией. Он подчеркивает, что предельность и непредельность противополагаются друг другу, делят между собой лексические значения глаголов и тем отличаются от категории вида. Однако четкая противопоставленность предельности и непредельности друг другу, их «полярность» и «бинарность» ярко отличают их от «низших» способов действия, представляющих собою незамкнутый ряд разнообразных сопоставлений.

В своей диссертации Ю. С. Маслов указывает и на связь категории П/НП с категорией вида. Предельные глаголы выступают в славянских языках, или в обоих видах — совершенном и несовершенном или только совершенном,

[15] *И. Немец.* Генезис славянской видовой системы. Сб. «Вопросы глагольного вида» Под редакцией Ю. С. Маслова. Москва, 1962, стр. 409.

[16] см. *Ю. С. Маслов.* Глагольный вид в современном болгарском языке. Ленинград, 1957, стр. 88—99.

в качестве perfectiva tantum, причем в этом отношении наблюдаются значительные различия между отдельными славянскими языками. Непредельные глаголы обнаруживают полное единство в славянских языках, они выступают только в несовершенном виде.

Постоянно непредельные глаголы составляют группу абсолютных imperfectiva tantum (русск. *стоять, сиять, существовать;* болг, *стоя, съществувам*). Многозначные глаголы, имеющие как непредельные, так и предельные значения, составляют группу относительных imperfectiva tantum. В своих непредельных значениях эти глаголы не имеют никаких точных соответствий среди глаголов совершенного вида (русск. *писать, он умеет писать;* болг. *пиша, той знае пиша*).

В пределных значениях эти же глаголы имеют точные семантические соответствия среди глаголов совершенного вида (русск. *пишу*, [*напишу*] письмо; болг. *пиша* [*напиша*] *письмо*).

Ю. С. Маслов, занимаясь категорией П/НП в готском языке[17] высказывает такую мысль, что в глагольных парах готского языка имеется противопоставление предельных и непредельных глагольных значений. Он устанавливает, что в готском языке не было ни глагольного вида, подобного славянскоиу, ни вообще категории глагольного вида, но в нем была «видообразная» категория П/НП глагольного действия, которую долго смешивали с категорией вида.

Ю. С. Маслов в своей работе «Заметки о видовой дефективности» (Ленинград, 1964), пишет что предельность и непредельность глагольного действия лучше исследована в германских языках, чем в славянских языках. Он объясняет, что германисты называют предельным (terminativ) такой глагол, который выражает действие, направленное к какой-то цели, к известному пределу, но этот предел может быть, не будет реально достигнут в данном акте действия, но он как бы предусматривается самой природой этого действия (например, нем. *kommen, bringen).*

Однако немецким предельным глаголам *(kommen, bringen)* соответствуют славянские глаголы с полной парагидмой (прийти — приходить). Непредельным (kursiv или личше aterminativ) называется такой глагол, который выражает действие или состояние, не направленное к цели, не содержащее в себе никаких предпосылок своего завершения, не могущее достигнутость «внутренней исчерпанности» (например, нем. *stehen, liegen, sein, weinen, haben, lieben).* Немецким непредельным глаголам соответствуют славянские imperfectiva tantum *(стоять, лежать, быть, плакать, иметь, любить).* Далее Ю. С. Маслов характерузует категортию П/НП: «Можно сказать, что предельность и непредельность представляют собою наиболее высокую ступень абстракции в области способов действия, самую обширную группировку этих способов с точки

[17] См. *Ю. С. Маслов.* Категория предельности/непредельности глагольного действия в готскон языке. ВЯ. 1959, № 5, стр. 75.

зрения того влияния, которые способы действия оказывают на категорию вида. Эта наиболее высокая ступень лексической абстракции стоит уже как бы на пороге между лексической и грамматической абстракцией»[18].

А. В. Бондарко исследуя категорию П/НП, выделяет ее непосредственное влияние на видовую соотносительность и несоотносительность. Он устанавливает, что глаголы состояния, отношения, эволютные глаголы, прерывисто-смягчительного, длительно-смягчительного, сопроводительного, многоактного и ненаправленного способов действия являются непредельными глаголами. Их семантическое значение не позволяет употреблять совершенный вид, поэтому эти глаголы не имеют соотносительности и употребляются как несоотносительные глаголы несовершенного вида.

Предельные глаголы могут быть соотносительными, т. е. могут употребляться в обоих видах, елси значения предельных глаголов сочетаются со значениями обоих видов *(подставить/подставлять, решить/ретарь)*. Однако эта возможность реализуется далеко не всегда. Если значения предельных глаголов совместимы со значениями лишь совершенного вида, то предельные глаголы оказываются несоотносительными, т. е. несоотносительными глаголами совершенного вида. Однако не во всех случаях несоотностьельность глаголов совершенного вида объясняется влиянием способа на вид. В пределах одного и того же способа действия одни глаголы выступают в обоух видах, другие — только в совершенном (ср. *просидеть — просиживать*, но *продремать* — только сов.)[19].

А. В. Бондарко причисляет категорию П/НП ко второму элементу категории аспектуальности. «Другой элемент аспектуальности — способы действия. Они представляют лексическую (отчасти словообразовательную, отчасти лексико-сематническую) аспектуальность. Вместе с «низшими» способами действия сюда относится и категория предельности/непредельности, поскольку она не выражается непосредственно системой грамматических форм. Эта категория образует как бы «лексико-грамматическую» зону, непосредственно примыкающую к грамматическому ядру аспектуальности»[20].

2. Однако предельность/непредельность употребляют не только для обозначения высшей абстракции глагольных действий, но и для обозначения видового значения, поэтому мы должны рассмотреть это понятие и в рамках вида, чтобы отчетливо видеть, для обозначения каких видовых значений используют ее одни лингвисты в русском языке.

В определении совершенного вида Э. Черного[21] впервые выражается понятие предела, по которому совершенный вид представляет действие сомкнуто, в сжатом виде.

[18] *Ю. С. Маслов.* Заметки о видовой дефективности (преимущество в русском и в болгарском языках). Ленинград, 1964, стр. 91.

[19] См. *А. В. Бондарко, Л. Л. Буланин.* Русской глагол. Ленинград, 1967, стр. 44—5.

[20] Там же, стр. 50.

[21] См. Э. *Черный.* Об отношении видов русского глагола к греческим временам. Санкт-Петербург, 1877, стр. 9.

Позже Л. П. Размусен[22] отмечает, что значение предельности обозначает абсолютную границу действия в категории совершенного вида, т. е. первоначальное действие, как достигающее своей цели (своего предела). Б. Н. Головин[23] критикует Л. П. Размусена за смешение таких понятий, как предел и цель. И. П. Мучник[24] выдвигает значение результативности основным критерием при различении глаголов совершенного и несовершенного вида и считает понятие предела действия и понятие результативности равнозначным.

В. В. Виноградов[25] считает основным критерием различия совершенного и несовершенного видов наличие или отсуствие предела действия, но наличие предела сливается у него и с результативностью. М. А. Теленкова[26] права в том, что понятие «предел» в определениях В. В. Виноградова оказывается абстрактным. У него это понятие может выражать или одно частное значение совершенного вида, как установил и А. В. Исаченко[27], или общее значение совершенного вида, которое может содержать в себе и другие значения: достижения цели, результат, ограничение, устранение представления о длительности или предел как общее значение, которое может сливаться только с результативностью. По совеременной аспектологии предельность и результативность не могут служить общим или частным значением совершенного вида.

И. Г. Долинина[28] приходит к выводу, что понятие предела (предельности) может характеризовать как глаголы совершенного, так и глаголы несовершенного вида. Таким образом, разница между совершенным и несовершенным видом заключается не в наличии или отсутствии предела (поскольку он имеется у обоих видов глаголов), а в наличии или отсутствии указания на достигнутость предела. Она указывает, что достигнутость предела не равняется законченности действия и приводит в качестве примера глаголы заговорить и заговаривать. По ее мнению у обоих глаголов выступает предел, который связан с лексическим значением приставки «за-» и выражает приступ к действию, но незаконченность.

[22] См. *Л. П. Размусен.* О глагольных временах. «Журнал Министерства Народного Просвещения», Санкт-Петербург, 1891, стр. 379.

[23] См. *Б. Н. Головин.* Проблемы взаимодействий лексических и грамматических значений в приставочных видовых формах совершенного глагола. Москва, 1949, стр. 19.

[24] См. *И. П. Мучник.* О значениях видов русских глаголов. «Русский язык в школе», 1946, № 5—6, стр. 8.

[25] См. *В. В. Виноградов.* Русский язык. Москва-Ленинград, 1947, стр. 497—8.

[26] См. *М. А. Теленкова.* К вопросу о несоотносительных глаголах несовершенного вида в современном русском языке. Москва, 1955, стр. 9—10.

[27] См. *А. В. Исаченко.* Грамматический строй русского языка. Морфология II. Братислава, 1960, стр. 135.

[28] См. *И. Г. Долонина.* Взаимоотношения категории предельности и вида в русском языке. «Методические указания по вопросам глагольного вида», Черновицы, 1952, стр. 3—8.

Мы можем установить, что И. Г. Долинина уже отличает категорию предельности от категории вида и определяет между ними взаимоотношение. И. Г. Долинина правильно подчеркивает, что предельность может выступить и в глаголах совершенного и несовершенного вида, что совершенный и несовершенный вид глаголов определяется наличием или отсутствием достигнутости прелела, однако она выделяет только абстрактность значений приставочгных глаодов, т. е. только предельность приставочных глаголов и не принимает во внимание, что предельность может характеризовать и бесприставочные глаголы.

Б. Н. Головин[29] пытался дальше развить мысль В. В. Виноградова о предельности и непредельности действия как об основных признаках совершенного и несовершенного видов. По Б. Н. Головину признак предельности понимается по-разному. Предельность можно рассматривать внешне количественно как предельность, ограниченность процесса во времени. И можно ее рассматривать качественно как отражение в содержании внутреннего т. е. качественного предела в развитии самого процесса. Совершенный вид отражает предельность как внутреннюю т. е. качественную границу в развитии процесса, т. е. ту его точку, в которой процесс, именно этот процесс возникает или умирает, переходит в иной процесс. Глаголы несовершенного вида означают процессы вне их связи с их качественной границей. В концепции Б. Н. Головина выражается абстрактность предельности термином «качественная граница», от котораго зависит вид глаголов, однако сушность «качественной границы» не объясняется им детально, поэтому нам неясно считает ли он предельность, т. е. внутреннюю «качественную границу» самостоятельной абстрактной категорией, или только признаком совершенного вида.

При определении глаголов совершенного и несовершенного вида из признака «предела действия» исходят также авторы учебника «Современный русский язык»[30] Они употребляют и понятие «границы» помимо понятия предела и эта граница выражает у них, начальность, ограниченность во времени и завершенность действия. А. В. Гвоздев[31] подменяет понятие предела понятиями иного (лексического) характера: исчерпанностью, завершенностью, кроме того предельность выступает у него и в значении результативности. По Академической грамматике[32] русского языка понятие предела выражает общее значение совершенного вида.

[29] См. *Б. Н. Головин.* О видовых и внутривидовых значениях современных русских глаголов. Вологодский Государственный педагогический институт имени В. М. Молотова. «Ученые записки», том VII, Вологда, 1950, стр. 265—7.

[30] См. *Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. фомина, В. В. Цапукевич.* Современный русский язык. Москва, 1961, стр. 215—6.

[31] См. *А. Н . Гвоздев.* Современный русский литературный язык. Москва, 1961, стр. 306—8.

[32] См. АН СССР. Институт Языкознания. Грамматика русского языка. Москва, Т. I. 1960, стр. 426. (редакцная коллегия: В. В. Виноградов, Е. С. Истрина, С. Г. Бархударов).

3. Заканчивая нашу статью, мы можем сделать следующие выводы:

1) Возникновение категории П/НП сводится к изучению временных форм страдательного залога в романских и германских языках, но эта категория существует и в славянских языках.
2) Категория П/НП — абстрактная, лексико-грамматическая категория, лежащая на границе между видом как грамматической категорией и способами действия как лексической категорией, но эта категория не имеет грамматических средств для своего выражения и проявляется косвенно, во взамодействии с другими категориями (в различном значении причастия — II, в видовой дефективности), поэтому ее смешивают с категориями вида и способа действия (А. Мейе, Н. Ван-Вейк).
3) Термин детерминированность/индетерминированность не может выражать категории П/НП, потому что детерминированность употребляется в значении завершенности и определенности, а индетерминированность — в значении итеративности, неопределенности и интенсивности. Эти значения являются значениями способа действия и не выражают высшей абстракции категории П/НП.
4) И. Польдауф разрабатывая теорию категории П/НП в чешском языке, выделяет особенности этой категории: *а)* абстрактность, *б)* направленность и ненаправленность действия к пределу, *в)* отсутсвие формального грамматического выражения, *г)* дефективность глаголов imperfectiva tantum. Он еще не различает обсолютных и относительных глаголов imperfectiva tantum и не затрагивает глаголов perfectiva tantum,
5) Ю. С. Маслов, опираясь на германские языки, глубоко выработал теорию категории П/НП в русском и болгарском языках. Он различает те же особенности этой категории как И. Польдауф. Ю. С. Маслов устанавливает, что категория П/НП — высшая абстракция в области способов действия. Он дает определение этой категории, на основании которого ясно можно отличать категорию П/НП от категорий способа действия и вида, и показывает взаимодействие этих трех категорий. Ю. С. Маслов уже разделяет дефективные глаголы imperfectiva tantum на обсолютные, которые всегда являются непредельными, и на относительные, которые могут быть и предельными и непредельными. Кроме этого, в отличие от И. Польдауфа, он принимает во внимание глаголы perfectiva tantum, которые он относит к предельным глаголам.
6) А. В. Бондарко хорошо систематизирует непредельные глаголы и показывает влияние непредельности на видовую несоотносительность, но нам кажется, что проблема влияния предельности на видовую соотносительность и несоотносительность требует еще более углубленного исследования. А. В. Бондарко в категории аспектульности соединяет категории вида, способа действия и предельности/непредельности и в этой составной категории категория П/НП образует как бы лексико-

грамматическую зону, непосредственно примыкающую к грамматическому ядру аспектуальности.

7) У разных лингвистов предел может выражать или общее значение, или частное значение совершенного вида, или отождествляется с другими терминами (цель, достижение цели, результативность, завершенность, исчерпанность), поэтому часто смешивают абстрактную категорию П/НП с термином предела (предельности).
8) Однако нельзя пройти мимо возникающих проблем, которые затрудняют понимание категории П/НП. Прежде всего не ясно, какую роль играют формальные показатели в категории П/НП, потому что предельность часто бывает всязана с наличием глагольной приставки.
9) Нам трудно понять видовую дефективность как общий признак проявления предельности, потому что предельность охватывает не только глаголы совершенного вида, но и соотносительные (парные) глаголы, при которых существует соотносительность.
10) Категория способа глагольного действия и категория предельности/непредельности влияют на категорию вида, их влияние сливается, поэтому не видим резкой границы между этими двумя категориями с одной стороны, и категорией вида с другой. Вследствие этого нам кажется, что категория П/НП преимущественно служит для подразделения всех способов действия на предельные и непредельные внутри категории способа действия.
11) Для лучшего понимания сущности категории предельности/непредельности необходимо изложить подробнее все характерные черты этой абстрактной категории, провести яснее границу между категориями П/НП и способа глагольного действия, уточнить влияние этих двух категорий на категорию вида, и наконец, было бы желательно привести в порядок терминологию интересующих нас трех категорий.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 43—46 1971 Debrecen

Greckie ślady w toponomastyce Rusi

A. STEFFEN

1. *Kiczkas*, przylądek w kolanie Dniepru

Poniżej obszaru progów, koło Jekaterynosławia, Dniepr zmienia swój południowo-wschodni bieg, skręcając ostro ku południowemu zachodowi, aby tworzyć kolano, skutkiem czego teren w samym kolanie rzeki, między ostatnim progiem i wyspą Chortycą, przybiera kształt przylądka z dwu stron oblewanego wodą rzeki. Przylądek ten, prawobrzeżna część wyskoku górskiego, występującego w opisie żeglugi Rusów cesarza bizantyńskiego Konstantyna VII Porfirogenety[1] pod grecką nazwą *Κράριον* (≦ *ἀκράριον* 'promuntorium'), nosi obecnie tajemniczą nazwę *Kiczkas*. Ponieważ jest on skalisty, wysoki i podobny do średniowiecznej twierdzy trójkątnej (po niemiecku *Spitzburg*), sławny francuski inżynier wojskowy Giaume Levasseur de Beauplan, który w roku 1635 wybudował wielką twierdzę *Kudak* na drugim końcu obszaru progów, rozpoznał w nim wymarzoną twierdzę naturalną. Oto, co Levasseur pisze o jego wyglądzie i walorze[2]: une langue de terre enfermée par le dit Boristhene, et environnée de deux precipicas inaccessibles comme cela se voit en la carte, qu'on ne peut aborder que d'une costé de la campagne, par un endroit d'environ de deux mille pass, et en lieu assez bas il n'y auroit que ce lieu à enfermer pour avoir une belle et forte ville. Co do tego Levasseur nie był jednakże pierwszym, grubo bowiem przed nim poznali się na strategicznych walorach tego miejsca Rusowie, którzy rokrocznie urządzali zorganizowane wyprawy handlowe do Konstantynopola, oraz ci, którzy chciwym okiem spoglądali na zakupione przez nich w Konstantynopolu towary egzotyczne, mianowicie Pieczyngowie. Konstantyn Porfirogeneta podaje, że właśnie tutaj, tj. w obrębie wyskoku górskiego *Κράριον*, gdzie Dniepr jest najwęższy (cesarz nazywa ten około 160 m szeroki odcinek rzeki *Πέραμα τοῦ Κραρίου*) i z prawej strony strony oblewa rzeczony przylądek, Pieczyngowie zbrojnie atakowali ruską flotylę handlową w celach rabunkowych. O tym zaś, czy nacierali z obu brzegów albo tylko z jedne-

[1] Gy. Moravcsik, Constantine Porphyrogenitus «De administrando imperio». Budapest, 1940, s. 56—62.

[2] Sieur de Beauplan, Description d'Ukraine. Rouen, 1650, s. 21.

go, milczy, natomiast opowiada, że brzegi rzeki w tym miejscu są wysokie na długość wyrzuconej z dołu ku górze strzały łukowej i że na ich grzbietach siedzą zaczajeni ludzie, których nazywa φίλοι. Badacze przyjmują, że wyrazem φίλοι cesarz określa przyjaciół Pieczyngów, w czym z pewnością nie mają racji. Pieczyngowie, którzy byli włóczęgami, nie mieli, przynajmniej w tych stronach, przyjaciół. Przyjąć zatem wypada, że idzie tu o przyjaciół-sprzymierzeńców Rusów albo, co jest najbardziej prawdopodobne, o zbrojną obronę Rusów (por. znaczenie wyrazu φίλος w dzisiejszym języku żołnierskim). Pieczyngowie prawdopodobnie atakowali jedynie z lewego brzegu rzeki, który, jak podaje Eryk Lassota[3], był wyższy, a prawy brzeg czyli kiczkasowy kontrolowali w czasie przeprawy łodzi Rusowie. W opisie Konstantyna Porfirogenety mowa jest także o kilkudniowym odpoczynku Rusów na rzecznej wyspie *Chortyca*, leżącej pod bokiem przylądka *Kiczkas*. Bez utrzymywania tam załogi w sezonie wyprawy do Konstantynopola postój taki nie byłby możliwy ze względu na zbrojne niebezpieczeństwo ze strony Pieczyngów. Na obecność załogi ruskiej na tej wyspie wskazuje też jej nazwa *Varjažьskyjь Ostrovъ*. Tak bowiem nazywa ją Voskresenskaja Kronika. Cesarz zaś zna dla tej wyspy jedynie nazwę grecką ᾿Αγιος Γρηγόριος (Św. Grzegorz).

Jakie jest pochodzenie nazwy *Kiczkas*? Osobiście widzę w niej grecki wyraz *(ἀ)κιδ(ό)κασ(τρον) albo *ἀκίδ-κασ(τρον) 'ostra twierdza', wyraz złożony z rzeczowników ἀκίς ἀκίδος 'ostrze, szpic' i κάστρον 'twierdza. Nagłosowe nieakcentowane ἀ- mogli odrzucić już ówcześni Grecy, za czym przemawiałaby m. in. wzmiankowana wyżej nazwa wyskoku górskiego Κράριον (≦ ἀκράριον), w którego obrębie obiekt *Kiczkas* leżał. Brak głoski —*o*— może świadczyć, że wyraz uległ ściągnięciu, być może już w ustach greckich (por. co do tego Hezycha ἀκιδ-ρωπάζω). Końcowe zaś -τρον odpadło pod wpływem wymowy słowiańskiej i pod wpływem tejże wymowy głoska —*δ*— przed —*κ*— przybrała wartość —*č*—. Moją hipotezę o greckim pochodzeniu nazwy *Kiczkas* popierają historyczne greckie nazwy sąsiednich obiektów Κράριον, Πέραμα τοῦ Κραρίου[4] oraz ᾿Αγιος Γρηγόριος. Złożeń z pierwszym składnikiem ἀκιδο- nie brak w słownictwie bizantyńskim i w dzisiejszym języku ludowym.

2. Identyfikacja grodu *Iskorostěnь*

Iskorostěnь, wnioskując z rozmaitych szczegółów kroniki Nestora, mia być jednym z dwu głównych grodów Derewljan. Pierwszy raz wymieniony jest tam pod rokiem 6453 (=945) w opisie wyprawy W. księcia Igora na Derewljan. Derewljanie, wyszedłszy z tego grodu z wielką siłą na spotkanie

[3] R. Schottin, Tagebuch des Erich Lassota von Steblau. Halle, 1866.

[4] Por. *Slavia Orientalis* XII (1963), s. 515, gdzie znajduje się rysunek, na którym uwidoczniony jest także przylądek *Kiczkas*.

napastnika, zadali mu druzgocącą klęskę, zabili Igora i pogrzebali jego ciało pod grodem. Drugi raz pada nazwa *Iskorostěnъ* pod rokiem 6454 (=946), mianowicie w opisie wyprawy małżonki Igora Olgi na *Iskorostěnъ* dla pomszczenia śmierci Igora. W kronice czytamy między innymi[5]: „Olga uderzyła z synem swoim na gród Iskorsten, bo tu ubito męża jej... I uciekli ludzie z grodu, a Olga kazała wojsku swemu chwytać ich. I wzięła gród i grabiła go, starszyznę grodową spaliła, z ludu pospolitego jednych pozabijała, drugich oddała w niewolę dostojnikom swoim, a reszcie kazała płacić dań. I nałożyła na nich dań ciężką; dwie części dani szły do Kijowa, a trzecia do Wyszogrodu dla Olgi; był bowiem Wyszogród grodem Olgi."

Później nazwa *Iskorostěnъ* milczy, z czego badacze wyprowadzają wniosek, że gród ten nigdy nie grał takiej roli jak Połock, Turów i inn. Nas oczywiście interesuje pochodzenie nazwy i identyfikacja tajemniczego grodu. Ze względu na końcową część *-stěnъ*, w której badacze widzą szwedzki rzeczownik *sten* 'kamień', przyjmuje się dziś ogólnie, że idzie tu o nazwę pochodzenia nordyjskiego, zawierającą być może imię własne *Iskorostěnъ*. Tak przynajmniej SOBOLEWSKIJ (RFV 64, 179). WASMER (REW I, 488) zaś nieśmiało dopatruje się w początkowej części nazwy stnord. wyrazu *skarfr* 'skała'. Próba objaśnienia Sobolewskiego i domysł Vasmera są oczywiście chybione, w istocie bowiem mamy tu do czynienia z hybrydycznym złożeniem **(W)iskoro(d)-sten*, zawierającym w pierwszym składniku słowiańską pełnogłosową formę nazwy Wyszgorodu (w *De administrando imperio* cesarza biz. Konstantyna Porfirogenety *βουσεγραδ-*[6]), w drugim szwedzki rzeczownik *sten* 'kamień', tu jednak w znaczeniu 'miasto, gród' jak niem. *-stein* (tj. *Stein* 'kamień') w niemieckich nazwach miast woj. olsztyńskiego *Allen-stein* (Olsztyn), *Hohen-stein* (Olsztynek,) *Bischof-stein* (Bysztynek) i gdzie indziej. Według tego należy przyjąć, że nazwę, o której mowa, stworzyli skandynawscy przybysze Rusi północnej, wymawiając ją **Wiskorodsten* albo *-tsten*. W ustach Słowian Rusi przybrała ona, przez elipsę głoski *-d-*||*-t-* przed grupą spółgłoskową *-st-*, wymowę **Wiskorosten*, co nadczarnomorscy i żyjący wśród Słowian Grecy, mówiący językiem wulgarnym, po części nieuwzględniającym słowiańskiego dźwięku *w* w nagłosie[7], wymawiali *Iskorosten*. Nestor najwidoczniej wypisał ją z greckiego źródła[8], a treść relacji, ponieważ zawiera także zwykłą formę naz-

[5] Przekład z „Monumenta Poloniae Historica". T. I.

[6] Op. cit., cap. 9. Idzie o gród nad Dnieprem, około 10 km na północ od Kijowa.

[7] Powodem pominięcia głoski *w* w nagłosie (w niektórych zabytkach także w śródgłosie) musiał być fakt, że słowiańskie dwuwargowe i dwuwargowe szczelinowe *w* różniło się widocznie swą wartością fonetyczną od gr. *β*, wymawianego wtedy jak *w*. Por. co do tego *Prace Językowe*. Londyn, 1966, nr 2, s. 21.

[8] W pewnych miejscach Nestor powołuje się na greckie źródła. Tekst zaś traktatu, zawartego między cesarzem i Igorem, wygląda na przekład z greckiego wzorca, co zresztą podnoszą nie tylko językoznawcy.

wy Wyszgorodu, mógł czerpać nawet z dwu dokumentów, greckiego i słowiańskiego. Z greckiego źródła może pochodzić bajeczna część cytowanego wydarzenia, którą opuściłem. Grecy byli mistrzami tego rodzaju literatury. Forma **Wiskorodsten*~||~**Wiskorotsten* mogła obowiązywać na dworze Olgi jako przywleczona z W. Nowgorodu. Więc: *Iskorostěnь* idem est quod Wyszgorod.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 47—70 1971 Debrecen

Пушкин в оценке русских поэтов конца 30-х годов XIX века

В. М. Григорян

1. Поэтам свойственны поэтические обращения к поэтам. И именно *поэтические* обращения. Совсем недавно — в 1964 году — Л. Мартынов попытался сделать это в прозе (когда писал о «Проблеме перевода» в предисловии к своей книге «Поэты разных стран»), но не сумел: ведь он поэт. И он писал: «Любой из нас имеет основанье добавить, беспристрастие храня, в чужую скорбь свое негодованье, в чужое тленье своего огня».

Когда Данте начинал свой тяжкий путь по лабиринту человеческих судеб, он нашел поддержку в поэте. Сам Вергилий — «родник бездонный, откуда песни миру потекли» — протянул ему руку, и творец «Божественной комедии» воскликнул: «Поэт, вожатый мой!» Неведомый нам автор «Слова», прежде чем приступить к повествованию, ищет и находит свой художественно-эстетический идеал в песнетворчестве «гораздого киевского гудца». И нельзя не видеть глубокой логики преемственности поэтической традиции в том факте, что Маяковский в трудный для становления советской литературы час начинает свое лирическое обращение к Пушкину словами: «Дайте руку!»

По всей вероятности, можно говорить о том, что традиция писать поэтические оценки результатов творчества, особенно литературного, никогда не существовала в «оголенном» виде: она всегда воплощалась в обобщенных образах, эпицентром которых становился великий мастер. Так родилась — в свое время — тема Данте; история мировой литературы знает многовековую проблему шекспировской темы; сложная система вопросов концентрируется вплоть до наших дней вокруг темы Гюго. И вполне закономерно, что сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что пушкинская тема в истории русской и советской литературы занимает видное и принципально значимое место.

Однако было бы неверным сводить проблему к простой схеме: «большой мастер — тема». Неверно и упрощенно хотя бы потому, что эта связь не существует изолированно и о ней нельзя говорить как о чем-то эстетически сепаратном в кругу тех вопросов, которые волнуют поэтов и поэзию той или иной эпохи. Тема «имени» поэта органически сплетается с системой задач, решаемых на

данном состоянии развития литературного процесса, и — отсюда — очень важный вывод: образ поэта приобретает характер сложной динамической структуры, в основе которой лежит непременный критерий — *современность*. Это значит, что поэт как адресат не статичен, а, так сказать, диахронен, и в этом смысле Пушкин сегодня это — категория, воспринимаемая и интерпретируемая в плане задач и волнений сегодняшнего дня.

Таким образом, если мы ставим перед собой цель дать общую картину оценки творчества поэта поэтами, то при этом должны учитывать — со всеми вытекающими отсюда последствиями — сложную взаимосвязь диахронии и синхронии. Подобное рассмотрение предполагает, например, изучение вопроса как в плоскости одновременности данной темы в системе проблем, порожденных эпохой, так и в плане той эволюции, которую претерпел образ в процессе поступательного развития литературы вообще.

С этой точки зрения может возникнуть опасность того, что исследование поэтической оценки поэта может «запараллелиться» с констатацией тех фактов, которые известны из истории критического осмысления его творчества. Действительно, если сопоставлять фактографическую сторону оценки Пушкина, например, в 80-х годах прошлого века, то можно найти тождественность в том, что делали литературные критики и поэты. Как известно, открытие памятника Пушкину на Тверском бульваре в Москве явилось своеобразным (и в то же время легко объяснимым) импульсом, стимулировавшим повышенный интерес не только к творчеству, но и к общественной значимости поэта. В вихре литературной полемики[1] интерес к личности был отодвинут далеко на второй план, и в центре внимания оказалась социальная сущность наследия великого писателя. И, вполне естественно, что этот вопрос по-разному, с разных поэиций, в различном социально-классовом аспекте решался литераторами разных точек зрения. И не удивительно, что в жарких спорах о Пушкине активное участие принимали и поэты, голоса которых пели отнюдь не в унисон. Но если сопоставлять общие тенденции, то дело можно довести до грубой схемы: критик и его иллюстратор-поэт. Такое упрощение в синхроническом плане очень опасно, т. к. на поверхности, повторяем, можно увидеть соблазнительные для исследователя черты тождества. Соблазнительные потому, что кажущаяся тождественность прямым ходом ведет к сведению двух задач к одной: вместо двух задач можно решать только одну.

Однако это не так, и дело здесь не только в том различии, которое разграничивает науку и искусство, жанр литературной критики и поэзию. Мы видим здесь еще одно принципиальное обстоятельство, которое заставляет

[1] У нас нет возможности приводить полную библиографию по этому вопросу. Сошлемся лишь на два источника, которые могут пролить известный свет на указанную полемику: *С. С. Трубачев*. Пушкин в русской критике. СПб., 1889; Сб.: «А. С. Пушкин в русской критике». ГИХЛ, 1950.

думать, что указанным тождеством нельзя охватить все явление в целом и что поэтическая оценка имеет свою (и не только жанровую) специфику.

Дело здесь вот в чем. Поэтическое обращение поэта к поэту — помимо собственной оценки его творчества — может содержать еще два мотива: мотив поэта-творца, отмеченного «божественным» даром, а также — личности со всеми ее человеческими качествами, свойствами, особенностями. Эти интонации если и проникают в текст критико-библиографической статьи, то крайне редко и — что особенно важно — занимают в ней факультативное место. Между тем в лирической оценке поэта (прижизненной или посмертной — все равно) эти два мотива могут занять особое, а иногда и центральное место.

Отношение между ними и, если можно так выразиться, их «удельный вес» могут быть самыми разными. Причем, как мы постараемся показать на материале посвящений Пушкину, интерес к личности поэта имеет тенденцию занять превалирующее положение по отношению к значительно более сильно звучащей в прошлом интонации, идущей от «темы поэта» как таковой.

Все сказанное нами, естественно, имеет самый общий характер и ни в коей мере не претендует на охват всего тематического разнообразия поэтических обращений вообще. Мы видим нашу задачу в описании лишь одного частного типа поэтических обращений — посмертной оценки поэта, а еще конкретнее — поэта, сыгравшего исключительную роль в истории русской культуры — Пушкина. И все наши замечания, приведенные выше, в основном были сделаны по наблюдениям над соответствующим материалом.

Итак, поэтическая оценка творчества отличается некоторыми специфическими свойствами, из которых для нас наиболее существенным является постоянное эволюционирование образа поэта, его постоянное проецирование на современность, а также — стремление сконцентрировать вокруг собственной оценки наследия писателя мотивы поэта-творца и поэта-личности. Но мы не исчерпали бы вопроса, если б не заметили еще одной особенности изучаемой темы.

По-видимому, можно говорить о том, что проблема поэта вообще и проблема оценки его творчества — в частности, не ограничивается просто желанием сказать что-то своему «коллеге». Нам представляется, что в данном случае выполняется социальный заказ значительно более высокого порядка, а именно, — в круг поэтических тем таким образом вводится человек, личность. Если присмотреться к этому вопросу внимательно, то легко можно будет убедиться в том, что интерес к человеку в истории лирической поэзии всегда занимал одно из центральных мест, однако его интерпретация фокусировалась на личности самого пишущего. Мы подчеркиваем, что речь здесь идет прежде всего о лирической поэзии, т. к. в эпосе (и его смежных с лирикой сферах — поэмах, балладах, сюжетных стихотворениях и т. д.) проблема человека решается посредством решения проблемы положительного героя, т. е. в данном случае можно говорить о некоторых совпадениях эстетических основ эпических жанров

поэзии с исходными принципами решения проблемы личности в сюжетно организованной прозе. Поскольку же вопрос о герое в лирической поэзии приобретает целый ряд особенностей, из которых наиболее характерной является стремление к самовыражению поэта, постольку и место человека в лирике также локализуется в строго определенных пределах. Из этого совсем не следует, однако, что локализация предполагает адаптацию, ослабление интереса, напротив: она означает фокусировку, т. е. предельное освещение, концентрацию внимания. Но — на личности создателя, в которой типизируется современность. Следовательно, направление авторского интереса к личности приобретает центростремительный характер. Видение мира получает радиальную структуру, в которой поток информации стремится к центру и в нем преломляется сквозь призму мироощущения самого творца, являющегося одновременно и героем. Герой сталкивается с самим собой — он един в двух лицах.

И в этом смысле естественен поиск своего двойника, который, по идее, есть ничто иное, как прямой объект, расположенный где-то за пределами творца, находящегося в областях, к которым ведут центробежные силы. Пустоты должны быть заполнены, и поэт находит героя и лице другого поэта. Так компенсируется потребность в том, чтоб личность — и не только творца — вторглась в поэзию, и чтоб человек занял свое место в системе объектов, изучаемых литературой. Одной из логических основ развития поэзии как раз и является совершенствование путей, по которым проходят указанные центробежные силы, и в этой связи происходит уточнение и кристаллизация образа основного, центрального её героя — поэта.

Мы хорошо знаем, каких мучительных поисков стоил вопрос о предмете литературы, сколько было выстрадано и передумано по этому поводу. Но, как мы сказали уже в самом начале нашей статьи, в одной принципиальной частности этот вопрос был решен на заре поэзии: предметом творческого вдохновения может и должен быть сам поэт — во всей своей противоречивости и сложности, со всеми — в том числе и чисто человеческими — свойствами и особенностями. Так поэт становится героем творчества другого поэта, а тема поэта становится одновременно и темой человека, личности. «От оды "Памятник" во веки веков будет отправляться всякая оценка личности поэта, не говоря о его деятельности, каждая характеристика которой будет наполнять "Памятник" новой правдой» — писал *А. Г. Горнфельд*[2]. Удивительно точно подмечены здесь и та двуединость автора, о которой мы говорили, и та тенденция к «наполнению новой правдой», без которой нельзя представить себе постоянного развития образа поэта.

2. Итак, тенденция оценивать творчество поэта поэтическими средствами возникла из сущности самой поэзии. В истории русской литературы начала прошлого века — в связи с этим — сложилась своеобразная картина: потреб-

[2] *А. Г. Горнфельд.* Муки слова. «Русское богатство», ч. II, СПб., 1900, стр. 75.

ность в теме явно существовала, но при этом не было достойного адресата, который мог бы стать соответсвующим объектом обращения. Мало того, эта тема не могла не беспокоить и самого Пушкина, пытавшегося — особенно в молодые годы—найти предмет оценки и, в соответствии с господствующими устремлениями века, поднять его до уровня постановки задач, требовавших насущного решения. Конечно, перед поэтом открывался и более простой путь, двигаясь по которому можно было бы прийти к тем же результатам, к которым Батюшкова (например, в его «Видениях») привела «легкая поэзия». Но, видимо, Пушкина это направление могло удовлетворить лишь частично, т. к. уже в «Тени Фон-Визина»(1815 г.) сквозь искусно сотканную пелену сказочных видений, построенных в духе традиционно-шутливых намеков на распри между арзамасовцами и любомудрами, видна не по-юношески зрелая оценка деятельности многих современников поэта. И, конечно, среди них особое место занимал Державин. И, несмотря на то, что ему дается заведомо неоднозначная характеристика («Ты бог, ты червь, ты свет, ты ночь...»)[3] его появление и пристальное к нему внимание вполне закономерны и понятны. Разумеется, что обращение Пушкина к «певцу Екатерины» может быть объяснено тем местом и тем пиететом, которыми обладал престарелый мастер на фоне тогда еще молодой поросли, лелеемой благами лицейских «таинственных долин». Но не только это внешнее обстоятельство толкнуло Пушкина на то, чтоб Державин был выделен им из ряда «худых писцов».

Нам представляется, что вопрос этот заслуживает того, чтоб на нем остановиться подробнее. В конце десятых—начале двадцатых годов стихотворные посвящения поэтов поэтам перерастают в специфический и весьма характерный жанр. В какой-то своей части он приобретает острословно—шутливый, эпиграммный характер; причем, под внешней шутейностью, здесь часто скрываются глубоко концептуальные идеи, смысл которых, в конечном итоге, сводится к глубокой озабоченности судьбами развития русской культуры. Внешнее проявление жанра соответствовало строгим нормам, ибо главное его свойство есть ни что иное, как «доказательство истины и выражение чувствований самого автора.» «Слог послания, — как писал Н. Греч, — должен быть вообще легок, прост и благороден, но смотря по предмету, о котором пишем, и по лицу, к которому обращаем оное, бывает возвышеннее или шутливее[4].» О том, насколько плодотворным было бы специальное исследование этого жанра в рассматриваемом аспекте для изучения литературной жизни и борьбы первой трети прошлого века, достаточно сослаться на богатейший материал, содержащийся в сборнике «Эпиграмма и сатира»[5].

[3] *А. С. Пушкин.* Полное собрание сочинений в десяти томах. Изд. АН СССР. 1949, т. I, стр. 163.

[4] *Н. Греч.* Учебная книга российской словесности. СПб., 1820, ч. III, стр. 210.

[5] Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века. Составил В. Орлов. Т. I. ACADEMIA, MCMXXXI.

С течением времени жанр поэтических посланий постепенно теряет привычную эпиграммность и обязательную шутливость и вырастает до уровня проблематики глубоко философских размышлений над вопросом о роли и общественном назначении поэта. Не случайно, например, что поэтическое обращение В. Кюхельбекера к Дельвигу и Пушкину стало поводом для политического доноса В. Н. Карамзина министру внутренних дел графу В. И. Кочубею[6]. Как справедливо полагает М. П. Алексеев, причиной этой акции явилась выраженная Кюхельбекером мысль о гражданственном назначении творчества поэта.

И пусть без рабского закона
По воле ваша песнь лилась,
Вы говорили о высоком;
Вы обнимали быстрым оком
И жизнь земли и жизнь небес;
Вы отирали токи слез
С ланит гонимого пороком!
Тебе, души моей поэт,
Тебе коленопреклоненье...[7]

Интересно отметить также, что в стихотворных произведениях этого типа можно наблюдать отчетливо выраженную тенденцию проецирования прошлого на события настоящего. Например, если не считать легковесных стихотворных некрологов, вызванных смертью Державина, поэтические обращения к его памяти не ограничиваются традиционно выспренными оценками его наследия и значения. Наряду с этим ищутся параллели. Причем, возможно, имеется в виду не столько сам Державин (мы хорошо знаем довольно трезвое отношение к нему со стороны многих — особенно арзамасовски настроенных — поэтов)[8], сколько символ, призывающий к поискам истинного наследника поэтической славы XVIII века. Важно заметить, что с именем Державина связано появление адресата, впервые вставшего в ряд с примелькавшимися именами антико-классического Парнаса. Правда, и на Державина часто наводился флер перифрастики, но при этом его образ проявлялся довольно четко. «Державина

[6] См. в книге *М. П. Алексеева*. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...». «Наука», Л., 1967, стр. 210.

[7] *В. К. Кюхельбекер*. Избранные произведения. «Библиотека поэта». Малая серия, изд. третье, стр. 97.

[8] Ср. высказывание Пушкина о Державине в письме Дельвигу (из Михайловского 8-го июня 1825 г.) «Этот чудак не знал ни русской грамоты (см. на стр. 9), ни духа русского языка... — он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо... Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудного подлинника.» (Сочинения А. С. Пушкина. Под редакцией П. А. Ефремова. Изд. Ф. И. Аненского. Т. VII. М., 1882. стр. 134).

величали "первым и истинным поэтом" (Карамзин), "певцом величия России и русского народа" (Гоголь), "великим" (Пушкин) и даже "великим гением" (Батюшков), "поэтом громадного таланта" (Белинский)»[9].

(Сам Державин отдал дань жанру посмертных посвящений-некрологов, например, в стихотворении 1803 года «Память друга», в котором оплакал смерть Н. А. Львова. Однако в этом случае нужно учитывать тонкое, но показательное жанровое отличие между эпитафиями, «плачами» и поэтическими оценками. Последние помимо интонации горечи утраты, содержат значительно более сильно звучащий мотив — мотив создателя, наделенного некоей возвышенной творческой функцией. Уже у М. Н. Муравьева мы находим — правда, еще слабо выраженный, но уже не в стиле традиционного плача — мотив следования поэти ческому образцу как чему-то вызвышенному

Я, блеском обольщен прославившихся россов,
На лире пробуждать волшебный глас учусь
И за кормой твоей, отважный Ломоносов,
Как малая ладья, в свирепый Понт несусь.[10])

Итак, смерть Державина пробудила мотив поисков преемника великого поэта. В этом смысле примечательно стихотворение Дельвига «На смерть Державина» (июль 1816), в котором четко говорится:

Державин умер! Чуть факел погасший дымится, о Пушкин!
О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом рыдают![11]

Несколько позднее (в августе 1830) ту же мысль в стихотворении «Посла ние к А. С. Пушкину» высказал Шевырев:

Ты русских дум на все лады орган!
Помазанный Державиным предтечей,
Наш депутат на Европейском вече, —
Ты — колокол во славу россиян![12]

[9] Академик *В. С. Иконников*. Г. Р. Державин в своей государственной и общественной деятельности. Сб: «Речи, читанные в торжественном собрании Отделения русского языка и словесности, посвященном памяти Г. Р. Державина». Петроград-Киев, 1917, стр. 60

[10] *М . Н. Муравьев*. Избрание стихотворца. Сб.: «Поэты XVIII века». Библиотека поэта. Малая серия, изд. третье , стр. 462.

[11] *А. А. Дельвиг*. Полное собрание стихотворений. Ред. Б. В. Томашевского, Л., 1934, стр. 111 .

[12] Антология «Русские поэты современники Пушкина», ред. Ц. Вольпе и Вл. Орлова, ГИХЛ. Л., 1937, стр. 518.

О. И. Сенковский одну из своих статей («Сочинения Александра Пушкина. Статья первая») начинает словами: «Первую русскую песню задумал Державин, первую русскую песню пропел Пушкин».[13] В этой же связи нельзя не упомянуть уже цитированного нами стихотворения Кюхельбекера «Поэты» и именно в связи с тем, что будущий декабрист обратил внимание на высокое общественное призвание поэта, которое он не только констатирует, но и которое приписывает тем, кого считает непосредственными преемниками Державина — Дельвигу и Пушкину. В этом факте нельзя не видеть прямой связи с «Памятником» самого Державина, в котором прозвучала тема гражданственной независимости творца. И — отсюда отчетливая реминисценция с этим произведением Державина в «Думе» Рылеева, увидевшем в этом «певце» образец высокого предназначения поэта:

Ты прав, певец, ты будешь жить;
Ты памятник воздвигнул вечный:
Его не могут сокрушить
Ни гром, ни вихрь быстротечный.[14]

Таким образом, Державин в умах современников занял своеобразное положение: с одной стороны, его имя произносилось («всегда с чувством пристрастия, даже суеверного») рядом с именем Горация (чему он дал повод однозначно понимаемой направленностью своего «Памятника»), а с другой его имя четко ассоциировалось с представлением о «истинно гражданственном» служении поэта. Эта конкретизация образа поэта и осознание его роли как ревнителя всего передового начались, по-видимому, с упомянутой «Думы» Рылеева. Показательно, что здесь личный план отодвинут далеко назад (забыты даже наиболее характерные черты творчества поэта как одописца, «певца Фелицы» и т. д.), и индивидуальность как таковая явно не учитывается. Эти моменты оказались в тени, т. к. они заслонились куда более принципиальными вопросами — где надо искать истинные причины бессмертия и славы:[15] «Он выше всех на свете благ Общественное благо ставил...» Таким образом в жанр поэтической оценки в качестве одного из главенствующих компонентов входит система рассуждений об эстетических основах творчества вообще.

Но к этому необходимо добавить еще один немаловажный показатель. Поэтическое творчество это не просто тяжкий труд, в основе которого лежит

[13] Библиотека для чтения, т. XXXIX, СПб., 1840, стр. 1.

[14] *К. Рылеев.* Стихотворения. «Библиотека поэта.». Малая серия, второе издание, стр. 155.

[15] Проблема славы — ее свойств, ее «логическое обоснование» волновали поэтов не только в пределах рассматриваемого жанра. Ср. интересную интерпретацию эволюции этого понятия в книге *В. В. Виноградова* «Стиль Пушкина». Гослитиздат, 1941, стр. 10—11.

«божественный дар», но и подвиг. Как бы ни требовал оговорок этот факт в приложении к Державину (ср. высказывания о нем Пушкина: «С Державиным умолкнул голос лести», «Ему покровительствовали три царя»), но и он был отнесен к разряду «ратоборцев». При этом, мелочные (и иногда не очень благовидные) детали в отношениях поэта с властями также замалчивались[16] — их затемнял значительно более важный фактор: вся жизнь поэта — это сплошная цепь действий, требующих мужества в нелегкой борьбе против постоянно возникающих препятствий и вражды. На этом фоне быстропроходящие эпизоды и отдельные факты не имеют ни малейшего значения. Так постепенно выкристаллизовывается романтически опоэтизированный образ стихотворца как сложного единства, сплетенного из возвышенных представлений о гражданственности и мужестве, а вместе с тем — складывается традиция поэтической оценки поэтического творчества специфическими средствами языка искусства.[17]

(Не нужно только что сказанное понимать так, будто речь идет о процессе конкретизации вообще роли и функции поэта и поэзии. И хотя эти вопросы смежны и где-то даже пересекаются, сливаясь в одну более сложную проблему, в данном случае мы говорим лишь о частном ее проявлении, а именно — о ее проявлении в пределах самой поэзии и только в плане поэтических оценок творчества. Не будем останавливаться на более широком аспекте этого вороса, т. к. он представляет собой предмет специального углубленного анализа.)

Вернемся к нашей теме. Выше мы уже сказали о том, что взгляд на Пушкина как на преемника и продолжателя творческих принципов современного и опоэтизированного Державина позволял применять по отношению к нему (Пушкину) постепенно становившиеся стандартными «поэтические формулы бессметрия». М. П. Алексеев к сказанному делает очень важное для нас добавление: «Следует при этом иметь в виду, что сравнения Пушкина с Державиным, делавшиеся как в поэзии, так и в критике, не прекращались в тридцатые годы».[18] Мы обращаем на это отмеченное академиком М. П. Алексеевым обстоятельство внимание потому, что, как увидим в дальнейшем, главные черты жанра поэтической оценки, зародившиеся еще при жизни Пушкина, еще долго будут жить и после трагических событий января 1837 года. Очевидно, что живо

[16] См. по этому поводу, например, любопытные сведения о личности Державина, сообщенные в 82-м томе «Современника» (1860, № 7) в «Современном обозрении» под рубрикой «Русская литература (Прадедовские нравы) ». Ср. также упомятнутую статью академика В. С. Иконникова.

[17] Ср. следующее утверждение В. А. Жуковского: «Сила,... данная Поэту, должна быть не иное что, как призвание от бога, так сказать, вызов от создателя вступить с ним в товарищество создания. Творец вложил свой дух в творение: Поэт, его посланник, ищет, находит и открывает другим повсеместное присутствие духа божия. Таков истинный смысл его призвания, его великого дара...» (*В. А. Жуковский.* О поэте и современном его значении. «Москвитянин», 1848, № 4, стр. 18).

[18] *М. П. Алексеев.* Указ. соч., стр. 214.

осознаваемая творческая преемственность двух поэтов не могла не отразиться на том, какие черты и формы приобрел образ более молодого из них; в этом есть своя логика и притом настолько очевидная, что о ней не стоит говорить особо.

Итак, тема поэтической оценки творчества поэта к концу тридцатых годов не была новой. И, вполне естественно, что она какое-то время разрабатывалась в духе той романтической традиции, которая сложилась еще при жизни Пушкина. Тот факт, что эта тема родилась и, так сказать, окрепла на материале довольно скромном как в плане общественном так и фактически творческом, свидетельствует о закономерном характере проблемы в целом — она вписалась в круг тем поэзии как таковой. Без этой темы, видимо, русская поэзия не могла обойтись (понятно, что мы говорим о фактической стороне этой темы, а не юбилейно-стандартной). Нельзя представить себе процесса без закономерной последовательности явлений. И если среди этих явлений есть разные по своей значимости для его протекания, то нельзя представить себе его изучение без сугубого внимания к наиболее выдающимся событиям. И коль скоро в системе событий русской литературы Пушкин занял особое место, внимание к нему вполне понятно и естественно. Обратимся к этому вопросу.

3. «Смерть Пушкина снова подняла на большую высоту значение его творческого наследия» — писал Б. В. Томашевский.[19] Этот факт однако не следует рассматривать как нечто однообразно недифференцированное. Ортодоксально настроенные поэты следовали уже сложившейся традиции по отработанным схемам оценки умершего писателя. Этим, видимо, нужно объяснить тот факт, что среди стихотворений, явившихся непосредственным откликом на гибель поэта, можно найти немало образцов некрологической лирики, легко сводимых до уровня того стандарта, о котором говорилось выше. Это вполне понятно, т. к. определенная масса поэтических обращений к усопшему покоилась на принципах романтического отвлечения от реальной личности и ее реального общественного значения. И при этом нельзя забывать важного обстоятельства. Если в стихотворениях державинского цикла шел процесс «отработки» проблемы поэта, в силу чего там можно встретить вполне оправданный временем элемент поиска абстрактно-романтического образца, то в данном случае делается заведомо несостоятельная попытка втиснуть в прокрустово ложе готовых схем действительно реальный образ. Этот образ по своей сути и по пройденному пути в русской литературе требует принципиально иных масштабов оценок, и вследствие этого общепринятый стандарт оказывается явно непригодным. В этом случае показательным является тот факт, что эпигоны, выдерживавшие внешние атрибуты некрологического жанра, неизменно сводили пушкинский принцип независимости поэта к проповеди официозности поэтического

[19] *Б. В. Томашевский.* Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии (1824—1837). Изд-во Академии наук СССР, М. -Л., 1961, стр. 419.

творчества. Так, из-под пера Н. Вуича, Д. Сушкова, А. Родзянко, М. Демидова и др. появились стихотворения, отразившие определенную тенденцию реакционного толка о царе, «хранившем бурный век певца».[20]

Но наша речь не об этих легковесных, не вызывающих раздумий произведениях. Существенно важней для нас обратить внимание на то новое, что внесла смерть поэта в развитие рассматриваемого нами жанра, и на то, как — сквозь призму трагической гибели Пушкина — преломлялось общественное осознание его значимости. Как это ни парадоксально, но никто иной как граф Бенкендорф метко определил то восприятие Пушкина, которое было характерно для умонастроения тех дней. Бенкендорф писал: «Пушкин соединил в себе два отдельных существа: он был великий поэт и великий либерал. Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев: он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества. И те и другие приняли живейшее участие в смерти Пушкина... Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту».[21]

Пушкин пал жертвой убийства. Убийцей был иноземец. Этот факт сам по себе был весьма многозначен и, соответственно, реакция на него была неоднородной. Так, хотя этот факт будил вполне понятное негодование, рождал патриотический настрой, он в ряде случаев позволял уводить в сторону от общественно существенных постановок вопросов. Так, несмотря на набор крайних эпитетов, которыми Воейков наделил Дантеса, у него само существо события трактуется в манере жалостливых эпитафий с традиционным набором официозно-трескучих штампов:

Вот он — Пушкина убийца!
Легкомысленный француз,
Развращенный кровопийца, —
Огорчил святую Русь;
Схоронил наш клад заветный,
В землю скрыл талант певца,
Вырвал камень самоцветный
Он у царского венца.[22]

Но если отвлечься от естественных в таких случаях трафаретно-риторических излияний и попытаться увидеть глубинное воздействие гибели поэта на

[20] См. по этому поводу большой материал, содержащийся в статье *Р. В. Иезуитовой.* «Эволюция образа Пушкина в русской поэзии XIX века». Сб: «Пушкин и русская культура», «Наука», Л., 1967, стр. 124—8.

[21] Цит. по книге *П. Е. Щеголева.* Из жизни и творчества Пушкина. Гослитиздат, М.-Л., 1931, стр. 148—9.

[22] Эпиграмма и сатира, стр. 318.

умы современников, то здесь можно будет заметить более важные процессы и точки зрения. Обратимся к материалу.

Итак, тема гибели поэта от руки чужестранца ясно звучала во многих стихотворных посвящениях, вызванных смертью Пушкина. Особое место этой теме уделил (правда, несколько позднее — в 1840 г.) будущий петрашевец А. П. Баласогло — автор большого стихотворения «А. Н. В.» (Вероятно, за этими инициалами скрыто имя Анны Николаевны Вульф — тригорской приятельницы Пушкина.)[23]

В этом произведении тема убийцы-француза поставлена значительно глубже, чем во многих стихотворениях этого цикла: ее основная направленность содержательно совпадает с тем общественным настроением, которое все острей и отчетливей давало о себе знать в началу сороковых годов настроением осознания величия отечественной литературы. Мы не будем сейчас говорить о сути и идеологических основах полемики, развернувшейся вокруг понятия народности литературы[24] — это может увести нас далеко от рассматриваемой темы. Однако в этой связи нельзя не заметить, что в данном случае мы наблюдаем одно из примечательных свойств посмертной поэтической пушкинианы: почти все, что писалось о Пушкине, в конечном итоге содержало сильно звучащий мотив исключительной роли поэта в истории новой русской литературы. Еще при жизни Пушкина (в 1825 году) Н. Полевой писал: «. . . всякое новое приобретение Бейронов или Пушкиных делает честь и нам, ибо делает честь стране, которой он принадлежит, и веку, в котором живет».[25]

История литературной борьбы первой трети прошлого века хорошо знает полемический прием, основанный на постоянных отсылках полемистов к образцам, заимствованным у авторитетов. Это вполне понятно и естественно. Достаточно вспомнить язвительно-страстное «Рассуждение» А. С. Шишкова, обильно пересыпанное не только цитатами, но и риторически-возвышенными апелляциями к авторитетам Тредиаковского, Кантемира, Сумарокова, Державина. Мы хорошо знаем также, что поэзия служила благодарной ареной, на которую выносился весь пыл литературно-критических баталий и на которой часто фигурировали в качестве аргументов имена мертвых и живых поэтов.

[23] См. по этому поводу комментарий к этому стихотворению в сб.: «Поэты-петрашевцы». «Библиотека поэта». Малая серия, второе издание., 1950, стр. 270. Того же мнения об адресате придерживается в упомянутой статье и Р. В. Иезуитова. Однако *А. Бем* пишет: «Сообщаемое нами стихотворение А. П. Баласогло посвящено Алексею Николаевичу Вульфу». (Сб: «Памяти Семена Афанасьевича Венгерова». ГИЗ, М.-Л., 1922, стр. 199).

[24] О том, каково национальное значение Пушкина современники отдавали себе отчет еще задолго до его смерти. См. по этому поводу полемику между Н. Полевым («Московский телеграф», № 5 и 15 — «особенное прибавление» за 1825 г.) и Д. Веневитиновым (Полное собрание сочинений в одном томе, СПб., 1862). См. также богатый материал в той же связи в статье *Б. В. Томашевского* «Пушкин и народность» (в сб.: «Пушкин и Франция». СП, Л., 1960).

[25] *Н. Полевой.* Евгений Онегин. Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. «Московский телеграф», № 5, 1825, стр. 45.

Но до смерти Пушкина мы не знаем борьбы *за имя* — с кем оно, кому из идейных противников оно принадлежит. В поэтической пушкиниане этот мотив зазвучал в полную силу и, таким образом, Пушкин стал не столько предметом оплакивания, сколько — и в этом главное — предметом борьбы, предметом оправдания правоты той или иной эстетической иной концепции. Б. В. Томашевский обратил внимание[26] на замечание В. Я. Брюсова, сделанное по этому поводу. В. Я. Брюсов писал: «Пушкин не только „творил прекрасное" (по выражению Баратынского): перед Пушкиным стояла еще задача: создать русскую литературу. И, словно предчувствуя краткость своей жизни, он спешил дать образцы во всех областях, во всех родах». Далее В. Я. Брюсов перечисляет те литературные школы, которые «с успешностью он воплощал в одном себе». Эту свою мысль В. Я. Брюсов завершает словами: «С 30-х годов Пушкин выступает основателем реализма... Но и реализм не был пределом, которым завершилась эволюция Пушкина. Мы можем найти в его творчестве элементы других течений, развивавшихся лишь позже, лишь после его жизни. Так, некоторые черты народничества сказываются не только в Пушкине-собирателе народных песен, но и в «Истории села Горюхина» (где она перестает быть сатирой), в статьях о Радищеве и др. Славянофилы считали Пушкина в числе своих предшественников, ссылаясь на «Бородинскую годовщину», на «Пир Петра Великого», на «Олегов щит» и т. п.... Этого мало. Тоже известно, что «своим» признавали Пушкина также декаденты и символисты. Положим, декандентам приходилось ссылаться лишь на отдельные выражения (особенно на стихотворение «Не дай мне бог сойти с ума...»), но символисты могли привести не мало доказательств в защиту своей родословной».[27] Б. В. Томашевский, обращая внимание на «спорность многих историко-литературных определений Брюсова», делает важную для нас оговорку: «Смысл воздействия Пушкина на литературу не в мистически пророчественной его роли, а как раз наоборот — в том, что он был здоровым историческим явлением, своими корнями связанным с его прошлым и его настоящим и только таким путем творившим будущее».[28] Так вплетаются в единую систему вопросы борьбы за Пушкина и его воздействия на всю поэтическую культуру вообще.

Анонимный автор некролога «О литературных утратах», помещенного в IX книжке «Современника» писал: «Истинно великий писатель для нас, призванных с ним в один период умственной деятельности, является представителем того, что мы любим, к чему стремимся и на что надеемся. Он получил счастливый дар воплотить и в возможном совершенстве показать силы духовной производительности своего времени. Будучи индивидуален, как всякое ли-

[26] *Б. В. Томашевский.* Цит. соч., стр. 420—1.

[27] *В. Я. Брюсов.* Пушкин-мастер. Сб.: «Пушкин». Сборник первый, под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924, стр. 112—4.

[28] *Б. В. Томашевский.* Цит. соч., стр. 423.

цо, он вместе выражает и общность века, потому что действует под современным влиянием. Умирая, он несравненно больше уносит от нас, нежели от потомства, для которого всегда останется жив.»[29] С этой мыслью нельзя не согласиться, и если ее применить к нашей теме, то, вероятно, можно будет прийти к выводу, что стихотворение Баласогло было первым из тех, в которых Пушкин рассматривается с точки зрения «потомков», а не непосредственных современников, участь которых — скорбить и негодовать, но не оценивать. В этом нас убеждают факты. Так, было бы непростительным заблуждением закрывать глаза на мотив плача, который у иных поэтов — из непосредственного окружения Пушкина — достигал сильного и художественно безупречного звучания. И в этой связи, конечно, нельзя не вспомнить очень выразительного и действительно взволнованного стихотворения Жуковского «А. С. Пушкин» («Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе»), примечательного еще и тем, что в нем все внимание автора фокусируется на трагедийной стороне самого факта — смерти большой личности. Нельзя не сказать и о удивительно лирическом и глубоко прочувствованном стихотворении-аллегории А. В. Кольцова «Лес» («Что, дремучий лес, Призадумался»...), в котором однако, помимо собственно мотива скорби, можно найти и отчетливо звучащие нотки гнева:

Так-то, темный лес,
Богатырь-Бова!
Ты всю жизнь свою
Маял битвами.

Не осилили
Тебя сильные,
Так дорезала
Осень черная.[30]

Но попытки осознания общественной значимости гибели поэта, ее истинных причин, конечно, превалировали над просто стремлением оплакать смерть человека. И не только попытки вскрыть глубинные причины трагедии, но и — на основании поэтического анализа — доказать принадлежность Пушкина к определенной тенденции — вот то главное направление, по которому шло развитие темы поэта, и особенно — в плане оценки его творчества. И именно в этом смысле показательно стихотворение А. П. Баласогло. Разумеется, причислять его к таким шедеврам поэтической пушкинианы как «Смерть поэта» Лермонтова, «Юбилейное» Маяковского или пушкинский цикл Цветаевой нельзя. Больше того, написанное в духе стилизации под манеру поздних архаистов, это стихотворение с художественной точки зрения смело можно назвать

[29] Анонимный автор. О литературных утратах. «Современник», 1837. т. IX, стр. 35.

[30] *А. В. Кольцов* Лес. Посвящено памяти А. С. Пушкина. Сочинения в двух томах, т. I М., 1961. Ср. любопытный анализ аллегории осени в связи с мотивами смерти поэта в статье. А. Федорова «Смерть поэта» среди других откликов на гибель Пушкина». «Русская литература» № 3, 1964, стр. 33—4.

средним. Но мы обращаем на него внимание как на некоторый любопытный факт, наметивший традицию (или — стоящий у ее истоков), которая немногим позднее окрепла и стала, как уже было сказано, очень сильной в пределах рассматриваемого жанра.

Нам могут возразить, ссылаясь на стихотворение Полежаева и, особенно, Лермонтова (и даже — в какой-то мере — Тютчева), что и до Баласогло тема общественной значимости поэта звучала в посмертных обращениях к Пушкину. В какой-то мере такое возражение можно было бы признать справедливость. Но при этом нельзя забывать, что у Баласогло на первый план выдвигается идея борьбы за Пушкина, обоснование Пушкина как единомышленника, Пушкина-соратника. Этой интонации мы не замечаем ни у Полежаева ни даже у Лермонтова. Полежаев — если иметь в виду лишь внешние показатели жанра —остался верен традиции посмертных плачей, выдержав тот же стиль, который отличал многие посвя щения державинского цикла. Тут есть все: и беглый обзор исторической миссии Петра, и краткий анализ деятельности Наполеона, и критический очерк творчества Байрона, и риторические обращения к славе русского оружия — постоянная тема восхваления начала александровской эпохи. Не были забыты и певцы, прославлявшие многотрудную деятельность Петра:

И обрекли его, в воинственной державе,
Бессмертию веков, незакатимой славе
Петров, Державин, Карамзин![31]

Собственно пушкинская тема вводится словами, намеренно подчеркивающими «связь времен»:

Он понял тайну вдохновений;
Глагол всевышнего постиг;
Восстал, как новая стихия,
И изумленная Россия
Узнала гордый свой язык.[32]

Далее следует стилистически приподнятый контекст, привычный для стандартных восхвалений поэта, и — естественно вписывающиеся в этот словесный антураж — сравнения с античными образцами.

Однако нужно заметить, что некоторые исследователи за внешне архаичной формой этого стихотворения видят «прямой вызов самодержавию»,[33] про-

[31] *А. И. Полежаев.* Стихотворения. «Библиотека поэта». Малая серия, издание второе, 1949, стр. 51.

[32] Там же, стр. 53

[33] См. комментарий к рассматриваемому стихотворению Н. Бельчикова в книге «А. И. Полежаев». Полное собирание стихотворений. СП, Л., 1939 , стр. 141.

возглашение Пушкина великим народным поэтом, попытку «дать объективную оценку Пушкину».[34] Что касается стихотворения «А. Н. В.», то его автору не удалось избегнуть обязательных внешних атрибутов жанра, однако их здесь много меньше, чем у Полежаева, их художественная значимость ничтожна, а, главное, они не просматриваются сквозь действительно сильное напряжение концептуальной стороны произведения. Рядом с именем Пушкина впервые после его смерти прозвучала, вместе со словами скорби, интонация, так сказать, «социального оптимизма».[35] Важно отметить, что этот оптимизм основан на вере во внутренне здоровые силы национального прогресса. Причем, здесь ясно звучит хорошо известная русской поэзии тема противопоставления могучей потенции русской культуры натурализованной культуре Запада. Это уже не просто тема пассивного негодования против убийцы-чужеземца и даже не апелляция к сверхъестественным силам, призванным отомстить злодею и восстановить справедливость, — это значительно глубже:

Многовековая Европа,
Конечно, права, между тем:
Мы прозябали вне окопа
Всех политических систем.
Ее искусства и науки
Цвели без нас и не для нас:
Рим передал не в наши руки
Останки свитков, вилл и ваз.
Не нам, не нам — ее народам
Да будет слава и позор,
Что, в торжестве чужим невзгодам,
Они валят к нам весь свой сор.
Но мы из этого же сора
Все извлечем, все разобьем
И бурей, жаждущей простора,
Весь мир целебно обожжем.[36]

Мы придерживаемся той точки зрения, что в данном случае нельзя все дело сводить к простой констатации того, что Баласогло является еще одним из тех, кто заклеймил «западный мир», «западную цивилизацию» и т. д., противопоставив этим категориям некоторую абстракцию «славянорусской» культуры. Та-

[34] Р. В. *Иезуитова.* Цит. соч., стр. 131

[35] Мы оговариваем «впервые после смерти», т. к. еще в 1827 году Одоевским был написанего знаменитый «Ответ», созвучный рассматриваемому стихотворению по романтической убежденности в «Просвещенный наш народ» и, главное, — в неизбежность того, что «Из искры возгорится пламя».

[36] Поэты-петрашевцы, стр. 58—9.

кое мнение было бы приложимо, скорее, к блоковским скифам, держащим «щит меж двух враждебных рас — Монголов и Европы». Здесь нет и намека на мысль о стихии, вихрем своего варварского инстинкта пожирающей и сметающей плоды цивилизации и самую цивилизацию. Значительно более убедительным нам представляется толкование этих слов как некоей цельной точки зрения, которая своими основами уходит в идею очистительной бури, призванной вырвать с корнем все социально несправедливое, все идущее вразрез с теми идеалами, которым служил сам Пушкин. Нельзя упускать следующие слова автора стихотворения:

Теперь я понял превосходно
Ту раздражительную грусть,
Какой дышал он благородно,
Учимый Русью наизусть.[37]

Когда вчитываешься в эти строки, невольно возникают многочисленные реминисценции из поэтической пушкинианы последующих десятилетий. К сожелению, по понятным причинам мы не имеем возможности говорить о них, но не можем не вспомнить стихотворения В. Каменского, написанного им спустя сто лет после смерти поэта: «Мы повторяем стих ваш переливный знакомый нам, как старый друг...»[38] Эти реминисценции не случайны: они рождены теми ассоциациями, которые объединяют образы Пушкина-певца, Пушкина-лирика. И нужно отдать должное Баласогло, сумевшему подметить эти черты наследия великого поэта и сделать их предметом поэтической оценки.

До сих пор мы намеренно обходили молчанием стихотворение Лермонтова с тем, чтоб остановиться на нем подробно.

Это, вне всяких сомнений, самое цельное и наиболее совершенное произведение из всех тех, в которых содержится непосредственная — по времени — реакция на гибель поэта.[39] (А. Федоров[40] считает — правда, никак не аргументируя это — стихотворение Лермонтова «Смерть Поэта» не одним из первых, а именно первым откликом на гибель Пушкина.) Можно было бы в данном случае ограничиться общими словами о том, что лермонтовское произведение отмечено печатью гения, что в нем выражается вся глубина скорбных чувств, общих для всей передовой России того времени, и т. д. Можно было бы привести обширную библиографию, исследующую этот блестящий образец, украшающий историю русского поэтического искусства.[41] Однако мы глубоко убеждены

[37] Поэты-петрашевцы, стр. 51.

[38] *В. Каменский.* Пушкин. «Известия», 4 февраля 1937 г.

[39] Горький считал это произведение «самым сильным во всей русской поэзии». См. *М. Ф. Николаева.* Михали Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1956.

[40] *А. Федоров.* Указ. соч. , стр. 32.

[41] Библиографию по этому поводу см. в цит. соч. *А. Федорова* и *Р. В. Иезуитовой.*

в том, что ни того ни другого делать не стоит. «Общие слова» об этом стихотворении сказаны уже давным-давно. Сошлемся на поэтическое послание малоизвестного поэта П. А. Гвоздева, датированное 22 февраля 1937 года. Позволим себе привести некоторые выдержки из этого любопытного факта. Вот одна из них:

Зачем порыв свой благородный
Ты им излил, младой поэт?
Взгляни, как этот мир холодный
Корою льдяною одет![42]

Далее П. В. Гвоздев продолжает тему безразличия, с которым была встречена смерть Пушкина. Вместе с тем утверждается, что стихотворение «На смерть Пушкина» с одной стороны является «судом кровавым» для тех, кто не уронил «слезы прощальной на гроб убитого певца», а с другой — с горечью констатируется, что по своей природе бездушный свет не в состоянии понять «порыва благородной мести». Вслед за этим следуют, правда, наивные и несколько косноязычно высказанные слова, но им нельзя отказать в страстности и даже — в прямом гражданском мужестве:

Но ты гордись, младой певец,
Пред кознями их адской злобы:
Не расплести им твой венец,
Пускай отверзнутся хоть гробы.
. . . . . .
Не ты ль сказал: «есть грозный суд!»
И этот суд есть суд потомства,
Сей суд прочтет их приговор
И на листе, как вероломство,
Он впишет имя их в позор.[43]

Однако нам не хотелось бы говорить о тех сторонах лермонтовского произведения, которые общеизвестны и находятся на поверхности. Нам кажется, что оно примечательно не только своей обличительной силой, не только гениально переданным чувством брезгливости по отношению к тому, кто «руку поднял мал» на Пушкина, и даже не только убийственным разоблачением тех, кто «жадною толпой» стоит у трона. Каждый из этих вопросов может быть по

[42] *П. А. Гвоздев.* Ответ М. Ю. Лермонтову на его стихи «На смерть Пушкина». «Русская старина», т. X, 1896. См. также: М. Ю. Лермонтов в русской поэзии. Сборник стихотворений под ред. В. В. Каллаша. Издание И. Д. Сытина, М., 1914.

[43] *П. А. Гвоздев.* Цит. соч.

ставлен отдельно и каждый из них может стать предметом специального анализа. Мы обратим внимание лишь на одно обстоятельство.

Стихотроворение, о котором сейчас идет речь, представляет собой принципиальную веху в развитии лермонтовского гения, а вместе с тем — в развитии русской поэзии вообще. В этом утверждении нет абсолютно ничего нового — взгляд на Лермонтова как на продолжателя дела Пушкина, его наследника бытует ровно столько же лет, сколько лет тому назад написан его стихотворный некролог. Существует большая библиография, из которой со всей очевидностью следует справедливость только что сказанного. Ярче и полнее всего по этому поводу высказался В. Г. Белинский: «Мы... смотрели на него как на преемника Пушкина».[44] Однако — и это тоже хорошо известно — «При всей зависимости от Пушкина... Лермонтов пошел иными путями».[45]

Действительно, литературную известность Лермонтов приобрел сразу же после написания своего стихотворного обращения к Пушкину.[46] Однако прежде чем приступить к анализу самого стихотворения, обратимся к некоторым свидетельствам современников относительно того, как реагировал Лермонтов на гибель Пушкина. С этой целью позволим себе обширную выдержку из примечания к рассматриваемому стихотворению, помещенному в т. I Собрания сочинений 1886 года. Вот что там сказано: «Через несколько дней после дуэли и смерти Пушкина Лермонтов написал свое стихотворение, заключив его словами: «И на устах его печать». Оно разошлось по городу.[47] Вскоре после того заехал к нему один из его родственников, Н. А. Столыпин.

У них завязался разговор об истории Дантеса с Пушкиным, причем Столыпин обвинял Пушкина и оправдывал Дантеса.[48] Лермонтов спорил, горячился, и когда тот уехал, тотчас же написал добавочные стихи. В тот же день вечером г. Мерлинский, зайдя к Лермонтову, услышал от него этот рассказ и списал стихи, потом списали их многие из товарищей и знакомых Лермонтова, и они пошли по рукам. — Вскоре после того, на одном многолюдном вечере, известная в то время старуха и большая сплетница, А. М. Хитрово, при всех обратилась с вопросом к гр. Бенкендорфу: «Слышали вы, Александр Христо-

[44] *В. Г. Белинский.* Стихотворения М. Лермонтова. Сочинения в трех томах, ОГИЗ, 1948, стр. 653. См. также: «Северная пчела» за 1840 г. №№ 284—5, статья за подписью «Л. Л.»; «Москвитянин», 1841 г. , ч. 1, стр. 515 и далее, статья Шевырева. «Сын отечества», 1843 г., № 3, статья бар. Розена «В. Орлов, М. Ю. Лермонтов, его личность и поэзия». СПб., 1883 и т. д.

[45] *В. В. Виноградов.* О языке художественной литературы, ГИХЛ. 1959, стр. 625.

[46] См. по этому поводу библиографию в кн.: *В. В. Нейман.* Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914, стр. 2 и далее.

[47] Впервые стихотворение было опубликовано в «Полярной звезде» за 1856 г. (Лондон, кн. 2); в России без последних 16 стихов было помещено в «Библиографических записках» за1858г.(т. I, № 20), полностью—в Сочинениях под ред. Дудышкина,1860, т. I.

[48] См. драматургическую интерпретацию этой версии в пьесе А. Мариенгофа «Рождение поэта». СП. Л, 1959.

форович, что написал про нас (выделено нами. В. Г.) Лермонтов?» Бенкендорф и прежде нее знал о том, но не находил ничего особенно важного; тут, говорят, он сказал: «Уж если Анна Михайловна знает про эти стихи, то я должен о них доложить государю». Вследствие этого был послан начальник главного штаба, Веймарн, чтоб осмотреть бумаги Лермонтова в Царском Селе, где он не нашел поэта, жившего большею частию в Петербурге, а нашел нетопленную квартиру и пустые ящики в столах... Несколько измененный рассказ находится в брошюре А. Н. Муравьева «Знакомство с русскими поэтами», а следующие подробности из подлинного дела только недавно явились в печати («Русская старина», 1880, № 7).

1837 г. № 43. Дело о стихах корнета Лермонтова на смерть Пушкина и о распространении их чиновником 12 класса Раевским: «Командующий отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютант Бистром, в дополнение записки от сего числа за № 78, имеет честь препроводить при сем графу Александру Христофоровичу стихи, написанные корнетом Л.-гв. гусарского полка Лермонтовым, полученным сего числа (22 февраля 1837 г. В. Г.) от генерал-адъютанта Клейнмихеля...

Отношение военного министра графа Чернышева г. шефу жандармов и командующему Императорскою главною квартирою (от 25 февраля 1837 года, за № 100).

Государь император высочайше повелеть соизволил: лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова за сочинение известных вашему сиятельству стихов перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов... выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу, по усмотрению тамошнего гражданского губернатора». Под этим документом стоит помета Бенкендорфа: «убрать».[49]

Таковы некоторые — чисто внешние — данные, свидетельствующие о большом общественном резонансе, вызванном стихотворением Лермонтова. Как мы уже знаем, ни одно из посвящений памяти Пушкина не имело столь далеко идущих последствий и ни одно из них не явилось предметом таких глубоких раздумий, как «Смерть поэта». В чем здесь глубинные причины? Постараемся разобраться в них и дать некоторую интерпретацию.

Нам представляется, что та двучастность произведения, о которой упоминалось в приведенной только что цитате, имеет существенное значение. Первая часть — это Пушкин; вторая часть — сам Лермонтов. Итак, первая часть — это Пушкин. Но не он один: ему противопоставлен Дантес. Он фигурирует и во второй части, но здесь это образ с принципиально иной окраской.

Кто такой Дантес? Это просто убийца? На этот вопрос («Из чьей руки свинец смертельный Поэту сердце растерзал?») Тютчев отвечает: «Навек он

[49] *М. Ю. Лермонтов.* Собрание сочинений в двух томах. СПб., 1886, стр. 601—2.

Высшею рукою в *цареубийцы* заклеймен». У Полежаева и сам вопрос и ответ на него приобретают еще более расплывчатые формы:

Его судьба, седой палач!
Однажды утро голубое
Узрело дело роковое...
О, плачь, Россия, долго плачь![50]

Собственно Дантес как личность нивелируется и затемняется образом зла, поднявшего руку на поэта. У Баласогло Дантес приобретает черты закономерного порождения зла, которое всегда противостоит величайшим сынам человечества:

И есть всегда в подобном лесе
Свой Равальяк и свой Дантес.
Убийца был простой образчик
Тех отвратительных начал,
К которым трость и полуплащик
Так чудно идут в куклах зал.[51]

В том же ключе, но в форме народно-поэтической символики, звучит тема убийцы и у Кольцова.

Таким образом, Дантесу как личности отводится лишь второй план. На первом плане это либо зло, наносящее удар по национальному достоинству, либо воплощение злого начала вообще, направленного своим острием против добра, материализованного в жертве («цареубийца»), либо, наконец, это — ничтожество, одержавшее мимолетную и нечестную победу над титаном (подобно Гагену, убившему Зигфрида ударом в спину).

Лермонтовский убийца вполне конкретен:

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.[52]

Однозначность образа подчеркивается сложившимся представлением о легкомысленном подлеце, далеком от каких-либо принципов или нравственных

[50] *Полежаев*. Стихотворения, стр. 51.

[51] Поэты-петрашевцы, стр. 60.

[52] *Лермонтов*. Смерть поэта. Сочинения в шести томах. Изд-во АН СССР, т. II, М.-Л., 1954, стр. 84.

устоев. Он совершает преступление. Именно преступление, а не отвлеченно-абстрактное злодеяние, жертва которого также есть некоторая абстракция, ожидающая своего воскрешения в мистических пустотах, лежащих где-то за гробовой доской. Мало того, образ Дантеса конкретизируется вплоть до того, что невольно возникает представление о том шуане, о котором с такой небрежностью писал сам Пушкин в дневниковой записи от 26 января 1834 года: «Барон д' Антес и маркиз де Пина, два шуана будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет».[53]

Нам кажется знаменательным тот факт, что проникновение Дантеса в лермонтовское стихотворение в качестве реального образа было сопряжено с постепенным угасанием традиционной романтической схемы убийцы как носителя остаточных признаков, идущих еще от средневековой поэтики, стандартных авторских трактовок. Ведь кто такой убийца? Это — злодей, который объективно служит утверждению добра, — такова традиция, такова схема. Злодей — не человек, не личность, не реальность. И отказаться от такого толкования образа не смог никто из тех, кто непосредственно откликнулся на смерть Пушкина, кроме Лермонтова.

У Лермонтова в первой части столкнулись двое — Дантес и Пушкин, а не оголенные «воплощения». Показательным мы считаем и то, что Дантес как чужеземец тоже конкретен: он не идея враждебного Запада и не трамплин для прыжка в область схоластических славянофильских формул, а — ничтожество, заброшенное в Россию «на ловлю счастья и чинов».

И есть своя большая логика в том, что Лермонтов не мог удовлетвориться только одним введением человека — каким бы ярким в его обрисовке он ни предстал перед читателем: этого было явно мало. Образ не был бы так конкретен, если б его характеристика не была пополнена описанием того исторического фона, который сделал реальностью личную трагедию Пушкина. Дантес стрелял в поэта. И опять-таки не в некоторый «божественный глагол», а в того поэта, который был выкристаллизован зрелым Пушкиным. И показательно, что во второй части вся страсть лермонтовского гения направлена на этот самый фон. Поэт формально здесь упоминается только один раз: «И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь!» — в центре внимания — силы, стимулировавшие злодейское убийство.

В этом умении синтезировать человека и общественную среду — несомненная и неоценимая новаторская заслуга Лермонтова.

И, между прочим, мы считаем весьма существенным то обстоятельство, что спустя четыре года, т. е. когда в аналогичных условиях был убит Лермонтов, образ убийцы общественностью был воспринят значительно более трезво. Он был оценен принципиально не так, как это делали Тютчев, Полежаев, Коль-

[53] *А. С. Пушкин.* Статьи и заметки. Полное собрание сочинений, т. XII, изд-во АН СССР, 1949, стр. 312.

цов, искренне оплакавшие Пушкина. И в этом немалая заслуга — как это и ни звучит сегодня жестоко — самого Лермонтова. Любопытно, что даже Е. Ростопчина поняла глубокие логические сдвиги в развитии образа. Она писала в своем стихотворении на смерть Лермонтова:

Не просто, не в тиши, не мирною кончиной, —
Но преждевременно, противника рукой, —
Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой.[54]

Мы знаем, что эта тема еще долго звучала в русской поэзии — к ней обращались не только поэты, но и мастера других жанров. Достаточно, например, в этой связи вспомнить горькие слова о судьбах русских поэтов, сказанные Герценом в его «Былом и думах». Так тема убийцы из темы, вынашиваемой внутри авторского сознания, стала темой, обращенной непосредственно к объекту обвинения, темой социального обличения.

И в заключение мы не можем отказать себе в удовольствии привести полностью стихотворение Евг. Евтушенко, удивительно созвучное лермонтовскому восприятию трагедии Пушкина:

О ком под полозьями плачет
сырой петербургский ледок?
Куда этой полночью скачет
исхлестанный снегом седок?

Глядит он вокруг прокаженно,
и рот ненавидяще сжат.
В двух карих глазах пригвожденно
два Пушкина мертвых лежат.

Сквозь вас, петербургские пурги,
он видит свой рок впереди,
еще до мартыновской пули,
с дантесовской пулей в груди.

Но в ночь — от друзей и от черни,
от впавших в растленье и лень —
несется он тенью отмщенья
за ту неотмщенную тень.

[54] Цит. по книге *В. В. Неймана* стр. 15.

В нем зрелость не мальчика — мужа,
холодная, как острие.
Дитя сострадния — муза,
но ненависть — нянька ее.

И надо в дуэли доспорить,
хотя после стольких потерь
найти секундантов достойных
немыслимо трудно теперь.

Но пушкинский голос гражданства
к барьеру толкает: «Иди!...»
...Поэты в России рождались
с дантесовской пулей в груди.[55]

[55] *Евг. Евтушенко.* Лермонтов. Сб: «Катер связи», Молодая гвардия, 1966, стр. 115.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE
Slavica XI. 71—79 1971 Debrecen

Léonide Andréiev après la révolution de 1905* (Carnets)

L. KARANCSY

Pour juger l'attitude politique et morale qu'avait Léonide Andréiev après 1905, la critique contemporaine et surtout la recherche postérieure partirent en premier lieu, après avoir analysé le recueil intitulé *Ténèbres*, de la nouvelle *Carnets* et leur conception, selon laquelle l'écrivain aurait eu des idées «contre-révolutionnaires», a été fondée dans une grande mesure sur l'interprétation singulière de cette dernière. Dans le numéro précédent de la revue Slavica nous avons essayé d'ajouter quelques remarques à l'interprétation exacte de *Ténèbres* et par cela à l'appréciation juste des idées politique et morales d'après 1905 de l'écrivain.[1] Cette fois nous traiterons du même problème concernant *Carnets*.

L'accueil contemporain des deux nouvelles était fort différent. *Ténèbres* a été condamné d'emblée par la critique avancée, tandis que l'interprétation de *Carnets* n'était point unanime. En plus, pendant que certains critiques peu progressifs, même politiquement indifférents, en parlaient défavorablement[2], V. V. Vorovski a apprécié le contenu de *Carnets* et il n'a critiqué que le choix de la forme[3], bien qu'il ait mis, selon nous injustement, *Ténèbres* au rang des manifestations les plus répugnantes de la littérature de «dépouillement de cadavre». Les critiques d'Andréiev délaissaient pour des raisons inexplicables l'étude analysant *Carnets* de Vorovski, quoiqu'elle ait paru maintes fois, et ainsi grâce à une automaticité curieuse *Carnets* a fini, par être considéré comme une des oeuvres d'Andréiev traitées au point de vue idéologique comme des

* Au centenaire de la naissance de l'écrivain.

[1] L. KARANCSY, «Léonide Andréiev après la révolution de 1905 (Ténèbres)», *Slavica* X (1970), 173—85.

[2] К. АРАБАЖИН, «Формула железной решетки». (По поводу повести Л. Андреева «Мои записки», *Мир*, 1908,№ 4, pp. 39—42; Р. В. ИВАНОВ—РАЗУМНИК, «Талантливое сочинительство». (По поводу «Моих записок» Л. Андреева). *Русские ведомости* , 1908, № 251, p. 2; М. А. РЕЙСНЕР, «Пролетариат и мещанство. Две души русского народа в учениях Л. Андреева и М. Горького». Пг., 1917, p. 56.

[3] В. В. ВОРОВСКИЙ, «Литературно-критические статьи». М., 1956, pp. 184—94.

plus nuisibles et que l'on ne saurait assez réprouver[4]. Les représentants de cette conception, sans avoir profondément analysé la nouvelle, se réclament tous de Gorki. Lui, il l'a condamnée en effet et la tenait pour une manifestation de l'anarchisme mystique du type de celui de G. Tshoulkov, favorisant une attitude passive dans la vie qu'il trouvait fort malfaisante dans des conditions qui ont suivi la répression de la révolution. Il est cependant vrai qu'à cause de cela *Carnets* a également entrainé la rupture entre Gorki et Andrèiev, même si son rôle n'était pas aussi décisif que celui de *Ténèbres*[5]. Gorki n'a nulle part analysé d'une manière approfondie *Carnets* et n'a jamais justifié son avis dans le détail, ainsi s'en référer à lui ne pouvait pas être assez convaincant.

Pendant ces dernières années on a essayé d'établir une interprétation plus juste de la nouvelle[6]. Ces tentatives ont cependant la même imperfection que les articles à réfuter: au lieu de fournir des preuves, ils se contentent de constatations comme s'il s'agissait de faits implicites, indignes d'être discutés, bref, on traite la question d'une manière superficielle. Or, on ne peut réussir à déceler persuasivement le contenu proprement dit qu'au cours d'une analyse très attentive. C'est que si les sources de la mauvaise interprétation de *Ténèbres* doivent être cherchées dans ce que les critiques ne tenaient simplement pas compte d'éléments qui étaient du point de vue idéologique aussi importants que clairs, le jugement faux de *Carnets* est en relation avec le fait que l'*ensemble* de la nouvelle peut être interprété de façon diverse et contradictoire.

Il n'est pas rare pour Andréiev de poser au lecteur une énigme, surtout psychologique. La nouvelle *Pensée* (1907) en est un exemple caractéristique. Le protagoniste de cette nouvelle, le docteur Krezenzev, après avoir tué son ami avec préméditation, se demande s'il est fou ou normal, ou plus précisément, s'il a feint la folie pour pouvoir librement assassiner ou bien s'il voulait tuer parce qu'il était fou. Le problème du protagoniste devient le problème central du lecteur lui-même et rejette à l'arrière-plan le sujet proprement dit. Le lecteur est cependant incapable de résoudre l'énigme tout autant que le protagoniste.

[4] История русской литературы в 10-ти томах. Т. X, М., 1954, p. 616; А. А. ВОЛКОВ, «Русская литература XX века». М., 1960, p. 239; Н. БУРЛАКОВ, Г. ПЕЛИСОВ, И. УХАНОВ, «Русская литература XX века». Дооктябрский период. М., 1961, p. 217.

[5] Le passage de la correspondance de Gorki et d'Andréiev relatif à l'opinion de Gorki sur *Carnets* reflète fidèlement la tournure que prenait la relation des deux écrivains. *Литературное Наследство*, т. 72, М., 1965, pp. 318—42.

[6] Л. А. ИЕЗУИТОВА, «Леонид Андрееви Вс. Гаршин» *Вестник Ленинградского Университета*, 1964, № 8, p. 106; В. И. БЕЗЗУБОВ, «Леонид Андреев и Максим Горький», *Ученые Записки Тартуского Университета*, 1968, вып. 217, pp. 155—6; Л. А. ИЕЗУИТОВА, «Рассказы Л. Андреева конца 1890- начала 1900-х годов (у истоков его творческого метода)», *Уненые записки Ленинградского Университета*, Серия филологических наук, вып. 72, № 339, p. 160.

Le rébus psychologique que le lecteur trouve dans *Carnets* n'est pas moins difficile[7]. Andréiev considérait *Carnets* comme son chef-d'oeuvre, par contre la critique l' a heureusement qualifié de «jeu de chat et souris littéraire», «jonglerie artistique», «énigme artistique de type mathématique», «fin repas pour gourmets», oeuvre, dans laquelle il faut savoir lire entre les lignes pour trouver le contenu qui a un sens contraire[8].

La clef de l'énigme de *Carnets* ressemble beaucoup à celle de *Ténèbres*. En identifiant d'emblée l'attitude et les idées du protagoniste avec celle de l'écrivain, la nouvelle devient non seulement une propagande pour une philosophie qui prône la résistance passive, mais elle peut être rangée à juste titre parmi les oeuvres les plus immorales, les plus misanthropes et, en fin de compte, les plus réactionnaires, les plus absurdes. Un prisonnier, condamné pour parricide et fratricide, sous l'effet de nombreuses années passées en prison se convainc de ce que la forme de vie la plus naturelle et la plus avantageuses est la cellule, si bien qu'après avoir retrouvé la liberté il fait bâtir sa prison idéale, ainsi il fait de la propagande pour la contestation des besoins les plus naturels et des idéaux les plus généraux de l'humanité si nous supposons que l'auteur partage toujours les idées de son héros.

Il faut remarquer que les contemporains ne se sont pas intéressés à l'ensemble des problèmes de la nouvelle mais à la question qui consiste à savoir si le prophète maniaque de la théorie de la prison du bonheur est assassin ou bien, comme il le prouve, s'il est derrière les grilles par suite d'une erreur. L'interprétation du contenu de la nouvelle dépend en fin de compte de la réponse que l'on donne ou que l'on peut donner à cette question. L'auteur lui-même nous y renvoie dans un interview que nous allons citer plus bas. Si le héros est innocent, on peut supposer qu'il dit encore cette fois la vérité tout comme lorsqu'il déclarait son innocence. Dans ce cas-là il faut considérer que sa théorie est raisonnable. Ces conseils sages sont ceux d'un homme généreux, sincère, injustement tourmenté et ils expriment les idées de l'écrivain. Par contre, s'il est vrai qu'il est assassin de sa famille, toute sa défense, tout son comportement, toute sa prise de position contre la vie, toute sa théorie concernant la prison ne sont que des mensonges de toute évidence. Dans ce dernier cas, même s'il les prend au sérieux, ce n'est pas autre chose que le produit de l'imagination malade ou bien perverse d'un scélérat, la grimace cynique d'un monstre envers l'humanité, ou, dans le meilleur cas, la chimère d'une âme empoisonnée pour toujours par l'atmosphère de la prison, pour laquelle l'auteur ne peut pas du tout avoir de la sympathie.

Peu après la parution de la nouvelle on a vu naître des hypothèses très pifférentes sur le héros et, par conséquent, sur la signiciaftion de la nouvelle.

[7] A. KAUN, «Leonid Andreyev», *A Critical Study*. New-York, 1924, p. 92.

[8] А. А. ИЗМАЙЛОВ, «Литературной Олимп». М., 1911, p. 277.

Voilà quelques-unes de ces hypothèses: le héros est fou, mais cette folie ne le prive pas totalement de ses capacités de jugement bien qu'il ne jouisse pas de toute sa raison dans d'autres rapports; le héros est un cas particulièrement rare de la schisophrénie de la personnalité et de la conscience; le héros est un criminel qui prend le masque de la folie pour se justifier. En ce qui concerne la signification de la nouvelle, les conceptions suivantes sont nées: l'écrivain a voulu tout simplement prouver dans quelle mesure la cellule était nuisible: ou bien il a écrit une satire camouflée et il s'est moqué volontairement du lecteur, ou bien il a donné une forme incompréhensiblement alambiquée à un certain système philosophique[9]. Certains critiques ont vu dans la nouvelle la satire de la «non-résistance» tolstoïenne[10], ou plus, la satire travestie en apologie de l'ordre social que l'apologie masquait presque entièrement[11]. Il est bon de remarquer qu'une certaine partie des interprétations — comme on va le voir plus bas — s'approchaient déjà de la signification juste que l'on a oubliée plus tard, elles marquaient cependant les possibilités d'une mauvaise interprétation.

Pour dissiper la perplexité du public, A. Izmailov a fait paraître un article en 1908 dans un quotidien populaire de Saint-Pétersbourg concernant l'interprétation de cette oeuvre énigmatique par l'auteur lui-même[12]. Il est fort regrettable que les critiques littéraires de nos jours ne tiennent pas compte de ce document décisif, très intéressant. Ils le délaissent au même titre que l'article mentionné de V. Vorovski. Dans cet article-ci, écrit en forme d'interview, l'écrivain réaffirme au préalable sa thèse selon laquelle les héros ne sont pas toujours les porte-paroles de l'écrivain, il ne peut pas leur imposer sa volonté, il ne peut être que le chroniqueur de leurs actions qui correspondent à leur caractère, à leur conduite et, en fin de compte, il ne les connaît pas plus que n'importe qui.

En ce qui concerne la culpabilité ou l'innocence du héros de *Carnets*, l'écrivain en a parlé avec autant d'ambiguïté que plus haut, il a fourni cependant d'importantes informations sur son propre avis. Au début — dit-il — il était convaincu de l'innocence de son héros mais plus tard — le travail avançant — il s'est mis à en douter. Il justifie son soupçon en disant que «l'homme qui est arrivé à avoir un esprit aussi tortueux, une fiction logique aussi difforme que le héros, avait dû commettre un crime très grave». Selon l'avis d'Andréiev, cet homme ment continuellement pendant toute sa vie et «dans les circonstances où il n'y a plus de place ni pour l'espoir, ni pour la

[9] Е. МЕЧНИКОВА, «Психопатология в произведениях Достоевского и Л. Андреева», *Вестник воспитания*, 1910, № 4, отд. I, pp. 193—4.

[10] В. А. ПОССЕ, «Мой жизненный путь». М.- Л., 1929, pp. 104—6.

[11] В. М. ФРИЧЕ, «Леонид Андреев», Опыт характеристики. М., 1909, p. 64.

[12] А. И., «Л. Андреев о своей повести «Мои записки», *Биржевые ведомости*, 1908, № 10797, p. 3.

vie, il est forcé d'établir, avec une fermeté effrayante, son propre monde où règnent la raison, l'harmonie, la beauté»! «Je pense — finit l'auteur l'interview — que cet homme pourrait être appelé le génie de la faculté d'adaptation».

Avec cette interview Andréiev a fourni une aide importante non seulement pour décider l'innocence ou la culpabilité du héros mais il a révélé son opinion aussi à propos de sa théorie et de tous les produits de cette théorie. Aussi justifiée qu'Andréiev puisse trouver du point de vue psychologique la naissance de pareilles idées à la prison quand elles facilitent ou rendent possible la vie pour un certain type humain dans certaines circonstances, il est évident qu'il ne veut pas justifier l'attitude du prophète maniaque de la prison et qu'il ne veut point apprécier sa théorie.

La valeur artistique et le sens objectif du contenu de la nouvelle ne dépendent naturellement pas des explications postérieures de l'auteur, mais des rapports structuraux et psychologiques de l'oeuvre.

Le lecteur doit les reconnaître dans le labyrinthe des énigmes enlaçant tous les éléments et toutes les péripéties de l'oeuvre.

La nouvelle *Carnets* a été écrite en forme de confession, le héros parle en première personne, ainsi l'écrivain n'a théoriquement pas la possibilité d'exprimer ses propres idées. L'auteur des carnets, le héros, maintient d'une manière conséquente son innocence. Certes, si on ne tient compte que de la construction du texte, presque tous les mots des carnets peuvent être vrais, bien que l'écrivain avoue à la fin de la nouvelle qu'il a de temps en temps trompé la confiance du lecteur et qu'il a menti autant que n'importe qui eût menti à sa place. D'évidents mensonges n'apparaissent dans l'oeuvre que sporadiquement et ils sont toujours volontaires concernant des questions de détail insignifiantes pour ne pas troubler nos idées que nous avons sur l'essentiel, mais pour évoquer des doutes relatifs à la sincérité du conteur. (Le héros affirme, par exemple, que le judas sur les portes de cellule est son invention.) Par contre, nous avons un bon nombre de constatations, de manifestations d'opinion même, dont la sincérité ne peut pas être contestée. Le prisonnier dépeint par exemple très persuasivement l'état du désespoir et de la désolation où il était au début de son emprisonnement. Ses discussions avec le peintre K. paraissent également vraies, elles contiennent d'ailleurs la critique particulière, parfois assez lourde de sa théorie. On peut bien supposer qu'après le suicide du peintre, le maniaque désabusé de sa théorie pense lui aussi au suicide. Les manifestations peu flatteuses de ses compagnons de geôle sur son activité de «prophète» doivent être également vraies. L'auteur des carnets prend au sérieux son idéologie et ce ne sont plus seulement ses compagnons et le lecteur qu'il veut tromper, mais il veut se convaincre de son innocence, de l'exactitude de sa théorie et d'autres choses qui, d'une part, sont invraisemblables pour le lecteur et qui, d'autre part, contredisent la vérité elle-même. L'exactitude déjà superflue de certaines explications, argumentations et la

minutie du récit qui devient de temps en temps ridicule, mais qui relève seulement de l'ironie de l'auteur, rendent l'image plus compliquée encore, parce que le lecteur a parfois l'impression que le protagoniste, au moins dans certaines circonstances, ne jouit pas de toute sa raison. (Par exemple, l'écrivain des carnets emploie bien souvent des notes, des renvois pour prouver la vérité de ses thèses.) Certains critiques contestent que les quatre derniers chapitres de la nouvelle racontant les événements après la sortie de la prison veuillent relater la vérité et ils prouvent que ces chapitres sont le produit du délire du maniaque devenu fou pour toujours dans la prison[13]. Si l'on interprète la nouvelle de cette façon, sa tendance satirique ne peut naturellement pas être contestée.

Puisque le condamné n'a pas fait d'aveux et que le lecteur ne connaît ni le résultat de l'enquête, ni les détails de l'audience, il ne reste qu'une seule espérance pour démasquer le coupable; attendre qu'il se démasque lui-même parmi les tournures subtiles de sa négation têtue et de ses longues méditations philosophiques. Andréiev tend de nombreux pièges au protagoniste aussi bien qu'au lecteur. Le sermon onctueux et cérémonieux du narrateur est toujours fort suspect, parce que nous y sommes accoutumés comme à la façon de parler des hypocrites et des charlatans. Le fait qu'après sa discussion avec le peintre il anéantit ses carnets de prison qui contiennent peut-être plus de charges pesant contre lui que les carnets connus par nous, le rend également suspect. Il est suspect que ses compagnons de geôle, également fous, ne sont pas tous ses admirateurs, mais qu'il y en ait qui le traitent de menteur, de lâche, de «diable»: que son portrait peint par K. exprime, à son propre avis et à sa sincère indignation, de la souffrance, même, de l'horreur: «la faible lueur démentielle d'une âme très profonde et extrêmement solitaire vacille quelque part au fond de son regard fixe»[14]. Il est suspect que le fantôme de son père, assassiné cyniquement, avec une cruauté bestiale, refuse de le justifier et de le décharger de l'accusation d'assassinat. Quelques-uns de ses jugements et quelques-unes de ses pensées, jetées comme par hasard, peuvent également éveiller des soupçons. Il vaut la peine de méditer sur ce qu'il dit à propos des «secrets du coeur du Christ» dans son dialogue fictif avec le crucifix et le portrait (III. pp. 225-6), et ce qu'il laisse échapper, dans une note, du plaisir voluptueux et secret de l'assassinat et du suicide (III. p. 231). La vivacité avec laquelle il s'intéresse au problème de l'unité et du mensonge dont il donne des solutions tout à fait contradictoires,

[13] А. ИЗМАЙЛОВ, «Художественный ребус» (Новая повесть Л. Андреева «Мои записки»), *Русское слово*, 1908, № 246, p. 2.

[14] Полное собрание сочинений Леонида Андреева. СПб., издание т-ва А. Ф. Маркс, 1913, т. III, p. 216. — Les renvois et les citations pris à la nouvelle seront donnés par la suite dans le texte, d'après cette édition, le chiffre romain indiquant le numéro du volume, le chiffre arabe indiquant la page.

le rend suspect aussi. (III. pp. 189, 223, 224, 239, 250-1). La manière dont il interprète le suicide et la passion — trop tard manifestée, ou peut-être conservée vraiment depuis sa jeunesse —, de son ancienne fiancée, semble le triomphe du cynisme allié à l'autosuggestion (III. p. 250). Nous pourrions continuer l'énumération de pareils exemples.

Cependant, la question suivante se pose; pourquoi l'auteur des carnets fait-il connaître des pensées et des faits qui peuvent fournir des charges contre lui? Les lapsus se comprennent encore, mais quelle est l'explication psychologique de ce qu'il divulgue, entre autres, le silence défavorable de l'esprit de son père, le témoignage de son portrait ou les propos désavantageux de ses compagnons de geôle? Il aurait pu garder le silence sur tout cela.

L'essentiel de la méthode de *Carnets* consiste à ce que le lecteur peut interpréter ces détails de différentes façons. Selon l'interprétation la plus évidente, le héros s'occupe, s'inquiète même, du témoignage muet du père assassiné, s'occupe et s'inquiète de ce que le peintre a trouvé sur son visage les secrets les plus cachés de son âme, de ce qu'il y a parmi ses disciples certains qui ne se laissent pas tromper par lui. Il n'a pas assez de force pour cacher tout cela, pour la simple raison que son but avec ses carnets n'est pas, en premier lieu, de tromper le lecteur, mais de se justifier lui-même, devant lui-même. C'est ici que se trouve la chaîne psychologique la plus profonde de la nouvelle. Il est toujours possible, bien sûr, que ces notes traîtresses échappent à l'attention du narrateur, parce qu'il n'a rien à craindre et finalement tout cela n'est pas autre chose qu'un piège tendu au lecteur par l'écrivain.

Il y a cependant un passage dans la nouvelle où l'assassin est déjà sur le point de se trahir. A l'occasion tardive avec son ancienne fiancée un dialogue tragique se déroule entre eux, quand le sortilège du passé et l'expérience sincère d'une vie perdue rendent impossible toute hypocrisie, quand tout mensonge perd le sens. Ce passage vaut la peine d'être lu en original pour comprendre entièrement la nouvelle.

— Да, я изменила тебе! — кричали мне ее помертвевшие губы. — Я знала, что ты невинен...

— Молчи, молчи.

— Надо мною смеялись, даже друзья твои, твоя мать, которую я за это ненавижу, все предали тебя. И только я одна твердила: он невинен.

О, если бы знала эта женщина, что делают со мною ее слова! Если бы рог архангела, зовущего на страшний суд, зазвучал над самым ухом моим, он не испугал бы меня так: что значит для смелого слуха рев трубы, зовущей к борьбе и состязанию. Воистину бездна раскрылась под ногами моими, и, точно ослепленный молнией, точно ударом оглушенный, я закричал в диком и непонятном восторге:

— Молчи! Я...

Если бы женщина эта была послана Богом, она замолчала бы; если бы дьяволом была послана — замолчала бы она и тогда. Но не было в ней ни Бога, ни дьявола, и, *перебивая меня*[15], не давая мне окончить начатого, она продолжала:

— Нет, я не замолчу. Я все должна сказать тебе, я столько лет ждала тебя. Слушай, слушай!

Но вдруг увидела она мое лицо и отступила в испуге.

— Что ты? Что с тобою? Зачем ты смеешься? Я боюсь твоей улыбки. Перестань смеяться! Не надо, не надо! (III, 243-4)

On trouverait à peine un passage pareil à celui que nous venons de citer. Le protagoniste parle cette fois sincèrement, des événements vraiment passés et il laisse voir dans ses paroles un vrai bouleversement, de la peur même, au lieu de parler en termes habituels, ambigus, cyniques. Mais il a la chance de s'en apercevoir à temps, de même que l'écrivain. C'est qu'il a presque permis au lecteur de trouver la solution de l'énigme qu'il avait escamotée jusqu'alors à travers des douzaines de pages. Pourtant, le lecteur plus attentif aperçoit et comprend cette phrase interrompue qui ne pourrait s'achever que par ce mot; «убийца» (je suis assassin)[16]. Il y avait un critique qui a reproché à l'écrivain d'avoir trop facilité au lecteur de trouver le mot de l'énigme[17]. Selon lui c'est la faute la plus apparente de la nouvelle. Certes, il est vrai que cet aveu inachevé est un argument direct pour la culpabilité du héros — avec les dépositions antérieures indirectes qui peuvent être interprétées de façons contradictoires — et il permet finalement de comprendre le sens proprement dit de la nouvelle.

Il est donc évident après ce que nous venons de dire que l'auteur des carnets et l'écrivain de la nouvelle *Carnets* ne s'identifient point, c'est-à-dire le héros de la nouvelle n'est pas le porte-parole de l'écrivain. Le héros est assassin et charlatan et l'écrivain n'apprécie pas l'idéologie de prison qu'il incarne, il ne préconise aucune philosophie de vie passive. Bien au contraire: il affronte toutes les idéologies et toutes les pratiques qui — ouvertement ou à mots couverts, sciemment ou involontairement — se tournent contre la liberté humaine ou suggèrent de l'abandonner volontairement. Après s'être assuré de ce que *l'auteur des carnets* est un assassin cynique et pseudo-prophète, on voit surgir d'autres éléments, jusqu'ici restés obscurs, qui reflètent ouvertement l'intention de *l'écrivain* qui consiste à démasquer son héros et sa grotesque philosophie de vie: on s'aperçoit de la pointe sarcastique dont Andréiev traite

[15] Citation d'Andréiev

[16] L'importance du passage a été démontrée pour la première fois par A. Gornfeld («Русское богатство», 1909, № 1, отд. II, p. 115).

[17] А. ИЗМАЙЛОВ, «Художественный ребус»..., p. 2.

son adoration de soi-même, sa servilité envers le directeur de prison et son cynisme envers son ancienne fiancée.

Le lecteur éprouve dès le début de l'antipathie inexplicable pour le prophète de la prison, il hésite cependant à le juger, puisque, d'une part, l'idéologie du héros est représentée dans des circonstances où elle joue un rôle relativement positif, d'autre part, la mise en code a des passages trop convaincants. Dans la prison, d'où l'on ne peut pas s'évader, une seule philosophie est possible: celle de l'adaptation. Andréiev lui-même se laisse parfois séduire par cette philosophie. Comme dans le cas de *Ténèbres*, il avance au début parallèlement avec son héros, il partage ses idées et ses manifestations positives qui sont d'ailleurs rares, il essaie de comprendre ce qui est incompréhensible, mais l'identification complète reste tout à fait impossible.

Pourquoi l'écrivain a-t-il besoin de représenter le créateur de l'idéologie de prison avec une mise en code étendue à tous les éléments de la création? Le but de l'écrivain est de présenter le rôle de cette théorie, en apparence positif, comme vraiment positif, ainsi après avoir reconnu le vrai visage du héros, le lecteur doit davantage ressentir l'écroulement de cette idéologie. Andréiev emploie donc cette fois aussi — comme dans Ténèbres — la méthode thèse-antithèse-synthèse pour exprimer ses idées, mais cotrairement à ce que nous constatons dans son autre nouvelle où les phases de la négation dialectique sont isolées et démembrées, dans *Carnets* l'affirmation et la négation sont présentes synchroniquement dans toutes les phases de la construction. Cette méthode est audacieuse: son utilité, d'après son aboutissement, est douteuse. Personne ne pourrait comprendre à première vue le sens proprement dit de la nouvelle; il est vrai, par contre, après une seconde lecture l'effet est d'autant plus efficace. Il est sûr que l'écrivain discute avec lui-même sur certaines thèses de l'oeuvre mais le sens réel diffère totalement du sens apparent à la fin de la nouvelle si l'on dévoile le fonctionnement de la psychologie du protagoniste. *Carnets* est l'oeuvre d'un écrivain qui peut jouer avec la psychologie, qui est capable de faire des jongleries sans que son oeuvre perde en gravité ou en valeur artistique. Le lecteur doit finalement décider à son escient si le héros est fou ou s'il ment tout simplement: les deux solutions ne s'excluent point, elles donnent l'une comme l'autre la réfutation de la philosophie de vie quiétiste, hyperbolisée, volontairement absurde. Cette interprétation de *Carnets* modifie remarquablement le jugement devenu déjà traditionnel des idées politiques et morales qu'avait Léonide Andréiev après 1905.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 81—89 1971 Debrecen

Andreï Roublev

J. VERESS

1. La chronique des cinquante dernières années de l'art cinématographique soviétique compte de nombreux films biographiques. Ils portent à l'écran la vie d'un personnage exceptionnel (chef d'armée, écrivain, compositeur, etc.), mais la force expressive de la mise en scène et la richesse des idées ne sont naturellement pas toujours égales; le tableau est assez varié. Si on considère par exemple *Ivan le Terrible*, *Alexandre Nevsky* ou *Tchapaev* comme des films biographiques — nota bene: chacun d'eux peut être aussi bien qualifié de film historique, ce qui montre l'état élémentaire de la théorie du genre et le chaos général qui y règne depuis longtemps — les plus exigeants doivent reconnaître là des oeuvres de premier ordre. Par contre la série de la fin des années 40 et du début des années 50, tel *L'Académicien Ivan Pavlov*, *Alexandre Popov*, *Joukovsky*, *Le Compositeur Glinka* ont laissé un souvenir fâcheux dû à leur pompe vide de sens. Ce que Eisenstein et les Frères Vassiliev recherchaient, c'était la dialectique des caractères, le rapport qui existe entre l'homme et son époque; ils ont composé les forces du mouvement historique, exprimant la résultante par les moyens du cinéma. Ce qu'ils entendaient par fidélité de la représentation n'était pas une copie minutieuse des péripéties traversées par le héros. Ils ont cherché non pas la vérité du détail, mais la vérité de l'ensemble: la vérité générale qui se dégage de l'exemple historique, l'enseignement indépendant des points de vue actuels.

Ainsi — pour en rester à notre exemple — *Ivan le Terrible* n'est pas seulement le drame d'une destinée qui se déroule au milieu des conflits d'une époque historiquement déterminée: il traite *aussi* le probèlme *général* de la responsabilité, de l'engagement, du dévouement, tout comme nous voyons dans les luttes et la défaite de Tchapaev se condenser le drame de plusieurs générations. L'artiste qui s'assigne un tel but doit avant tout chercher les fils qui relient le passé au présent, le passé à l'avenir, et fournir, à partir des événements passés, des enseignements actuels. C'est un principe de base archiconnu, que nous devons pourtant rappeler ici, parce qu'il pourrait servir

d'épigraphe à tout ce qui suit, étant l'alpha et l'omega de toute appréciation portée sur un film historique.

2. Le nom d'André Tarkovsky a été très tôt connu du monde. S'il avait commencé ses études cinématographiques relativement tard, en 1957, il avait été vite distingué comme un des plus grands espoirs par ses maîtres. Une circonstance qui n'est pas sans intérêt: le jeune candidat-metteur en scène est alors — à la fin des années 50-début des années 60 — l'élève de Romm qui atteint à cette même époque à la pleine puissance de son style devenu plus exigeant, plus plein, et qui lui-même prend un nouvel élan, comme le prouve *Neuf jours d'une année*, dans une atmosphère propice aux idées et aux expériences créatrices. (Tarkovsky ne reniera jamais son maître, tout en révisant certains de ses principes. Ainsi au sujet du choix et de la direction des acteurs il n'est pas du même avis que le metteur en scène *Des Treize*, *Du Fascisme ordinaire*, des films sur *Lénine*. L'auteur de ces lignes a eu une conversation avec Tarkovsky[1] au printemps de 1969, qui lui a appris quelles discussions acharnées s'étaient élevées entre l'ancien maître et l'élève, à cause de Solonitzine qui crée le rôle de Roublev: Romm avait déploré un manque d'imagination dans le jeu de l'acteur inconnu. Comme nous le verrons par la suite, c'est Tarkovsky qui avait eu raison.)

Mais poursuivons le récit de sa vie. Il obtient son diplôme en 1962 et reçoit immédiatement la mission de faire de courts métrages. En 1962 — il a exactement trente ans — Tarkovsky réalise son premier grand film: *L'enfance d'Ivan*[2] qui le range d'un seul coup parmi l'élite du film soviétique et étranger. (Le film a remporté un grand succès à travers le monde entier; à Venise, il a reçu le Lion d'Or.) Le sujet est simple. Tarkovsky nous montre le destin de la génération éprouvée par la Grande Guerre Patriotique, brossant un tableau bouleversant des épreuves surhumaines et du dévouement héroïque du peuple soviétique. Certains ont accueilli ce drame avec des réserves, en prétendant que Tarkovsky avait poétisé la souffrance. *L'Enfance d'Ivan* dresse devant nous un monde poétique, il est vrai, mais ce n'est pas la souffrance que Tarkovsky poétise: c'est cette réalité, incontestablement idéalisée, qui apparaît dans les images du bonheur rêvé par l'enfant.

Après *L'Enfance d'Ivan*, le projet longtemps caressé se réalise: le jeune metteur en scène se plonge dans le monde du XV[e] siècle et étudie longuement l'époque et l'art de Roublev. Le fruit de ce travail absorbé est le scénario

[1] V. «Hűség a vállalt eszméhez» (Celui qui reste fidèle à ses idéaux). Conversation avec André Tarkovsky, *Filmvilág*, 1969/10.

[2] D'après B. Bogomolov. Op.: V. Youssov, Act.: N. Bourliaev, V. Zoubkov, V. Moliavina (Lion d'Or à Venise).

d'*Andreï Roublev*, écrit en collaboration avec Kontchalovsky, publié en feuilleton dans les numéros 4 et 5/1964 de *Iskoustvo Kino*. Le tournage se termine en 1966.

3. L'époque d'Andreï Roublev est remplie de conflits et de luttes. Partout des couleurs sombres, des passions indomptables; meurtre et désolation; terreur et épouvante. Le despotisme et les hordes tartares ne connaissent pas d'indulgence.

Tarkovsky n'adoucit en rien ces couleurs. Sa conception de metteur en scène lui interdit de substituer au pourpre de la souffrance le bleu d'azur de l'espoir, dans ce tableau destiné à être un témoignage sur les années tourmentées. Des images bouleversantes défilent aux yeux des spectateurs: l'humiliation, la diffamation, la frustration, le terrorisme sous toutes les formes possibles. L'État russe est en train de naître; les douleurs de l'enfantement sont déchirantes. Andreï Roublev est témoin des guerres féodales, et en même temps des insurrections paysannes. Dans sa courte vie, dont nous ne connaissons même pas les limites exactes (selon les hypothèses, il est né vers 1360, mort en 1430), il a vu autant de cruauté et de violence, qu'il en aurait suffi pour dix générations.

Comment l'artiste-moine exprime-t-il ce monde apocalyptique? Sont-ce les larmes, le sang, la douleur, l'épouvante qu'il peint? Les passions meurtrières? Point du tout. La pure harmonie des icônes de Roublev, les lignes classiques de la beauté semblent porter le message d'une autre époque, de paix et de calme. Rien dans ces tableaux ne rappelle les tempêtes de l'histoire, l'atmosphère destructrice du temps de Roublev. Les principaux motifs sont la paix, la sérénité, le bonheur, l'équilibre.

Mais alors Andreï Roublev aurait-il embelli la réalité? Et André Tarkovsky, le chroniqueur, aurait-il faussé le monde de Roublev? Ce sont deux questions qu'on ne peut éluder si on veut juger ce film en profondeur.

Nous pouvons affirmer tout de suite que la contradiction n'existe qu'en apparence. Roublev n'a pas atténué, en les «réorchestrant», pour ainsi dire, les antagonismes effroyables, au contraire: il a témoigné d'un don prophétique tel que les élus même possèdent rarement. La foi du moine-peintre est nourrie par la force inépuisable et la volonté indestructible du peuple; c'est ce qui lui permet de dépasser ses doutes et ses crises. Ses icônes d'une puissance envoûtante sont ainsi une représentation authentique de l'homme et des sentiments d'alors, et elles prouvent en même temps le profond humanisme de Roublev, l'inspiration terrestre de ses visions.

En ce qui concerne la deuxième question: Tarkovsky réalise d'une façon insolite et hardie, mais très originale la synthèse de la *guerre* sévissant sur les plaines infinies de la Russie aussi bien que dans les âmes, et de la *paix* idyllique qui émane des icônes roubleviennes. Nous traversons avec Roublev tou-

tes les épouvantes de l'enfer de Dante, ensemble nous passons par le purgatoire, pour connaître ensemble le grand moment de la résurrection intérieure, pour sentir germer en nous de nouvelles résolutions, et pour prononcer avec l'artiste la vérité conquise: l'homme est géant et le travail immortel.

La scène-clé est l'épisode de la fonte de la cloche. Tension de l'effort, soupir de découragement: c'est le rythme incessant de la création. Boriska, grâce aux tours appris de son père, triomphe de la matière rebelle. Le battant d'acier heurte la cloche — jamais son ne fut plus triomphant, plus joyeux! Le visage de l'adolescent est baigné de larmes; il n'arrive pas à croire que ce miracle, cette magie surnaturelle est, avant tout, son oeuvre. Il entend à peine les paroles animées de Roublev: «Non, il ne faut pas... Tout va bien, ne vois-tu pas? Continuons ensemble... Je peindrai des icônes, et tu fondras des cloches... Veux-tu? ...Allons ensemble, travaillons... Quelle fête pour les hommes... Allons, il a accompli un acte magnifique, et il pleure...»

Le destin de Roublev est décidé: le cercle magique se brise, les énergies créatrices se libèrent. «Regardons en avant et sachons voir la beauté», c'est le véritable contenu du monologue.

L'histoire se termine par cette scène mythique; mais le film n'est pas encore fini. Les images en noir et blanc cèdent la place à celles en couleur et nous voyons apparaître sur l'écran les admirables icônes de Roublev, ces chefs-d'oeuvre de la souffrance et de la joie. Une orgie de couleurs, des lignes gracieuses, une douceur infinie des regards: c'est d'une simplicité inimitable. (La musique d'Ovtchinnikov est en parfaite harmonie avec les idées suggérées par les icônes qui défilent devant nous sur l'écran: Tarkovsky a monté les images d'après la musique, recherchant l'unité profonde des émotions visuelles et auditives.) Le finale: les contours de la Troica s'effacent lentement pour céder la place à une prise de vue de la nature. Une averse torrentielle. Des chevaux paisibles stationnent sous la pluie.

4. Andreï Roublev, moine, est tenu de vivre selon les lois de sa religion. «Sois humble, souffre sans murmurer, après la mort tu seras récompensé d'un bonheur céleste» — lui enseigne-t-on. Le modeste peintre d'icônes ne murmure pas, il s'incline, mais ses yeux s'ouvrent sur tout ce qu'il voit autour de lui. Il puise toujours son inspiration dans la simplicité du peuple: il est frère de ceux qui créent la vie et pour qui elle est pourtant si injustement cruelle dans cette Russie en pleine effervescence du XV[e] siècle. Roublev — bien qu'il peigne «sur commande» — éveille par ses oeuvres les sentiments les plus nobles et entretient la foi en un avenir meilleur. Dans son article publié par *Iskoustvo Kino*[3], Pasuto souligne avec justesse: l'Église et le pouvoir respectaient le

[3] PASUTO, «Roublev ressuscité», *Iskoustvo Kino*, n° 1964/5.

peintre parce qu'ils voyaient en lui un porte-parole de la pacification et de la fraternité, c'est-à-dire un fidèle serviteur de l'ordre établi, et le peuple l'aimait parce que ses icônes lui parlaient du bonheur et des promesses de l'avenir.

Ce paradoxe apparent est partout présent dans l'histoire des arts; nous connaissons plus d'un exemple de jugements opposés, parce qu'issus d'idéologies opposées, dans l'appréciation de quelques grandes oeuvres: ainsi, chez nous, l'ancienne classe dirigeante a essayé de mettre sous sa bannière Petőfi et Ady, prétextant souvent des poèmes reconnus depuis comme les plus révolutionnaires.

Tarkovsky ne laisse pas de doute sur les intentions de Roublev et sur ses véritables héritiers aujourd'hui. Cependant il réussit à éviter les chémas désagréables que nous rencontrons quelquefois même dans les drames modernes, lorsqu'il s'agit de représenter l'unité du héros et du peuple. Dans *Andreï Roublev*, il n'y a pas de grandes phrases théâtrales, pas de déclamation, pas d'épisodes artificiellement montés. Tout découle ici de la logique interne de la représentation, de l'ordre rigoureux qui domine la création des caractères: le découragement de la crise déchirante aussi bien que le retour au travail créateur et à la volonté ressuscitée. (La construction du film est structurée selon ces trois périodes: premier épanouissement, crise, renaissance.)

Une importance particulière est attribuée dans la vie d'Andreï aux rencontres et aux conversations qui, grâce au talent expressif de Tarkovsky et de Kontchalovsky, sont rendues avec une grande force dramatique. Cyrille, le compagnon d'Andreï dans les errances et l'espoir, regarde Roublev, l'homme et l'artiste, avec une envie mêlée de doutes. Son scepticisme n'ébranle pas Roublev; il écoute plutôt les conseils de Théophile, le vieux peintre.

Évoquons les paroles qu'ils ont échangées en 1406.

Le vieux maître exhorte au travail Andreï, dont le découragement touche au désespoir. Dans ses remarques, dans ses conclusions se reflète l'expérience d'une longue vie. «Je ne suis pas un scélérat! — dit Théophile. Je dis seulement ce que je vois et ce que je sais. Les hommes sont aveugles, le peuple est dans les ténèbres.

— Comment peux-tu parler ainsi... — proteste Roublev.

— Ça va, ça va; mais dis-moi donc, la main sur la conscience, le peuple est-il dans les ténèbres, oui ou non? Hein? Je n'entends pas!

— Il est dans les ténèbres... Mais qui en est la cause?»

Voilà la dialectique de la pensée roublevienne. La réponse est déjà donnée par la question. Roublev ne *doute* pas seulement, il *sait* avec assurance que la primitivité asiatique n'est pas la faute des simples mortels, mais de ceux qui gardent les masses emprisonnées dans les ténèbres, les empêchant de sortir à la lumière. Le vieux répète obstinément: l'humanité a déjà commis toutes les ignominies qu'elle pouvait commettre, et si le Christ revenait sur la terre,

il serait de nouveau crucifié. Andreï ne se contente pas de cette philosophie: il garde sa foi de créateur et, ce qui est la même chose, son optimisme réaliste. Il argumente ainsi: «Il faut rappeler aux hommes plus souvent qu'ils sont des hommes, qu'ils sont des Russes; nous avons un même sang, une même terre. La méchanceté existe partout, on peut partout trouver un traitre qui vend son semblable pour trente pièces d'argent. Mais le moujik souffre et ne murmure pas. Toujours il travaille, travaille, travaille, il porte sa croix en paix, en silence, et ne demande à Dieu que de lui donner assez de force...» Ce discours épouvante Théophile: «Fiche-moi la paix, entends-tu! Tu es trop jeune pour me donner des leçons — et je suis trop vieux pour apprendre!»

Les travaux commencent à la cathédrale Uspenski. On prépare les fresques du Jugement Dernier: l'ordre de la commande exige qu'elles soient terminées avant l'automne 1408. Andreï se sent incapable de prendre en main le pinceau. «Je ne sais pas peindre des diables! Toute cette tâche me contrarie. Je ne veux pas faire peur aux gens!» — dit-il dans un cri désespéré. Il repousse avec colère Daniel qui lui rappelle qu'il en a accepté la charge. Les arguments restent inefficaces à leur tour, de même que la confiance qu'on lui témoigne et qui l'honore, de même que la parole donnée au prince, — Andreï reste inflexible. Puis, il change pourtant d'idée et remplit de lignes douces, de tons clairs le mur contre lequel il s'acharnait d'abord.

La dévastation effrénée des Tartares, l'affreuse atmosphère de meurtres, la profanation des plus pures idées et la destruction des valeurs vouées à être éternelles plongent Roublev dans un nouveau désespoir. C'est dans la cathédrale profanée qu'il jure de ne plus jamais peindre. Il explique ainsi sa résolution: «De toute façon ma peinture est inutile. Et si je ne puis convaincre les hommes d'être hommes — c'est sans doute que je n'ai pas de talent. Jamais plus je ne toucherai un pinceau.»

Ce cri est bouleversant comme celui de Jeanne dans le drame de Shaw. C'est tout l'avenir de la Russie qui remplit Roublev d'angoisse, mais il garde, même dans les instants déments de ce déchirement, une lueur d'espoir: «Cette terre résiste à tout, à tous les malheurs possibles...» Il neige dans la cathédrale pillée et profanée — c'est le finale de la première partie du film — et Roublev s'en va, solitaire, luttant contre l'angoisse. Ce qui reste à savoir, c'est l'issue de cette lutte: Roublev aura-t-il assez de courage pour sortir de la crise, pour briser l'entrave de la douleur, de l'apathie, de la désillusion, et comment?

La suite est une réponse à cette question, mettant au premier plan le processus de la prise de conscience et de la recherche de la plénitude, au cours duquel Roublev passe de la négation résignée à une affirmation optimiste. Ce sont ses propres réflexions et la chaleur des contacts humains simples, francs, dénués d'artifice, qui le lient au monde réel.

Dourotchka, la femme un peu simple d'esprit, met au monde un garçon. La maternité transforme entièrement ce pitoyable être végétatif en lui inspirant des sentiments purs et tendres. Son regard rencontre les yeux d'Andreï. Le scénario décrit avec beaucoup d'art ce moment qui devient inoubliable à tous deux: «Dourotchka regarde longuement cet homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a — elle en est sûre — jamais vu; le visage de l'homme la captive et lui rappelle une autre époque, une autre vie, qu'elle n'a peut-être jamais vécue, si ce n'est en quelque songe profond et absurde.

Andreï sourit, c'est la première fois depuis sa conversation avec Théophile dans la cathédrale démolie...»

Puis c'est l'épisode de la fonte de la cloche. Ces images portent une telle charge émotive que le spectateur ne peut se soustraire à leur influence. Boriska se propose lui-même pour diriger, à la place de son père mort, le travail qui demande d'énormes efforts — on ne pourrait trouver personne qui sache mieux que lui comment il faut faire. Il est seul à connaître les secrets du métier que son père lui a légués. Les travaux commencent dans une hâte fiévreuse. Bientôt il apparaît que le jeune homme connaît effectivement son métier à la perfection; la parole décisive est à lui dans toutes les questions. Comment creuser le fossé, quelle matière choisir, comment traiter le bois, le cuivre, l'argent — Boriska, tout transfiguré par l'enthousiasme, fait comprendre aux autres, au prix de nombreuses disputes et d'altercations violentes, que cette fois sa volonté seule doit décider de tout.

Et la cloche, dont tant d'hommes attendent la voix, ayant donné pour elle leur effort, leur énergie, la sueur de leur front — retentit enfin. Sa voix triomphante remplit tout l'univers: elle plane, majestueuse, au-dessus des hommes hypnotisés, des témoins émerveillés, au-dessus de Boriska en sanglots et d'Andreï fasciné et, dirait-on, au-dessus des siècles aussi, pour proclamer la beauté et le sens du travail humain.

C'est donc le travail qui donne une réponse aux doutes: la guérison d'Andreï Roublev est dûe à ce qu'il reconnaît que «cela vaut la peine», que «cela ne se peut pas autrement». Péter Rényi dit dans une excellente étude[4]: «Le travail... à l'époque où se forme la société nationale, au moment de cette nouvelle étape de l'histoire, fait resplendir devant le peuple la perspective d'une unité, d'une communauté, d'une solidarité où prendra fin l'isolement, l'assujettissement et la lutte de tous contre tous. C'est ainsi et pour cette raison que le travail y deviendra une expérience enivrante, une passion, un effort dans lequel les hommes s'élèvent à une puissance accrue, deviennent les géants de la volonté et de la persévérance, des héros capables de tout pour la cause, c'est ainsi que l'impossible deviendra possible...»

[4] P. RÉNYI, «Kérdező kor — kérdező film» (Époque d'interrogation — film d'interrogation?), *Filmkultúra*, n° 1969/4.

De telles oeuvres mythique qui vous entrainent irrésistiblement, affirmant leur vérité avec une exceptionnelle force persuasive et une pareille perfection artistique, sont rares dans l'histoire du cinéma. *Andreï Roublev* incu'que au spectateur sa vérité, sa foi, sa décision. Il nous entraine dans les profondeurs du désespoir, pour nous élever après dans les hauteurs de la catharsis et pour nous offrir des enseignements historiques de valeur générale.

5. André Tarkovsky a divisé son oeuvre en chapitres. Dans sa déclaration il m'a confié qu'à l'origine il avait l'intention de commencer le film par la bataille de 1380. Pour différentes raisons, ce projet a été rejeté. Le film s'ouvre ainsi sur l'épisode du moujik—«aviateur»[5] (qui devait introduire, dans le scénario, la deuxième partie); et continue par les événements riches en conflits dramatiques qui s'étendent sur plus de deux décades (de 1400 à 1424).

La forme épouse le contenu. Les différentes parties ne se détachent pas, mais forment un tout harmonique, se complètent et se répondent. Évidemment, tous les épisodes ne sont pas d'une importance égale, mais tous contribuent à motiver l'évolution intérieure de Roublev. Les scènes sont généralement longues, ce qui répond à l'ampleur du récit, mais de temps en temps passent comme un éclair de rapides découpages (le massacre de 1408, la fonte de la cloche etc.). Tarkovsky possède son métier à un degré exceptionnel: il crée l'atmosphère, dicte le rythme, choisit les effets avec une rare assurance. (La brutalité, à mon avis, est voulue et nécessaire: l'époque redoutable ne pouvait être recréée sur le ton des conversations de salon).

Le metteur en scène dirige avec succès son excellente équipe. L'opérateur est Vadim Youssov qui a tourné également *L'Enfance d'Ivan*. Ses trouvailles sont souvent inoubliables. Mentionnons les meilleures: les images de la fête champêtre où une foule d'hommes et de femmes nus exécute une danse étrange dans la forêt, manifestant une joie de vivre déchaînée, — ces images sont couvertes d'une pénombre mystérieuse. Ce n'est pas de la gaîté, mais de l'angoisse que cette scène suggère. En effet, quelques moments après, un bruit de sabots retentit et réapparaissent les bourreaux. L'expérience du moujik-«aviateur» est égalemet rendue avec un grand art: la série des plans généraux — ainsi l'homme voit le paysage dans sa chute mortelle — est une réussite de l'opérateur. Les images finales ne sont pas moins bonnes. Youssov donne sa mesure en photographiant les icônes de Roublev (dans le film nous ne voyons jamais le peintre *à l'ouvrage*). Anatoli Solonitzine, découvert par Tarkovsky, se montre digne de sa confiance. Il crée son rôle avec une profonde vérité, chacun de ses mouvements est authentique et réussit à nous faire sentir la

[5] Cet épisode présente l'ingéniosité et l'esprit d'initiative du peuple: un paysan s'élève dans l'air à l'aide d'un mécanisme qu'il a lui-même construit pour voir des horizons plus larges, mais son expérience échoue et il périt.

force du caractère roublevien. Les portraits d'Ivan Lapikov (qui crée Cyrille, le raté), de Nikolaï Serguéiev (Théophile n'est pas le doux vieillard des contes populaires, mais un artiste et un penseur réel), de Nikolaï Bourliaiev (l'acteur qui avait créé le rôle d'Ivan, nous présente maintenant Boriska et son triomphe moral avec des moyens artistiques de haute qualité), et d'Irina Tarkovskaïa (parent slave de Gelsomina[6]) — sont tous réussis, authentiques.

6. De nos jours, on discute souvent sur ce que doit être le film moderne. Comment doit-il allier les expériences du passé à celles du présent ? Que doit-il montrer du monde ? Les opinions varient, mais sur un point toutes sont d'accord : le modernisme est une categorie du *contenu* et non pas de la *forme*, et le film d'aujourd'hui doit parler des plus importants problèmes de notre époque, il doit prendre position dans les questions qui occupent le plus notre génération.

André Tarkovsky satisfait à cette exigeance dans *Andreï Roublev*. Je suis persuadé qu'il a fourni par là l'argument le plus convaincant dans la discussion sur «le cinéma moderne».

[6] Héroïne de «La Strada» de Fellini.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 91—101 1971 Debrecen

М. Бабич и В. Брюсов

(Параллели в венгерской и русской литературах конца XIX — начала XX веков

Л. Имре

1. В период между двумя мировыми войнами в литературоведении велись споры о том, в какой мере зависело развитие венгерской литературы от различных влияний европейской литературы. Истина, как это часто бывает, кроется где-то на рубеже двух крайних точек зрения. С одной стороны, не подлежит сомнению, что венгерская литература на протяжении многовекового своего развития имела свои специфические черты. Ее общий характер определялся, между прочим, беспрерывной борьбой за самоутверждение, но было бы неправильно игнорировать тот факт, что творчество наиболее талантливых венгерских литераторов в значительной мере следовало за достижениями развития европейской литературы. В наследии наиболее самобытных венгерских поэтов, писателей можно обнаружить следы влияния наиболее значительных для каждого периода национальных литератур Европы. Не случайно Б. Балашши близок к итальянским, Д. Бержени — к немецким, М. Йокаи — к французским образцам. На протяжении долгих столетий такая связь между венгерской и русской литературами была невозможна, ибо, когда мы говорим о столь большей роли католической церкви в развитии венгерской литературы на её ранних этапах, то одновременно акцентируем и то, что венгерская литература долгое время была связана с Римом и в дальнейшем тоже приобрела определенные черты общественной и духовной жизни Европы. Несомненно, благодаря этому же параллельному развитию так быстро распространилась в Венгрии реформация. Через такие ступени развития, как периоды Средневековья, Возрождения, маньеризма, барокко проходила, иногда, правда, отставая, также и венгерская литература, следившая за достижениями Европы в области культуры. Подобное параллельное развитие было обеспечено до XVIII в. отчасти и тем обстоятельством, что церковь поддерживала непосредственные связи с другими европейскими странами.

Развитие венгерской литературы, конечно, идет в русле разных течений европейского искусства и после XVIII ст., вплоть до наших дней. Однако, в

этот период венгерская литература уже выказывает много родственных черт с литературой русской. Подобное положение объясняется тем, что в это время литературы разных стран освободились от влияния церкви, в этот же период формируются национальные — венгерская и русская — литературы. В связи с историческими и географическими условиями, с тем, что русская церковь была связана с Византией, русская литература развивалась как бы изолированно от других европейских литератур. В сфере притяжения Византии её не могло коснуться ни влияние Возрождения, ни реформация, и о распространении искусства барокко мы можем говорить только условно. Такая замкнутость в области развития искусств, литературы была нарушена во время царствования Петра I. Таким образом, классицизм середины XVIII века, и сентиментализм, ставший в конце этого же столетия господствующим литературным направлением, явились уже непосредственным отзвуком европейских литератур. В венгерской литературе конца XVIII в. можно найти очень много общих черт с литературой русской. Переводческую деятельность В. К. Тредиаковского можно сравнивать с деятельностью Ф. Казинци, а малокровные классицистические драмы А. П. Сумарокова — с «Трагедией Агиса» Д. Бешенеи. В обеих литературах в одинаковой мере переплетаются черты сентиментализма и классицизма, рококо и народности, чтобы представить миру в XIX веке тех гениальных поэтов (Ш. Петефи и А. С. Пушкина), творчество которых видвинуло обе литературы в шеренгу ведущих литератур Европы.

С середины прошлого века, несмотря на весьма сходные общественные условия, эти Две литературы идут дальше разными путями. Прежде всего потому, что в венгерской литературе ведущими становятся поэтические жанры, а в русской — прозаические. Несмотря на своеобразное творчество Ж. Кеменя, в венгерской прозе царствует романтизм, а образцом реалиста расценивается прежде всего Ч. Диккенс. Однако, великие русские писатели-реалисты взяли иной курс. Л. Н. Толстой проявлял большой интерес к английскому роману XVIII века, в том числе к романам Л. Стерна. Любопытно и то, что Ф. М. Достоевский в самом начале своей литературной деятельности переводил на русский язык роман «Евгения Гранде» О. де Бальзака. В то время, как в венгерской литературе М. Йокаи черпает из французского романтизма, и эстетическим идеалом литературной группы Я. Араня и П. Дюлаи является английский реализм, русская проза развивается довольно самостоятельным путем. Речь идет о том, что общественно-исторические условия, эстетические факторы, изобилие талантов подняли русскую литературу на такой уровень, которого, пожалуй, не добилась художественная проза ни одного народа на протяжении всеобщего развития мировой литературы. За это время в венгерской литературе должным образом не смог утвердитсья реализм (что, в свою очередь, имеет ряд причин). Все-таки в судьбах этих литератур в последней четверти XIX ст. можно отыскать параллели. В Венгрии новые литературные вкусы должны были преодолевать консервативность официальной литературы и направление.

Йокаи и К. Миксата, (к которому примыкал и Ф. Херцег, малодаровитый писатель, стяжавший дешевую популярность), пользующееся в то время огромным влиянием, а также упрямое существование консервативно-народной школы в литературе. Старую, отживщую литературу поэтому как бы смел с дороги «взрыв» XX века: появление ж. «Нюгат» и особенно Эндре Ади. В русской литературе смена поколений не происходила в такой острой драматической форме. Русский критический реализм второй половины XIX века был развит в творчестве таких замечательных мастеров, как А. И. Куприн, Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, М. Горький, В. В. Вересаев и др., и влияние французских декадентов проникало в литературное сознание постепенно. Если в Венгрии такие писатели, как Ж. Мориц, М. Каффка, Ш. Броди и вообще представители критического реализма демократического уклона выступали на стороне «Новых песен, новых веяний», то в России, напр. И. А. Бунин в 1913 году очень остро осуждал декаданс, символизм, мистическую анархию и футуризм, последнее, по его мнению не что иное, как хулиганство[1]. Естественно, раз новое поколение реалистов проявляло так мало понимания декадентов, то старшим представителям критического реализма ещё в большей мере были чужды их устремления. Л. Н. Толстой в трактате «Что такое искусство» остро нападает на декаданс, как на антинародное, аристократическое течение в искусстве, вызванное к жизни моральным разложением, создавшее своей пошлой формой и скудным содержанием далекое от жизни искусство, для удовлетворения запросов узкого круга читателей[2]. Период конца столетия в русской литературе отличается от периода обновления венгерской литературы тем, что в Венгрии более зримо проступила граница между двумя фронтами в литературе. Русская литература этого периода, представляет чрезвычайно пеструю картину. В ней сосуществуют разные стили, стремления, общественные интересы, влияния других литератур Европы, таланты разных направлений. Однако такая пестрота отнюдь не повредила искусству. Приведем только один пример: в прозе Л. Андреева переплетаются элементы реализма, романтизма, символизма, натурализма и экспрессионизма, а его произведения и сегодня пленяют читателей.

Сравнение наследий отдельных писателей было расространенным методом историко-литературных исследований в период расцвета позитивизма второй половины прошлого века. Сопоставление могло проводиться в плоскости исследования влияния одного писателя на другого, или просто определения сходства характеров, судеб, стилей (обычно разной национальности) литераторов. При сопоставлении первого типа было бы трудно провести параллель между определенным русским и венгерским писателями. Однако, начиная с XVIII века, уже можно найти обоснованные предпосылки для сопоставления разных, неза-

[1] Бунин. Собрание сочинений в VI-и томах, С.-Петербург, 1915, т. VI, стр. 317-8.

[2] Тут и в дальнейшем я в большой мере опираюсь на работу Пликанова, Удонова, Трофимова. Русская литература конца XIX — начала XX века, Москва, 1965.

висимых друг от друга личностей, их подобных усремлений, творчестких путей. Но особенно большое число писателей, поэтов, близких по духу творчества, появилось в конце XIX века. Уже многие исследователи отмечали родственные свойства поэзий Э. Ади и А. Блока. Оба поэта являются, так сказать, стихийными сторонниками общественного прогресса. Кроме их жажды революции, порой носившей мистический налет, для них характерно стремление к обновлению посредством символизма венгерской и русской поэзии. Будучи истинно талантливыми, они смогли создать новый по языковым средствам, образам, ритмическому строю поэтический мир, неповторимый и несказанно богатый.

Ещё больще сходства между Д. Сабо и Л. Андеревым. Оба писателя мещанского происхождения, после тягостной молодости они начинают писать, выражая недовольство существующим общественным укладом и протест против несправедливостей, им порождаемых. Острая критика общественного порядка надолго обеспечила им поддержку и симпатии со стороны революционных левых партий. (Д. Сабо во время Венгерской Советской Республики является членом Директории писателей, а Л. Андреев, которого «открыл» М. Горький, в 1905 году выступает на стороне революции, правда, в символической драме.) Однако, их мелкобуржуазная раздраженность, анархизм отдаляли их от стремлений социалистов, поэтому после поражения революции (1919 г. в Венгрии, 1905 г. в России) они становятся глашатаями правых. Хотя они абстрактно осуждали войну (см. отдельные части романа «Сметенная деревня» Д. Сабо и «Красный смех» Л. Андреева, в котором он поднимает голос против ужасов русско-японской войны), их мировоззрение в основном антиреволюционно. Они гневно нападают на старый мир, но видят ещё большую опасность в рабочем движении, в марксизме. Их воззрение на человека глубоко пессимистично, биологический детерминизм их героев проистекает из натурализма Э. Золя, язык иногда романтически приподнят, он легко переходит в украшенный, местами манерный стиль экспрессионистского толка, насыщенный метафорами. Такие параллели в их творчестве ярко свидетельствуют о том, что развитие общества, культуры, литературы является единым и закономерным процессом, и аналогические исторические, экономические, политические и культурные обстоятельства порождают сходные художественные, литературные явления. Каким бы устарелым не был метод сопоставления отдельных писателей одного периода, жизнь и творчество М. Бабича и В. Брюсова настолько конгениальны, что небесполезно будет воспользоваться в некоторых отношениях предоставляющимися возможностями.

2. Хотя Брюсов на 10 лет старше Бабича, их можно считать современниками, особенно касательно развития литературы. В период творческого созревания этих поэтов укрепляется «новая литература», организуются в ещё пока осмеянном, но уже боевом лагере те писатели и поэты, которые главным образом под влиянием французских декадентов стремились создать что-то новое

в литературе (их открытое выступление в России приходится на 90-ые годы, в Венгрии — на первые горы XX века.) И М. Бабич, и В. Брюсов получают хорошее воспитание (в детстве они не знают материальных лишений), потом в университетские годы занимаются гуманитарными науками. В это время круг их интересов носит много общего, однако Бабич становится почитателем греко-латинской культуры через изучение латинского языка и литературы, а Брюсова к увлечению древним миром и его культурой приводят занятия историческими дисциплинами. Любопытный парадокс, что борцов за обновление литературы привлекает классическая филология. Помимо родства их интересов, это мотивируется еще одним, более общим фактором. Представители «Парнаса», авторы лучших образцов поэзии на рубеже двух столетий, предпочитали слагать стихи на античные темы. С самого детства и Бабич и Брюсов были большими «книгоедами», их роднит ещё и то, что они интересовались также естественными науками (в бытность гимназистами их волновали вопросы математики и астрономии). В университете они оба увлекаются философией, особенно её историей. После литературного дебюта М. Бабич развивает свой литературный талант в разных направлениях, жанрах, он пишет стихи, новеллы, романы, занимается литературно-критической деятельностью и художественными переводами. Что касается В. Брюсова, ко всему этому можно еще добавить, что он создает множество разнообразных в жанровом отношении и по характеру произведений. Если Бабич замкнут по своему характеру, то Брюсов очень общителен, он член всех литературных обществ и очень трудолюбив. Бабич тоже работает напряженно, но он создает меньше, что объясняется его чрезвычайной взыскательностью к себе.

Из-за своего замкнутого характера, холодности, обидчивости Бабич не мог стать таким живым организатором литературной жизни, как Брюсов. Однако вопреки всем различиям духовного склада этих поэтов, они имеют очень много общих черт. Таковы прежде всего их неутомимая жажда знаний, амбиция и честолюбие. За страсть к чтению они определенным образом поплатились — их жизнь замкнулась в мире книг. По воспоминаниям Чуковского, для Брюсова представляли интерес одни книги и их авторы[3]. Это мотивируется индивидуальной судьбой, склонностями обоих поэтов и одновременно созвучно инертной настроенности, распространенной на рубеже веков, согласно которой настоящая жизнь подменялась искусственно созданной. Поэт-декадент словно любуется своей отдаленностью от настоящей действительности и сомневается в истине даже своих впечатлений. Такой культ искусственности, характерный для сецессиона, мотивируется как у М. Бабича, так и у В. Брюсова их действительной изолированностью от жизни. Американский исследователь прозы Брюсова пишет, что заявление одного из героев Брюсова о том, что мы все

[3] К. Чуковский. Репин, Горький, Маяковский, Брюсов (Воспоминания), Москва, 1940. Письма В. Брюсова от 28/11 1911 г., стр. 214—5.

актеры и скорее не живём, а изображеам жизнь , в сущности очень сжато выражает жизнеощущение самого автора.[4]

В биографиях Бабича и Брюсова можно найти очень много подобных фактов. Оба они владеют многими иностранными языками, оба являются высоко образованными людьми (по мнению М. Горького, Брюсов был самым образованным русским писателем), и тому и другому социалистическая революция предоставила назначения в профессуру. Есть даже такое случайное совпадение, что и Брюсов начал писать трагедию в стихах под заглавием «Laodameia». Но более важны те параллели, которые роднят их поэтическое творчество в целом.

М. Бабич — одна из самых загадочных фигур в венгерской литературе. Он одновременно и новатор, и хранитель традиций, революционер и консерватор. Ему было трудно найти общий язык с кем-либо, и он имел врагов из обеих сторон. И Брюсова, как и других символистов, подвергали гонениям консервативные литературные круги, а после 1917 года на него нападали нетерпеливые представители в то время формирующейся социалистической литературной политики. Критика со стороны современников обвинила как Брюсова, так и Бабича в недостаточной оригинальности, в эпигонстве, в том, что они «ученые» поэты, которым не достаёт настоящей интуиции. Бабича считали неоромантиком и символистом (его «Черная страна» служила мишенью для насмешек над симболизмом), но называли его и сторонником классицизма, и экспрессионистом, натуралистом, мистиком. Творческому методу В. Брюсова тоже были даны противоположные оценки в советском литературоведении. Жирмунский называл Брюсова романтиком[5], Сакулин — символистом[6], Гроссман — поэтом типа парнассиста[7], Луначарский считал его рационалистом, увлекающимся классицистическими традициями стихосложения[8]. Формалистическое направление подчеркивало новый подход Брюсова к выразительным средствам языка[9], а социологическое литературоведение считало, что поэт не нашёл выхода из старого мира[10]. Бесспорно, что каждое мнение заключает долю истины, но достоверный портрет Брюсова (также, как и Бабича) можно создать только при учитывании многосторонности его творчества и при определении природы сосуществования в нем различных элементов.

[4] V. Setschkareff. The Narrative prose of Brjusov, *International Journal of Slavic Linguistics and poetics*. 1959, Harvard University Press, pp. 249—250.

[5] Жирмунский. Брюсов и наследство Пушкина, Петербург, 1922.

[6] Сакулин. Классик символизма. Сборник статей, Москва, 1924.

[7] Гроссман. Брюсов и французские символисты, Сборник статей, Москва, 1924.

[8] Печать и революция, 1924, № 6.

[9] Тынянов. Архаисты и новаторы, Ленинград, 1929.

[10] Полянский. О В. Брюсове, Москва, 1927.

Даже при первом чтении Брюсова бросаются в глаза многочисленные черты сходства его поэзии с творчеством М. Бабича. Одни латинские или французские заглавия стихов, сборников много говорят об авторе. Вот названия его сборников, быстро следовавших друг за другом: «Juvenalia» (1892—1894), «Chefs d'oeuvres» (1894—1896), «Me eum esse» (1896—1897), «Tertia vigilia» (1898—1901), «Urbi et orbi» (1901—1903), «Stephanos» (1904—1905) и т. д. Общая черта в Бабиче и Брюсове — аккуратность, культ формы, обработки.

М. Бабич с некоторой горечью противопоставляет свое мастерство поэтической формы поэзии Э. Ади, стяжавшего более громкую славу:

Ezek hideg szonettek. Mind ügyesség
és szenvtelen csak virtuozitás.
Bár munkában manapság nincs nemesség,
ez csupa munka, csupa faragás.

Ha költő, ki lázát árulja: tessék!
itt állok cédán, levetkőzve! láss!
ez nem költészet; de aranymüvesség!
s bár nem őszinte, nem komédiás.

(В подстрочном переводе: Это — холодные сонеты. Они исполнены искусности и бесстрастной виртуозности. В отличие от практики нынешних поэтов, в моих сонетах все отработано, все отшлифовано. Смотри на мое творчество! Я его не скрываю. Может быть, оно не поэтично, зато изящно, как шедевр ювелира. Пусть оно не искренно, но зато серьезно.) Придавая столь важное значение шлифовке, обработке стихотворений, М. Бабич как бы старается оправдать свои художественные устремления перед будущностью. В стихотворении «Юному поэту» Брюсов завещает потомству три правила. Во-первых: поэт не должен жить в реальном мире, во-вторых: он должен любить только самого себя, и, наконец:

... поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.

Во многом напоминают нам стихи Бабича строфы «Сонета к форме», где поэт

Упьется... и стройностью сонета,
И буквами спокойной красоты.

Последние строки цитированного выше произведения «Сонеты» М. Бабича могли бы органически войти в стихотворение В. Брюсова:

Ki hajdan annyi szívek kulcsa voltál,
Szonett, aranykulcs, zárd el szívemet,
erősen, hogy csak rokonom nyithassa.

(В подстрочном переводе: Ты, кто когда-то был ключом стольких сердец, сонет, золотой ключ, закрой моё сердце, крепко закрой, чтобы только родной смог его открыть). Отличный пример индивидуализма и интеллектуализма поэта — стихотворение «Я»:

Мне сладки все мечты, мне дороги все реки,
И всем богам я посвящаю стих.

М. Бабич также старается пережить все и противоположности всего: и благоговение и эротику, и веру, и атеизм. Брюсов иногда видит последнее спасение в загробном мире, и в другой раз он обращается за помощью к матери-земле:

Помоги мне, мать земля!
Ты, всему живому мать.

Подобным образом у него иногда звучит одновременно и обожание женщины, и несдержанная эротика, как напр. в стихе «Женщине». В одном стихотворении («Strófák a wartburgi dalnokversenyből»), М. Бабич своеобразно выражаей крайности своих любовных переживаний: о застенчивой, стыдливой неземной любви поет Вольфрам, а песнь о буйной, страстной любви он вкладывает в уста Тангейзера. В стихотворении «Женщине» В. Брюсова есть одна строфа, которая органически вошла бы в некоторые стихи М. Бабича:

Ты, женщина, ты, книга между книг.

то есть он возводит на одну ступень своё поклонение книгам и чувство любовного угара. В венгерской литературе М. Бабич или Д.Юхас писали стихи настолько в духе парнассистов, как в русской литературе Брюсов, напр., «Данте в Венеции» ,«Юлий Цезарь» и др. Наилучшие парнассистские стихотворения М. Бабича («Zrínyi Velencében», «Hegeso sírja», «Héphaisztosz», «Homérosz», «Pictor Ignotus») в отношении художественного уровня равны наиболее совершенным стихотворениям В. Брюсова. Разница лишь в том, что в стихотворениях М. Бабича темы человеческой культуры неизбежно пронизаны мощью личности автора. В. Бюрсов более холодный, артистичный, а Бабич — вопреки всей своей искусственности — проникнут беспокойством, огнем. «Юлий

Цезарь» В. Брюсова завершается неожиданной концовкой, крылатой фразой, подобно стихотворению о Шекспире Д. Юхаса:

Довольно споров. Брошен жребий.
Плыви, мой конь, чрез Рубикон.

Следуя любимому бельгийскому поэту Верхарну, Брюсов выступает первым певцом города («Городу»), так же, как в Венгрии впервые М. Бабич избрал темой своей поэзии «световой двор». Но Брюсов не только любит город, он и презирает мещанскую сытость, также, как и Бабич много раз сознательно нападал на медлительных мещан, на их пошлые вкусы.

Довольство ваше — радость стада,
Нашедшего клочок травы.

— пишет Брюсов в стихе «Довольным». Поэт часто упоминает о своей «башне из слоновой кости», служащей ему убежищем от событий ежедневной политики, и он тоже ждёт от революции, от народных масс всеуничтожающего сметения старого мира («Грядущие гунны»). Вопреки самообману буржуазного общества, Бабич ждёт решения общественных проблем также от «грядущих гуннов», от пролетариата, хотя одновременно опасается за судьбу культурных ценностей мира после победы масс:

Jöjjön az elhazugolt életre halálos igazság,
lesben az utcákon álljon a kósza halál;
minden mindegy már! zúgjon fel a tengerek alja!
hányódjon fel a genny! jöjjön a forradalom!
Jöjjön a barbárság! jöjjön legalább az igazság,
annyi hazugság és elmulatások után.

(В подстрочном переводе: Пусть придет смертельная правда в жизнь , полную обманом. Пусть сторожит по улицам блуждающая смерть. Теперь все равно! Пусть взмутится дно морей! Пусть бросится вверх гной! Пусть придет революция! Пусть придет варварство! Но тогда неминуемо придет и долгожданная справедливость, после стольких неправд.)

Очень много сходных черт можно найти и в прозаических произведениях Брюсова и Бабича. Вопреки своему доминирующему рационализму, оба они увлекаются историческими темами мистического колорита. Но их уход в прошлое дает им возможность выказать свою блестящую образованность. Роднит обоих поэтов и то, что в прозаических произведениях на историческую тему они во многом идут за Анатолем Франсом. Интерес к психологизации, к изобра-

жению странных, упадочных характеров проистекает из мира начала столетия, ошеломленного учением Фрейда.

Расширив подбор материала, конечно, можно было бы умножить количество аналогий. Но, пожалуй, и эти вышеприведенные данные могут создать представление о личностях, интересах, творческих методах двух поэтов-современников. М. Бабич, обходя Ш. Петефи и Я. Араня, сознательно обращается к творчеству М. Верешмарти. Особенно сближают его с великим поэтом эпохи реформ поэтический язык и элементы стиля романтизма. Но не только Бабич, а вся т. н. «литературная оппозиция», которая считала балластом «классико-реалистический» эстетический идеал Араня и Дюлаи, ставший обязательным к началу столетия, всё время искали в романтизме новых художественных восможностей выражения (напр. Комяти). Такая тенденция особенно усилилась, когда новые направления в литературе нового столетия и сами создали искусство романтического характера. И Брюсов, оставаясь символистом вопреки романтическим чертам своей поэзии, в двух своих исторических романах оказывается собственно романтиком, вернее его проза содержит много таких стилистических и философских элементов, которые доказывают общность этих двух направлений.

3. Исследование романов Брюсова тоже доказывает, что романтизм и символизм очень близки друг к другу. Специальные черты и тождественный характер с общими чертами символизма романтических исторических романов, созданных поэтом-символистом в духе романов Вальтера Скотта, могут привести к выводу, что о символизме можно говорить пожалуй и в отношении прозы, романа. Представители русского символизма Брюсов и Блок во многом являются наследниками романтизма. Помимо романтических и символистических черт романов Брюсова в них можно найти и такие свойства, которые характерны как для символизма, так и для романтизма.

Жанровые и стилистические особенности прозы мировой литературы конца XIX — нач. XX вв. еще недостаточно выяснены. Английские литературоведы утверждают существование символистического романа на рубеже этих столетий. В числе русских исследователей пожалуй Михайловский рискует высказать подобное утверждение в связи с романом «Петербург» А. Белого. Касательно развития венгерской прозы принято говорить об элементах символизма, напр. в прозе Д. Круди, хотя в такой же мере можно это отнести и к творчеству М. Бабича. Фрейдистские начала, символистический главный мотив и иррационализм в романе «Халиф-аист» родственны романам Брюсова также, как и субъективные элементы новеллы «Мифология» М. Бабича. Мотивы фрейдистского психоанализа обнаруживаются в «Огненном ангеле» так же, как и в стихотворении «A vár fehér asszonya» Э. Ади и в произведении «A kékszakállú herceg vára» [«Замок герцога Синяя борода»]. Б. Балажа, где таинства души как бы проектируются в пространство.

О родстве романтизма с символизмом относительно венгерской литературы принято упоминать в связи с лирикой конца прошлого столетия. Несомненно, что не только Комяти, но и Вайда обращаются к романтизму первой половины XIX века. На стилевой романтизм, близкий сецессиону Э. Ади, уже обратил внимание известный венгерский филолог Янош Хорват. Такое переплетение романтизма с символизмом «над головой» реализма внушает одно соображение относительно периодизации. А именно (и об этом Имре Бори неоднократно высказывался): раз романтизм и символизм явления настолько родственные, то эти два направления вместе с промежуточным реализмом составляют один период в развитии стилей в венгерской литературе. Таким образом, современная (модерная) венгерская литература начинается действительно в период первой мировой войны выступлением авангардного круга Л. Кашшака. Конечно, мы считаем неприемлемым утверждение, согласно которому создателем и самой выдающейся фигурой венгерской литературы XX века был Л. Кашшак. По таланту, всеобъемлемости, литературной значимости мы должны считать обновителем венгерской литературы Эндре Ади. Но учитывая символистический стиль, он все-таки явился в XX веке запоздалым явлением, и хотя существует большая разница между деятельностью Эндре Ади и журнала «Нюгат», а также литературой предыдущих периодов, они по стилю все-таки связаны друг с другом.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 103—112 1971 Debrecen

The Last War in Present Literature
(On the basis of contemporary Soviet and German short prose)

L. JAGUSZTIN

The struggle for life is a renewed basic experience of today interest in the past. The theme is traditional. History—sad to say—has been only too anxious to provide new material in the horrors and sufferings of the World War. Annual Remembrance commemorating victories provide constant inspiration for new treatments depending on perspectives and the manner of approach.

The shift of public or a commander-in-chief's view of the heroism of triumph towards the more proportional analysis and conceptual dissolution starts at about The Fate of Man (Sholokhov). Lawful and conscious patriotism as an invariable principle still directs the course and immediate appreciation of the stories, it is only the perspective that "goes around" the main figures and allows them to speak of their individually common fortune in war. The levels of patriotism that demand action appear in a wider sense; they are cut out for the personality and the possibilities more accurately. The greatest chance, heroic death, is not the only proving motive, although this kind of solution is not denied. Lieutenant Travkin of M. Kazakevich and his comrades would like to survive, but after executing deeds of great daring they are not allowed to and they die with the complete preservation of their human dignity, in the short novel "Star". The heroism of their deaths is sanctioned by the compelling demand of a righteous war.

An unchanged characteristic feature is the stirring nature of the plot. On the one hand, it is demanded by the theme being full of action, on the other hand, the majority of works choose the synchronizing recollection, in which it is difficult to avoid word-by-word revival. Thus, among the topics of contemporary literature this is the most vivid and the most traditional in its structure; its questions are dominant and sensitive; they adjust the representation to themselves.

Works have been produced about every episode of the war from the embittered defence of the first days up to the magnificent efforts, decisive victories, and the verification of the Nazi leaders' deaths. The plotting of the stories can usually be typified; the circumstances and difficulties of concrete war affairs give the external frame into which the different problems of the main figures are introduced.

The short novels may decrease the number of constituent elements and the section of life represented, the number of action episodes, but they do not renounce them. The epic dimension of Ehrenburgh or Simonov, the totality of a chronicle, characteristic of the earlier years is counterbalanced by the more investigatory and analytic nature of the questions introduced. While works written during the war were meant to propagate and give new strength, the later ones give praise to their achievments and reverence to their memory. The task of the present is pragmatism, both in acknowledging and in appreciating. Facts already fixed become rewritten; new relations and viewpoints emerge. The outer chain of action gets refreshed in this respect and carries more than it did earlier. In consequence of its enriching functions the elaborateness and perfection of certain questions are not always clear, overlapping may strenghthen and cover the tendencies of one or the other, and the unravelling may demand a lot of the reader's energy, especially if one sticks to setting up the evidences of unequivocality.

The main hero of the "Plants on the Rock" recalls the battles, the first year of the war when they had to fight as stubbornly as the plants on the rock do for their survival. Besides the above parallel, this short novel, published in 1965, deals with thoughts behind the events: whether death is the criterion of heroism, whether conscious heroism decreases the value of human life; who is responsible for the soldiers'death, who is responsible for another's life; whether the possibilities of tragedy are given, whether the devastations of the war years may be approached from this direction. "Tracing" the dependence of effects upon causes in the connection of situations the author goes back to the state of affairs in the middle of the 30-ies. It is from there that he develops the prime mover of the story beyond the events, just as G. Bryantsev does in his highly successful story of Trapeznikov and Bragin, where it is the chronological mercilessness of diaries and notes that arranges the active forces. The figures put into action realize a certain possibility. Bartashov is able to submit to the requirement of the moment, while Garanin's deeds are misdirected by fear.

V. Kurochkin arranges the events connected with the soldiers thrown into battle with a similar restriction. He shows how lieutenant Maleshkin provides evidence of his courage and inspires the respect of his soldiers. A splinter puts an end to his life, although he has just become a hero in his comrades' eyes. Death is accidental in battles; it does not represent the logical consequence

of any chain of action; it may come at any moment. It is still the climax of the series of episodes and, despite its unexpectedness, its preparation can be observed in the sequence of creative intention. The moment and manner of annihilation is always a somewhat planned appreciation of the hero's behaviour, and, strangely enough, it is death that gives value to life. The outer characteristics and circumstances of the early events often coincide. Repetition is unavoidable. Their weight depends upon the effect exerted upon the acting person. The destruction of a tank may be mechanical routine work, which the soldier might even forget, but the influence of the first killing which is always upsetting and questions the validity of inner scale of values, may leave a deep impression on his mind. V. Nekrasov's young soldier in the short novel "The Second Night", getting to the front at the age of 18, does his best to adapt himself to his unit. The environment is cheerful, the battles proceed towards victory. In a night operation he kills for the first time, and the immediate experience seems to make him hate all that he has been able or wanted to do; in wars it is always man that is killed. Okudzava's recruit puts this problem into words and makes it universal with a shocking emotional outburst of half-childish sincerity. "Help me! Save me! I don't want to die. A piece of lead into my head or heart and all done with! And my warm body will never be warm again!" The soldiers of Y. Bondarev's "The Last Discharge" also recognize and know that it is not this army that lives to see the victorious end of the war. A. Novikov, Vochinnikov, Remeshkov, Plyoshin do not want to die in the days of triumph they have suffered for; the responsibility assumed for sacrifices will be stronger. Thus, the awareness and experience of risk condenses in the moment of death. The distance of recollection can be felt; the problem taken in general is akin to that of S. Krutilin's "Lieutenant Artyukov". In it, too, the story of one single figure occupies the centre of attention, as does Spiridonov's fate in A. Tubin's "Wolf's-Bane."

A frequent element of war situations is the question of decision, that of action without hesitation, whether as a sacrifice made for victory or for saving lives. The solution of the intensified character of the event serves as a prelude to a new chain of action, but the impulse imposes a burden on the initiator. The reader can draw conclusions from how he bears it, as V. Bikov appreciates the behaviour of his hero during the efforts made for occupying the height, in the story of Varzyukov arranged in a direct order.

Bikov, who was a soldier himself like many of his fellow-writers Bondarev, Sholokhov, V. Panova, Baklanov, Simonov, Nekrasov among them, devotes a number of works to his experiences and problems, which unite into something like a cycle of thoughts in the corresponding versions of actions. A certain polarization of thematical interest is to be observed recently. There are points of historical chronology that contain and offer favourable possibility for introducing new aspects, leading to new questions. The activity mechanisms

and power relations of different periods are various, and the deeds carried out in modified situations get another kind of evaluation. Nevertheless, the developing and variational manner of building up a story, as well as its closing in the series of causes and effects in the traditional proportions, remain.

In his "Remote Shores" Y. Kuranov starts the story from the moment of the outbreak of the war, and so does Baklanov in his "July of 1941". In the beginning there are a number of sacrifices. The author enumerates a series of momentums and events in order to lay the foundations properly. Besides the lack of experience the cause of the losses is unpreparedness and a superciliously nonchalant way of looking at things. The sequence of events determines the wording of the lesson; the question of why and that of responsibility has to be raised. Besides temporal order the unity of single passages s achieved through the heroes' meditations on this subject. The investigating eye is cast upon the activity of the upper command, where it seeks a satisfying answer to its problems. Kaverin's post captain and the chief characters of the works dealing with the beginning of the war, act in a similar way.

Bikov's Ivan meditates in such a way: "He has always dreamt the same dream; he has lived through the horrors of one day of the war for more than a year almost every night. His dreams have arisen from the totally real and heavy atmosphere created by the retreat." The final element is frequently the considering of Stalin's wisdom as a commander-in-chief. In lesser works often appears the figure of the intelligence agent forecasting the beiginning of the war and unwillingly verifying that the fascist invasion was not unexpected by the upper command. These questions have not been made clear unequivocally by the great number of memoirs by field-officers that have been published lately and are of a documentary character.

The sacrifices or heroic deaths of the figures acting in the decisive battles not only raise questions but afford proofs, too. They confirm the characteristic existence of patriotism going back to historical examples. The struggle is going on between a foreign army and a people worrying about its country, and the people has always proved to be stronger than the army. Works dealing with the partisan movement are also written in this spirit. The plot is founded upon the assumption of risk and inventiveness, often at the expense of a more sketchy description of the heroes.

In the thematic possibilities of approaches there often appears the use of the pause of events. The tempo of the plot slows down in the intervals between the battles or in the situations removed from the struggles. The states of affairs become more constant and durable. The scenes and connections often speak of the war in the language of peace and a normal way of life. The war is often seen through the eyes of a child, youth or woman. A. Rekemchuk's little Rimairov understands certain correlations through the connection of his mother and Hans. These correlations become emphasized by the simplicity

of the logic of a child's view. In "The Polish Girl" V. Bogomolov spends the time of a relatively peaceful posting sketching the birth and death of a naively melancholic love. They must march on; the farewell kiss is the first the lovers can exchange. History is insensitive to them; their connection, that has not even come into existence, remains an eternal memory for the main hero from the current of the war. Colonel Polinin gets acquainted with Galina Petrovna in the field-hospital. Their attachment is born and passes away in a comparatively free moment of the war. In the mean time the author, Simonov, who is an expert in the theme, gives answers to a number of questions.

In the "Ballad of the Alps" Ivan and Giulia find each other in a flight full of tension. Their love is eternal even in its hasty, pressing way; it is a peaceful idyll denying war in general. The author builds upon these situations of dual rhythm which exclude each other and still coexist. The interchanging phases of the plot make a series which is of human and non-human character. The contradictory points of the plot gain an intellectual and emotional confirmation in the relation of the ephemeral and the eternal, the possible and the compulsory. And, if this composition were not dissolved by the series of memories, in which the hero thinks of home and which are inserted with the aim of accomplishment, it would be the most succesful work of recent years on this topic. I. Meras condenses the energy, which is able to counterbalance the opposing forces, into the touching figure of a simple girl. He revives a new motif and brings it up-to-date by means of the events built around it; in the wave of destruction the figure of the mother defending her children's lives becomes associated with life-giving, the symbol of the survival of the future. The plot is founded upon the close relation of this contradictory struggle, and it is finished by the triumph of human life, providing an answer to the question: what holds the world together? No more questions are asked by the author, although the thought which shapes the plot rests upon the questions put by the reporter, but the writer neglects to say what they are and gives only answers, and then repeats the question in the story's title. The whole story bears a superficial resemblance to the shocking lot of the heroine of Franz Tühmann's short novel "Bohemia on the Sea."

The removal of concrete war events is more and more frequent in our time. The retrospective way of seeing things of today must be enforced and idealization is perhaps stronger with the special arrangement of events. The basic type of solution is the use of the recollection of the memory. The remembering mind presents the facts of those days in their proper grouping and appreciation, founding the reasons for the present-day actions on the times of war. The two series of events are not equal in value: the concrete war episodes synchronized with the time of representation are of secondary importance or have a character of framework, the presentation of the older episodes being more essential. The intertwining of the two can produce more interesting

changes of effects not only by means of play with chronological order but also by the possibilities and contrasting of correspondences.

In V. Revenov's short novel "White Stone" Loshchin goes back to the scene of a war event and looks for a white stone in the brook as he means to find a nice girl from the old times starting from there. In the meantime he draws up the leading motives of the past in details before the reader and tries to analyse them from the viewpoint of man's emotional relations; prosperity, happiness, love attached to the individual and as a function of the measures taken by history. He attempts to find his lost love to accomplish the missed possibilities of his life.

Andrey Steptsov travels from far-off Siberia to the capital to tell about his commander to the latter's wife, who left him and probably rejected him. Everybody seems to have the necessary good-will in her case, but Kazakevich directs the events so that all of them pass a disapproving judgement. Nechayev, the husband, was an excellent man and soldier, even his memory should not be debased.

E. Vasilyevna's little son has fallen ill. His life is saved by a German military surgeon in 1941.[22] After the operation Weber visits the child several times, and thus a mutual attachment develops during the war. Ten years later she thinks she recognizes Weber in a Polish delegation and she reports it to the intelligence service. As a result of the investigation the member of the delegation turns out to be another person. In the woman's soul the upset tranquility can be reestablished; her feelings toward the doctor are right; she did not compromise herself; she can remember the German doctor as a real man and not as a hypocritical enemy. The writer, N. Dorizo himself sums up the lesson about love as naturally inseparable from human life, and about war as the unnatural manifesation of man's essence. The enemy can also be a man first of all or a traitor without principles.

V. Amlinsky measures the strong influence of the events which are raging far from the hinterland on the speed of Seryozha Ostrovski's growing up. These events inter-connect the lives of all the characters in one way or another. He makes his hero scrutinize his inner self; he makes the child solve the kinds of problems which require a grown-up's power and activity.

Where are you, Liza? The question is put by B. Yevgenev regarding his heroine's fate. Liza gets into West Germany, writes desperate letters, but she cannot get away, her letters become rare and finally stop. Her brother to whom the letters were written, ponders her life over carefully. The reader obtains the material necessary to compile the story as a whole making it up with the published meditations of the heroine.

Yevtushenko has also made an attempt to appreciate the significance of the war events that are influential even today in his short novel Pearl Harbor. Greaves, who lived through the tragedy as an eye-witness, flies back and

remembers the events. Among his fellow-passengers he gets acquainted with a Japanese who turns out to have been one of the pilots attacking the harbour. The series of actions thus started provides an opportunity to make comparisons and to have experiences which have different bases. They also influence the recipient. Each episode of the events relates to the war in some way. The situations of various constructions are opportunities one by one for the main hero to express his deep and angry opposition, his active protest, that even takes the form of violence. He acts in the name of the right of human dignity, which was debased by the war. The judgement of values was determined by momentary position, often turning the scale of values of humanitarianism on its wrong side. Thus the proportions of representation have been rearranged; the monumental character of things has become more humane; hatred has calmed down into thought; heroism has improved into sacrifice; man and soldier speak at the same time; fear is a forgivable feeling. Victory over fascism is a warning and reminiscent fact.

Our age should not allow it once more and should not forget that the criterion of a peaceful life is the sacrifice of those who took up arms for it and created it. In one of the scenes of "Ticket with Stars" the author breaks up the seaside idyll without commentary and directs our attention to a board: "19 years ago. ...two years before their birth... the jv-88 aeroplanes sent a ship sailing under Red Cross flag to the bottom." The aim of the small picture inserted with montage-technique is unequivocal: it refers to the past which is present in every detail in our time, and historical experience requires conscious use. These thoughts put into words more accurately or generally can be heard in the topics of today, usually in similar arrangement.

After interrupting the events at a point, they are discussed by the main hero or the writer himself. "While we were growing up there was a war and almost 50 million people died. They died for defending our lives and future." Aksyonov and Kazakov have chosen a looser form. They have changed the proportions of exchange and those of imagined and real occurrences in the past in favour of imagination and past. The motives of the past revive in mental action; their fixed order and logical structure can be referred to and analysed. Their original linear supervention can be rearranged according to the questioner's intention, but they do not reach the elemental complexity of the short stories where the reproducer has been objectified in a similar way. It is in this field that their intention can be associated with the production of European contemporaries. War is an anti-human, abnormal manifestation, a disease and its burden has to be endured by living human beings.

Before H. Böll's short novel "Where were you, Adam?" one can read the following quotation in the epigraph: "...Nevertheless, war is not a real adventure just a sort of substitute for it. War is a disease like typhus is."

War is only an alibi for Adam before the Creator; man has disappeared, he is dissolved in the events, his principles have burned in it.

West-German literature has realised an especially rich and interesting artistic adaptation as far as it has been obliged to do so by immediate experiences and responsibility. Interest is created by the contrary way of approach. The normal position of the authors coming from nations which defended themselves righteously is more uniformly natural, because their experiences are also different; the contradiction has external and internal poles. Taking the consequences of deeds imposes a burden on them only in an indirect way; relatives as a positive programme; accusation requires a verdict only in the relation of activity.

H. Böll, G. Grass, H. Frick, W. Koeppen and others make a national problem universal in the name of the justice of some more general idea. The criticism started from a greater distance finds its expression in a national slant and inner alternatives, although it is not confined to narrow nationalist frames and tries to disintegrate the responsibility of a whole nation in the loneliness of individual deeds. There are only war crimes and personalities accused of them; the ideological setting does not have a wide socio-philosophical basis. The humanitarian programme of the members of the Group-47 that was established at the end of the forties is consistent, but it does not go beyond the level of a citizen wanting to think. This is just a fact, and it does not mean a decrease in the values of realization.

The choice of the subject does not insist on evoking war events synchronically; it appears more often and more carefully than the past pushing itself forward. In "Billiards at Half Past Nine" Föhmel flashes the fate of his family and that of the whole of Germany in the real history of a single day. His hurt mind starts to speak in a kind of forced confession and it overwhelms us with the spiritual processes of his personality. The sections that can be put together in a chronologically correct order form a burdened character. The introduction of times of starting and times of directing the action can be accounted for multilaterally and their arrangement is calculated. Real history can be approached in a more precise way from the present. To realize and to form a judgement need perspective. In this elaboration personality can be doubled; its intellectual picture can be more complicated. The authors are able to bring about greater tension by playing with the effect of present and past, right and false, deed and thought, accusation and absolution, in which the succession of present and thought — past and deed shapes the plot. (H. Böll: Away from the Troop, Jakov Szürd: The Wooden Soul, Peter Weiss: Three Go and Talk.)

The analysis of deeds often results in a moral protest against the value-destroying horrors of war. This protest is first of all a mentally disapproving one. In the "Cellar Dwellers" H. J. Fröchlich writes that the possibilities of

liberated material instincts saturated with enforcement distorted the world, that used to be under the control of human sense, into one of mysterious proportions. The events, changed into the "danse macabre" of contorted logic, will consume their cause and ravage without restraint.

In "Cold Days" the series of events depict a similar revelry and look for those responsible. Military hierarchy is able to decline responsibility by defending itself with the excuse of "the force of command," but man, meeting himself, cannot avoid answering.

In L. Fuks's short novel Mr. Mundstock prepares himself consciously for the expected events. This reversed standpoint provides peculiarly horrible possibilities for the reader to indulge in introspection. The little man, an old Jew, is accompanied by two fictitious beings. The dividing lines of present, past and future, as well as those of outer world, actual facts, and visions of remembrances, grow indistinct by their motion. The wicked Mom and the gentle dove, as the contrasted points of the given part of the world, hover around his figure, their motion accumulates the preventive material against sufferings and the tranquility of ethical contemplation. Thus he dies, having been run over by a military lorry, in the spirit of the dove.

Perhaps the most impressive elaboration of suffering is given by Jorge Semprum in his short novel "The Long Journey". Intellectual torture is perhaps more horrible than the distortion of senses and emotions.

The revolt of memories is often rather aggressive. They keep the deeds of their holder moving, and do not satisfy with passive appearance. They stimulate to atonement, although this is not always a success, as official present-day society does not afford an opportunity for atonement. Bernitzer is nowhere paid attention to, because his confession would touch many of his lurking contemporaries on a sore spot. Although Hans Frick does not promise absolution, he contemplates his torturing will with sympathy; he considers his behaviour more valuable than unprincipled hiding. W. Koeppen's hero commits suicide under the indivisible moral weight of his deeds, as present-day conditions keep on reminding him of them. And when the hero is ready to forget, others remember. In G, Steiner's short novel Folk, who has returned to the scene of his war crime, is arrested on his wedding day by people who suffered much at his hands. Mr. Nietschke visits his neighbour and cultivates his tiny garden peacefully and precisely. One day a strange visitor arrives and he has a queer dream. The investigation is discontinued, but on hearing the announcement the reader does not resign himself to the correctness of its reasoning. There is a strong wish in him for identification, and after making it he cannot declare his hero not guilty and the latter is also unable to clear himself of the accusation. Duality suggests pathological deformations and abnormal bestiality under the gentleman-like cover.

Although—as seen from the examples—the experiences are different, the series of events does not close with triumph and the deeds are opposing; nevertheless, the intention of representation is common. The ultimate purpose is to keep human sense awake in order to avoid answering the question "Where you, Adam?" in a way already known.

Literature: В. Аксенов, „Звездный билет", *Юность* 1961 (6-7). — V. Amlinszkij, *Felhők a város felett* [Clouds over the City], Bp., 1968. — G. Baklanov, *1941 júliusa* [July of 1941], Bp., 1966. — М. Баринев, „Листья на скале", *Молодая гвардия* 1965 (5-6). — Vaszil Bikov, *Alpesi ballada* [Ballad of the Alps], Bp., 1968. — В. Быков, „Атака с ходу", *Новый мир* 1968 (5)., V. Bogomolov, *A lengyel lány* [The Polish Girl], Bp., 1966. — Ю. Бондарев, *Последние залпы*. Москва, 1959,. — H. Böll, *Ádám, hol vagy?* [Where were You, Adam?], Bp., 1969. — H. Böll, *Biliárd fél tízkor* [Billiards at Half Past Nine], Bp., 1965. — G. Brjancev, *Vékony jégen* [On Thin Ice], Bp., 1966. — Cseres Tibor, *Hideg napok* [Cold Days], Bp., 1965. — H. Доризо, „Измена", *Москва*, 1966 (2). — Kornel Filipowicz, *Nietschke úr kertje* [Mr. Nietschke's Garden], Bp., 1969. — Hans Frick, *Breinitzer vagy a másik bűn* [Breinitzer or the Other Vice], Bp., 1967. — H. J. Frölich, *Pincelakók* [Cellar Dwellers], Bp., 1958. — L. Fuks, *Mundstock úr* [Mr. Mundstock], Bp., 1968. — A. Glagyilin, *Az új év első napja* [The First Day of the New Year], Bp., 1966. — *Hárman mennek, beszélgetnek* (Mai német kisregények) [Three Men Talk] (Present-day German Short Novels), Bp., 1966. — В. Евгенев, „Где ты, Лиза?", *Москва* 1968 (10). — J. Jevtusenko, *Pearl Harbor* [Pearl Harbor], Bp., 1969. — V. Kaverin, *Hetvenhét ördög* [Seventy-seven Devils], Bp., 1964. — М. Казакевич, *Звезда*, Москва, 1956. — E. M. Kazakevics, *Napvilágnak* [Towards Daylight], Bp., 1965. — Wolfgang Koeppen, *Melegház* [Conservatory], Bp., 1963. — С. Крутилин, „Лейтенант Артюков», *Москва*, 1968 (10). — В. Курочкин, „На войне...", *Молодая гвардия*, 1965 (8). — Iochokas Meras, *Mit tartja a világot?* [What Holds the World Together], Bp., 1966. — V. Nyekraszov, *A második éjszaka* [The Second Night], Bp., 1964. — B. Okudzsava, *Sok szerencsét, pajtás* [Good Luck, Pal], Bp. — A. Rekemcsuk, *Ne felejtsd el, fiam* [Don't Forget, My Son], Bp., 1966. — В. Ребунов, *Белый камень*, Москва, 1966. — J. Semprun, *A nagy utazás* [The Long Journey], Bp., 1965. — K. Szimonov, *Polinyin ezredes szerelme* [Colonel Polinin's Love], *Nagyvilág*, 1970 (23). А. Тубин, „Молоко волчицы, *Октябрь* 1968 (7).

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 113—120 1971 Debrecen

L'expérience de la deuxième guerre mondiale dans quelques ouvrages de I. Naguibine

J. A. Matyi

Iouri Naguibine appartient à la «quatrième génération» des écrivains soviétiques, c'est-à-dire au groupe qui a fait ses débuts littéraires pendant la deuxième guerre mondiale. Il est bien évident que cette circonstance possède un caractère déterminant pour toute l'activité de cette génération. Il suffit de rappeler les noms de Viktor Niekrassov, de G. Baklanov, de I. Bondarev ou de Viktor Konietski — tous des auteurs qui retournent constamment aux expériences fournies par la guerre. Mais cette présence permanente de la guerre dans la littérature soviétique d'aujourd'hui n'est pas due seulement à des souvenirs autobiographiques des écrivains de la troisième et de la quatrième génération: elle a aussi des raisons qui relèvent de la politique, de la psychologie sociale et de la conception du monde. Il existe une sorte de besoin social, dont le temps ne diminue pas l'intensité: on veut avoir le plus de renseignements possible, et avec le plus de précision possible, à propos de la deuxième guerre mondiale, qui a apporté des changements radicaux dans l'histoire de l'Union Soviétique et du monde entier. La littérature cherche à découvrir avant tout les effets moraux de la guerre, qui atteignent à la fois l'aspect biologique et l'aspect spirituel de l'homme. Le courage humain né des circonstances extraordinaires de la guerre, la persistance dans le devoir, la tournure que prennent les relations humaines dans cette situation constituent déjà des sujets classiques pour la littérature mondiale elle-même (Eric Knight, Hemingway, Vercors). Certains complexes de problèmes (le caractère juste ou injuste d'une guerre, la responsabilité) sont soulevés d'une manière spécifique dans quelques récits de Salinger (Lorsque les poissons de banane mordent, Le vieux Frétillard à Connecticut, Histoire vulgaire avec affection à Esme) et, dès 1948, dans le roman à grand succès de Norman Mailer, Les Nus et les Morts.

Le premier récit de Iouri Naguibine paraît en 1940. Dans la période de sa carrière qui s'étend jusqu'au début des années 50, donc pendant plus d'une dizaine d'années, il puise la plupart de ses sujets dans l'expérience de la guerre. Dans ses premies volumes (Челобек с фонта [Un homme du front,], 1943; Большое сердце [Un grand coeur], Дбе силы [Deux forces], 1944) tout

comme dans son premier choix de récits important (Рассказы [Récits] 1953), on ressent très fortement l'infuctie *directe* de cette expérience, par rapport à laquelle l'auteur n'a pu encore prendre ses distances. Le héros de Naguibine se meut dans la guerre comme dans son élément; pour lui, c'est le milieu par excellence où il vit et agit. Ses traits de caractère, ses rapports humains set ses conflits n'ont de l'importance pour l'ateur qu'intimement liés à la guerre. L'action se réduit à un épisode: au lieu de présenter un processus. l'écrivian en saisit tel ou tel momet considéré comme important, il décrit la situation instantanée. Le caractère des héros ne se développe pas devant nous: ils n'ont que la possibiltté de faire preuve de quelque qualité humanie fonnamentale (comme la modestie, le courage, la discipline. la solidarité). Les personnages de cette période se meuvent sur un seul plan et ils correspondent comme à autant de variations sur un même thème initial: l'héroïsme de l'humble militaire soviétique. La guerre appartient encore à un passé tout récent, il est donc bien naturel que l'auteur soit attentif avant tout à l'attitude héroïque provoquée par les circonstances historiques spéciales. Ses héros sont de simples soldats de ligne, des sapeurs, des radios ou des interprètes, ces ressorts presque inaperçus de l'immense machinerie de la Grande Guerre Patriotique, mais qui s'acquittent de leurs tâches avec un courage et une vaillance indispensables à la victoire (Переводчик [L'interprète], Связист Васильев [L'officier de liaison Vasiliev], Друг-сапер [Camarade sapeur], Большое сердце [Un grand coeur], Радиосолдат [Le radio]). Dans le récit intitulé Ваганов (Vaganov), Naguibine fait connaître la naissance d'une légende, tout en analysant la manière de penser et la vie sentimentale des soldats du front.

Ces nouvelles précoces de Naguibine s'accordent bien à la conception que l'on peut se faire concernant la littérature soviétique d'après-guerre. Elles ne sont ni meilleures ni pires que les ouvrages composés sur des sujets semblables pendant ou immédiatement après la guerre. Leur principal mérite est dans l'actualité, donc dans le fait qu'elles satisfont aux exigences sociales et politiques de la période donnée. Certes, elles manquent de perfection artistique; cela a pour cause la proximité, sur l'axe sentimental et rationnel, de cette expérience de guerre, par rapport à laquelle aucune perspective historique, aucune réflexion calme et sobre n'avaient pu encore naître. Le «héros quotidien» obtiendra sa forme définitive et inimitable dans la figure classique d'Andréi Sokolov, personnage de «Condition humaine» de Cholokhov (1956).

L'idée de «l'absence des conflits», répandue dans la première moitié des années 50, et les discussions à ce propos ont laissé leur trace dans les ouvrages de Naguibine. Il représente de faux conflits, terminés par des solutions trop simples, surtout dans les nouvelles qui cherchent à découvrir la vie renaissante dans les villages d'après-guerre (Пути-дороги [Routes et chemins], Партийное поручение [Mission reçue du parti], Новая профессия [Nouvelle

vocation]). Le XX[e] Congrès du Parti opère des changements dans la littérature soviétique où certains problèmes sociaux et politiques sont soulevés sous un aspect nouveau. Les écrivains se proposent des normes esthétiques de plus en plus élevées: dans leurs ouvrages, la complication des caractères augmente et les questions morales discutées par la société se dessinent avec une netteté plus grande. A partir des années 50, l'horizon de Naguibine s'élargit aussi; pourtant, il retourne sans cesse à l'expérience de la guerre. En 1958, il publie le recueil Человек и дорога [L'homme et la route], où la guerre constitue le sujet de plusieurs morceaux (Бой за высоту [Lutte pour la colline], Второй эшелон [Deuxième convoi vers le front], Путь на передний край [Vers la première ligne] — le meilleur en est Ранней весной [Au début du printemps]).

Ce dernier récit de Naguibine n'a pas un caractère moins épisodique que les autres; néanmoins, il fond ensemble plusieurs épisodes. A l'arrière-plan, nous trouvons, bien entendu, la Grande Guerre Patriotique (et même ses moments les plus dramatiques, les batailles de Stalingrade et de Léningrade); pourtant, celle-ci n'apparaît plus comme le milieu direct des personnages mais comme un ensemble d'expériences vécues par eux en commun. Ce récit ne se fonde pas — comme les autres non plus — sur quelque sentiment tragique de l'écrivain comme serait la pitié pour des héros qui ont beaucoup souffert. Le moyen principal d'éviter ce ton a été de détacher les personnages des événements du monde extérieur et de les placer dans un univers fermé qui a ses propres lois; là — portant en eux les souffrances de la guerre —, ils subissent une épreuve morale, qui révélera les transformations de l'âme et du caractère humains, les rapports de l'individu et de la communauté, le conflit de l'humanisme et de l'égoïsme, en un mot, les éventuels effets destructeurs de la guerre.

La force dramatique du récit est augmentée par sa composition. Il est comme entouré par un cadre: le narrateur ou commentateur parle à la première personne et parmi ses souvenirs s'intercalent les images du sort et de l'attitude des divers personnages comme autant d'épisodes ou de portraits.

Le style de Naguibine est digne d'attention, tout comme la façon dont il caractérise ses héros à l'aide de leur manière de parler. C'est un style dépourvu de toute emphase, qui enregistre les faits avec une retenue presque exagérée; l'auteur n'exprime ses sentiments personnels qu'indirectement.

«Однажды я услышал обрывок разговора, приоткрывший мне жестокую историю этой девочки. Дело было глубокой ночью, когда все обитатели вагона спали.

— Прямо не верится! — говорила черненькая кондукторша. — Такая махонькая и сам из Ленинграда эвакуировалась! Как только тебя мать пустила?

— Мамы уже не было... — послышался ровный, медленный, чуть скрипучий голос.

— Ну, так папка!

— Папы уже не было! И Фенечки не было. Никого не было...

— Господи! — вплеснула руками черненькая.

— Папа Коля сказал, что у него есть дома ворон, который умеет говорить, он много слов знает: грач, греча, гром и гроб... А его еще новым научу.

— Золотце ты мое! — произнесла черненькая кондукторша и вдруг как-то странно замолчала.

— Чего вы плачете? — спросила девочка.

— Кто плачет? Глупости какие! — незнакомым басом отозвалась черненькая.»

Le dénouement lyrique (une vie nouvelle naît dans le wagon) se rattache à l'idée fondamentale du récit tout naturellement, sans aucun faux pathétique (c'est ce que souligne également le titre symbolique): la force apocalyptique de la guerre dévastatrice se brise contre le désir de vivre de l'âme humaine.

C'est au cours des années 60 que se forme le cycle dit de la Mechtchora, où Naguibine part à la recherche du rapport entre l'homme et la nature en représentant surtout des expériences de chasse. D'une façon générale, l'amour de la nature, sa connaissance pratique et un rapport intime et lyrique avec le pays natal constituent, chez les héros de Naguibine, les signes de la noblesse de l'âme, de l'intelligence et de l'humanisme le plus pur. En ce temps-là, Naguibine fait beaucoup de voyages à l'étranger aussi, dans des pays capitalistes et socialistes. Nous venons de voir que dans les ouvrages datant de cette période, il exprime son amour pour les paysages de l'Union Soviétique, pour la terre de sa patrie avec une force extraordinaire; il continue en même temps à respecter le passé héroïque et à rechercher les rapports cachés des choses. L'expérience de la guerre apparaît désormais avec une certaine distance chronologique et elle est élaborée avec une profondeur et une richesse accrues.

Un des personnages centraux du cycle de la Mechtchora est Anatolii Ivanovitch, mutilé de la deuxième guerre mondiale. C'est un excellent chasseur, un ami intime de la nature; la chasse ne lui sert pas de métier mais d'élément vital: il est un artiste dans son domaine. Arraché à cette activité, il perd le sol sous ses pieds, surtout s'il doit subir un traitement injuste à cause de son infirmité, si on refuse de le considérer comme un homme qui vaut les autres.

En face d'Anatolii Ivanovitch, on trouve dans le cycle Bourenkov, haut fonctionnaire venu de la ville, qui, en vrai bureaucrate, veut transformer à son gré les paysages et les habitants de la Mechtchora, région d'une beauté et d'une richesse particulières. Maniaque de l'ordre et avide de pouvoir, Bourenkov est un personnage répugnant. Il est même le représentant d'un type qui devient le centre de plusieurs conflits dans ce cycle de Naguibine. L'écrivain proteste contre la rigidité, touchant à l'inhumanité, de ces gens,

et s'il ne trouve pas de solution qui permettrait leur élimination définitive de la société, il parvient dans ses récits à leur anéantissement moral. Parmi les meilleurs récits du cycle, on trouve Погоня [La traque; 1962]. L'honnêteté, la force morale et le courage (qualités d'Anatolii Ivanovitch) se heurtent ici contre les forces sombres de la société, dont font également partie l'assassin récemment libéré et Bourenkov, à la pensée inhumainement schématique. La composition forme un cercle régulier: le point de départ — l'opposition d'Anatolii Ivanovitch et de Bourenkov — est identique au point final. Entre les deux rencontres, il n'y a aucune différence formelle, et pourtant elles diffèrent qualitativement: le jugement moral de l'écrivain s'interpose entre elles et rend la justice. Anatolii Ivanovitch, qui doit combattre non seulement le monde extérieur mais aussi ses propres doutes, sort vainqueur du combat au point de vue humain: l'équilibre moral est rétabli. Tout l'effort désespéré de la lutte d'Anatolii Ivanovitch se condense au moment le plus tendu, qui constitue la meilleure partie de tout le récit: dans la traque. Le style de Naguibine devient ici extrêmement mouvementé et comme palpitant, il cerne l'essentiel qu'il donne à voir avec une précision et une concision extrêmes.

«Сердце колотилось у самого горла, стертые в кровь ладони приклеились к дереву, он боялся расслабить хватку рук на перекладинах костылей. Ногу он уже не чувствовал, ступая на нее как на мертвую подпорку. А гаченая дорога меж тем шла к концу, впереди возникла сквозная березовая рощица. Они приблизились к деревне у недостроенного шоссе...»

C'est de la même période que provient le récit Придорогe, [Chemin faisant; 1960], qui cherche à découvrir, encore une fois, les effets que la deuxième guerre mondiale pouvait exercer sur la vie et le caractère humains. Conformément à sa méthode favorite, l'écrivain place son personnage principal, ici aussi, dans un milieu spécifique, qui a ses propres lois internes, et le conflit naît de l'incompatibilité de ces lois avec la constitution mentale et le caractère de l'homme. Dans При дорогe, la vie animée, au rythme rapide et vibrant, de l'auberge forme une antithèse frappante avec le comportement de la patronne Dourinda. Morose et inabordable, elle s'isole au milieu des gens. Elle se hérisse, elle cherche querelle aux autres, mais personne ne veut connaître les raisons profondes de ces allures; elle vit à côté des gens et non parmi eux. C'est à la suite d'un épisode insignifiant que le lecteur apprend la cause de sa solitude: un drame horrible qu'elle devait subir pendant la guerre. Vingt ans ne suffisent pas pour effacer de tels souvenirs dans l'âme humaine, et tout le monde n'est pas capable de les oublier. Dans notre cas, ces souvenirs exercent une influence déterminante sur le caractère et l'attitude humains. C'est ainsi que l'expérience de la guerre devient un facteur important de lla *motivation psychologique* chez les héros de Naguibine. Une solution pareile se retrouve dans plusieurs récits de Naguibine, nourris de ses voyages en Europe Occiden-

tale (Веймар и окресности [Weimar et ses environs], Неотстывший пепел [Cendres non refroidies]).

Les rapports de la partie et du tout, du particulier et du général dans les ouvrages de Naguibine et la réalisation de ces rapports dans les caractères et les conflits ont été analysés par les critiques depuis les débuts de l'écrivain. Le talent de Naguibine comporte un élément très précieux: c'est son sens qui lui permet de découvrir dans la réalité des phénomènes en apparence insignifiants, en réalité très caractéristiques, à l'aide desquels il réussit à créer l'univers moral et sentimental de ses héros et en même temps sa propre vision artistique. Cependant Naguibine évite la simplification tout comme la méthode naturaliste. La manière de voir qui le caractérise surtout à partir de la fin des années 50 le conduit à une représentation plus profonde, plus complète et en même temps plus condensée du monde. Un nouveau petit roman, paru récemment (Бабье царство [Le royaume des femmes] 1969), en fournit un très bon exemple. Le sujet n'est pas nouveau: ce n'est pas pour la première fois que Naguibine traite le courage témoigné par les femmes pendant la Grande Guerre Patriotique (parmi les récits plus précoces, cf. В избе [Dans la cabane], Большое сердце [Un grand coeur], Костыли [Béquilles], Мать [La mère]); Бабье царство est le meilleur de tous ces ouvrages: il est comme une formulation définitive, une synthèse.

La scène de l'action se trouve cette fois au village, dans un de ces villages ukrainiens auxquels les occupants allemands ont infligé beaucoup de souffrances à partir de l'été 1942. Les protagonistes sont, sans exception, des femmes (Nastia, Nadiejda Pétrovna, Komarikha, Anna Serguéievna, Marina Pétritchenkova), des paysannes jeunes et vieilles, des jeunes filles et des épouses. Naguibine a formé ses héroïnes avec un réalisme conscient, et il a su éviter tout sentimentalisme débordant — un danger en quelque sorte inhérent au sujet de l'ouvrage.

La composition du roman est digne d'intérêt: l'action se déroule sur plusieurs plans temporels, ce qui équivaut à un bouleversement de la chronologie des événements. Les chapitres 1 à 4 correspondent au présent de l'action, qui est constitué par les années suivant immédiatement la guerre; les chapitres 5 à 12 traitent l'occupation allemande; 13 à 16 la fin de la guerre; 17 à 19 de nouveau le présent. Entre les chapitres 5 et 16, les événements se succèdent dans l'ordre chronologique; cette ligne épique ne subit qu'une seule interruption, lyrique et brève, lorsque Nadiejda Pétrovna se souvient d'un temps encore plus ancien.

Le tableau douloureux et déprimant que Naguibine compose de l'occupation allemande se dégage de plusieurs drames individuels. A côté du conflit principal (la haine latente, mais prête à s'enflammer, que le village voue à l'ennemi humiliant corps et âme), on trouve des conflits secondaires aussi

(comme celui de Bolchov, l'ancien koulak, et des habitants du village; ou encore celui entre la morale petite-bourgeoise de Jan et de Marina et le dévouement héroïque de Nastia). Dans la peinture des caractères, le réalisme conscient de Naguibine est complété par les moyens de l'ironie, de l'humour et de la satire. La figure de Kaspa, l'Allemand détesté, devient satanique par la mise en relief de certains traits grotesques (comme ses jeux démentiels, inspirés par l'alcool, rappelant Don Quichotte).

Un profond humour d'origine populaire se manifeste dans le personnage de Komarikha ou au moment de l'élection du président. La représentation ironique de Nadiejda Pétrovna mendiante se fonde sur une observation très pénétrante de l'écrivain:

«Прогнали неприятеля из Конопелек, но не так-то просто было прогнать его из напуганного крестьянского нутра.»

Le style du roman mériterait lui-même une étude à part. Les dialogues sont denses, spirituels et pleins de fraîcheur. Les expressions dialectales ne servent pas seulement le réalisme du style: elles peuvent aussi suggérer toute une atmosphère, comme dans la dernière phrase du roman:

«—Я—то председатель — с легкой улыбкой сказала Анна Сергеевна, а затем произнесла слова, которые упали в сердце Надежды Петровны и остались там на всю жизь: — Да ведь ты мати!...»

Ailleurs, elles soulignent le caractère humoristique de la situation:

«Проснулся Барышок. Темно, а жены рядом нет.

— Моть!... Моть! — позвал он жалобно.

— Чего тебе? — донеслось из сеней.

— Дай рассольцу, нутро пекет.

— Нечего водку каждый день жрать! Я в поле побегла, ты уж тут похозяйствуй.

— Белены обьелась. Что я — баба?

— Куда тебе до бабы! Вот я — баба! И в поле роблю до зари, и по домашности успеваю, и за ребятами смотрю, и тебя, дармоеда, обухаживаю...»

Dans les observations psychologiques de l'auteur, certains détails de la réalité extérieure sont revêtus d'une grande importance, ce qui peut servir à créer la tension nécessaire de certaines scènes. Dans le passage cité, les Allemands rassemblent les habitants du village en vue de représailles:

«С полудня стонало над деревней било — чугунный рельс, подвешенный к ветви дуба на площади. Хромный помощник старосты обливаясь потом, колотил в рельс железной полосой. А Надежде Петровне казалось, будто ей колотят по черепу, голова полнилась тяжким звоном, глушившим мысли, убивавшим память. Потом всех стали гонять на площадь...»

«По прежнему стонало и ухало било».

Il va sans dire que le retour constant au thème de la guerre n'est pas la caractéristique la plus importante de l'oeuvre de Naguibine. Cependant, les ouvrages qui ont pour sujet la guerre ont bien leur importance dans les diverses

périodes de l'activité de l'écrivain. L'évolution de sa vision artistique, de ses méthodes et des moyens qu'il met en oeuvre peut être très bien suivie, à notre avis, dans les ouvrages de ce genre.

Bibliographie: АЙЗЕНШТОК И., «Фронтовые повести Ю. Нагибина», *Звезда*, М. -Л., 1961, № 6, pp. 208—10. Н. АТАРОВ, «Навстречу собственному дарованию». *Лит. газ.* М., 13. окт. 1960. — «Az új szovjet irodalom» (La littérature sovietique nouvelle). Bp., 1967. Н. ВАСИЛЬЕВА, «Ю. Нагибин (О тв-е писателя)», *Октрябьр* 1958, кн. 12, p. 212—6. «Gorkijtól — napjainkig» (De Gorki à nos jours) (Ajánló bibliográfia 50 év szovjet irodalmából) (Bibliographie raisonnée de cinquante années de littérature soviétique), *Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár*, Budapest, 1967. Д. ГРАНИН,« Чаша Бухенвальда», *Лит. газ*, 12. янв. 1957. Т. П. ЗАМОРИЙ, «Современный русский рассказ». Киев, 1968. Е. НИКОЛИН, «Полной душой», *Нева*, 1963, № 7, pp. 171—6. «Советская литература и новый человек», *Наука*, Ленингр., 1967. А. ТАРАСЕНКОВ, «Мнимые конфеикты и правда жизни», *Лит. газ*, *М.*, 29. авг. 1953. А. ТАРАСЕНКОВ, «Статьи о литературе», *Гос. изд. худ. лит.* М., 1958. А. ЭЛЪЯШЕВИЧ, «Герои истинные и мнимые», *Сов. пис.* М.-Л., 1963.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 121—130 1971 Debrecen

Молодежный журнал «Юность»

Л. Хегедюш

В июне 1970 года исполнилось 15 лет журналу «Юность». В связи с этим хотелось бы сказать о нем несколько слов.

«Юность» — литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник, издающийся в Москве.

Как возник наш современник? У каждого периодического издания имеется своя биография, есть она и у «Юности», правда, небольшая, но полная успехами и не лишена недостатков.

В средине 60-ых годов назрела необходимость создать журнал для молодых, так сказать, подиум, с которого бы молодые авторы могли сказать свое слово через посредство своего творчества, литературных произведений. Эта назревшая необходимость была поддержана, и журнал увидел свет.

«Крестное» свое имя журнал получил не вдруг. Было много предложений как, например, «Друг», «Спутник», «Молодежь», «Молодая литература» и, наконец, остановились на «Юности». И нужно сказать удачно. Само название отражает то, для кого он существует, кому предоставляет свои страницы, чьи интересы, взгляды, мнения передает на критику читателю.

Первым редактором журнала стал В. Катаев. Во главе его он стоял со дня его существования вплоть до 1962 года. Собственно, по его предложению и инициативе и был создан журнал. Катаевский период «Юности» принято называть романтическим периодом. В 1962 году редактором стал Б. Полевой и по сегодняшний день он ведет журнал. Со второго, февральского номера 1956 года у журнала появляется заместитель главного редактора в лице С. Н. Преображенского, который по сей день выполняет эту функцию. Долгое время, с начала возникновения журнала и по 1964 год, вплоть до седьмого номера в редакции журнала активно сотрудничал С. Я. Маршак. Смерть его, наступившая летом 1964 года, прервала деятельность его в журнале, но до конца года он оставался членом редакции в знак глубокого уважения к нему.

Ветеранами журнала являются Г. А. Медынский, М. П. Прилежаева. И

художник В. Н. Горяев давно сотрудничает в «Юности». Долгие годы членами редакции были В. С. Розов (14 лет), Н. Н. Носов (5 лет), В. Аксёнов (7 лет). С января 1959 года и по сей день в качестве ответсвенного секретаря в журнале сотрудничает Л. А. Железнов. Существенные изменения в редколлегии произошли, собственно говоря, с 1966 года.

Вначале создатели журнала представляли его себе как нечто сугубо для детей возраста десяти-четырнадцати лет. Первые номера журнала экспериментировали аудиторию. Оказалось, что им интересуются не только дети, но и взрослые. Контингент его стал быстро расти. Журнал стал журналом для семьи. А соответственно стал расти и тираж журнала. Он увеличивался из года в год, что подтверждается следующей таблицей:

Год	№№	Количество экземпляров	Примечания
1955	1—7	100 000	
1956	1—12	150 000	
1957	1—12	200 000	
1958	1—9,11, 12	300 000	
——	10	310 000	Посвящен истории комсомола
1959	1—7, 10, 11	400 000	
——	8, 9, 12	450 000	
1960	1—6, 8	450 000	
——	7	470 000	
——	9, 10	510 000	
——	11,12	500 000	
1961	1	520 000	
1961	2—12	550 000	
1962	1—12		
1963	1—10	600 000	№ 9 сотый номер журнала
—	11, 12	650 000	
1964	1—6, 11,12,	1 000 000	
—	7—10	1 025 000	
1965	1	1 600 000	
—	2—8	1 500 000	
—	9	1 485 000	
—	11, 12	1 480 000	

Приведенные цифры отражают тот существенный факт, что «Юность» за время своего сущетсвования добилась значительных успехов. Само собой разумеется, что успех любого периодического издания определяется не только количеством номеров, выходящих ежемесячно. Для этого необходимо и многое другое, о чем мы будем говорить ниже, но в этих цифрах отражается оценка журнала широким читателем, спрос на него в широких кругах.

В 1963 году вышел сотый номер журнала. В 1964 году тираж «Юности» возрос с шестисот пятидесяти тысяч экземпляров до миллиона. Главный редактор журнала Б. Полевой таким образом прокомментировал это в «Литературной газете» за 21 января 1964 года:

«Не скрою, было приятно узнать о новом, миллионном тираже «Юности». В этом факте мы прежде всего видим яркое проявление заботы Коммунистической партии и Советского правительства о воспитании молодежи. Естественно, такое резкое повышение тиража ставит перед коллективом журнала задачу дальнейшего повышения идейного и художественного уровня печатаемых материалов. Героем публикуемых журналом произведений и впредь будет преданный партии, народу, Родине молодой советский человек. Редакция намерена еще шире привлекать к участию в работе «Юности» молодых писателей наших братских республик».

Возьмем в руки несколько номеров журнала и, не вчитываясь в его строчки, только внешне рассмотрим его художественное оформление. И оно подтверждает свое назначение. Красочные пестрые, но со вкусом оформленные обложки, богатые иллюстрации внутри. Особенно хороши цветные вкладки, рисунки. И этим журнал заметно отличается от других периодических изданий.

Вот обложка первого номера за 1963 год. Начало нового года. Юноша, порывающийся вперед. Обложка февральского номера за этот же год сразу напоминает нам о великой дате этого месяца, 23 февраля, дне основания Красной Армии. На ней изображение серпа и молота и силуэты молодых бойцов в шлеме. На обложке мартовского номера лыжница с букетом мимоз в руке. В этом месяце весь мир отмечает Международный женский день 8 марта. Апрельский номер. В этом месяце родился великий вождь пролетариата, В. И. Ленин, и на обложке мы видим претворение в действительность мечты его об электрификации России. Майский номер оформлен в зеленых и красных тонах. Праздник пролетариата, пробуждение природы.

Разнообразны отделы «Юности» и это является одним из ее достоинств. Этот факт обязателен для журнала, который обращается к молодежи. Кроме основного содержания журнала, прозы, поэзии, публицистики, в каждом номере мы находим и много другого материала. Таковы рубрики: «К нашей вкладке», «Панорама "Юности"», «Наши интервью», «На стендах "Юности"», «Наука и техника», «О времени и о себе», «Почта "Юности"», «Заметки и корреспонденции», «Поговорим о книгах», «Среди книг», «Из альбома художника», «Из блокнота журналиста», «Школа и жизнь», «Театр», «Шахматы», «Спорт», «Дебюты», «Пылесос» и т. д. Содержание этих рубрик, следующих за основным материалом — художественными произведениями, не просто журнальные тылы, а самостоятельные разделы.

В каждом номере имеются материалы, отображающие кипучую жизнь Советского Союза. Образ ее запечатлен в фотографиях, красочных репродукциях

картин с выставки, в цветных фотоэтюдах. Эта мозаика складывается в цельную картину, дающую образ родины.

С 1958 года раздел из «Истории комсомола» стал в журнале обязательным и публикуется из номера в номер. Причем, всякий раз редакция находит новую форму подачи материала: очерк, рассказы очевидцев и участников событий, письма, фоторепортажи, иногда просто серия фотографий, воссоздающих неповторимый облик великих событий времен революции и гражданской войны, детали быта того времени, настроение массового героизма, которое породила революция.

Эти фотографии и воспоминания говорят нам не только о юношеской романтике, о желании получить в руки оружие, но и о том, что чувствовала молодежь той героической эпохи и насколько серьезно воспринимала она судьбы своей Родины. И поэтому не удивительно, что именно гражданская война и революция породила так много литературных произведений, благодаря которым современная молодежь имеет полное и достоверное представление о тех героических днях. Ей есть с кого брать пример и совершать подвиги, как совершали их деды и отцы. Это отражается в рубрике «Дела молодежные», где мы можем читать о подвигах мирных дней.

Журнал взял за метод своей работы не поучать, не наставлять, не давать надоедливые назидания, а разговаривать с молодыми на правах равных. Не всегда менторство, наставничество приносит желаемые плоды, а иногда даже наоборот. Ведь журнал хочет своим содержанием помочь молодежи найти путь в жизни, отыскать себя, свое место. А в этом может помочь добрый совет, пример. Очень часто читатели обращаются к журналу, признаваясь в том, что им больше некуда обратиться и считая журнал своим, они доверяют ему. И «Юность» умеет разговаривать с читателями. Материал, печатаемый в ней, оставаясь поучительным, отнюдь не поучает.

При создании журнала есть метод обращаться к известностям. Но метод «Юности» — молодежь. Пускай автор не имеет имени в литературе, но если он напишет произведение, отвечающее думам и стремлениям молодежи, то «Юность» с удовольствием опубликует его. Ведь журнал-то для молодых!

На своих страницах журнал воспитал не одного писателя, у которого есть теперь известность и имя, и первым подиумом которого стал журнал «Юность». К числу таких относятся А. Гладилин, В. Аксенов, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, В. Московкин, А. Амлинский и многие другие. Эти авторы известны не только в пределах Советского Союза, но и за рубежом. Произведения их переводятся на иностранные языки. Из начавших писать впервые восемьдесят человек принято с Союз писателей СССР.

Молодые авторы — люди разных профессий. Среди начинающих встречаются студенты, инженеры, геологи, преподаватели, врачи, служащие Советской Армии. Все они пробуют перо и пишут о том, что видят, что задевает их, что тревожит их души. Правда, первый рассказ, первая повесть, первое стихо-

творение не всегда бывают удачны. И появиться в печати один раз это не значит уже стать поэтом или писателем. Может быть и так, что за первым произведением не последует ни второго, ни третьего, но чаще всего тот, кто поставил себе целью принадлежать к армии писателей, при надлежащем таланте и условиях становится им. Именно «Юность» представляет возможность раскрыться таланту, отдавая свои страницы молодым.

За это часто критикуют ее, считают излишним предоставлять страницы совсем молодым, неизвестным авторам, обвиняют в пониженной требовательности к ним. Но с нашей точки зрения это не совсем так. Ведь цель «Юности» предоставить площадь как можно большему количеству молодых авторов. И она это делает, не уменьшая требовательности к ним. Другое дело, что у молодого автора и опыт «молодой» и часто бывает, что или само произведение не глубокое или проблемы, затрагиваемые им, не отражают всей глубины жизни.

У журнала есть хорошая традиция — печатать добрые пожелания, литературные произведения пожилых авторов, известных поэтов и писателей с целью показать, как нужно писать и каких успехов можно добиться благодаря таланту, уму, наблюдательности, кропотливой работе. Обычно такие произведения находятся в рубрике «Очерки, статьи, воспоминания, заметки, корреспонденции, письма». Например, пожелания-напутствия Элеоноры Войнич журналу «Юность» в честь Нового года под названием «Будьте верны мечтам своей юности» («Юность», 1956, № 1); добрые советы молодым шахматистам Михаила Ботвинника («Юность», 1956, № 1); статья старого коммуниста-революционера Г. И. Петровского «Юным друзьям» («Юность», 1956, № 11); статья Александра Дейнека, действительного члена Академии художеств СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР «Разговор про любимое дело» («Юность», 1957, № 8), где он делится мыслями, как надо любить избранное тобою дело; произведения одного из создателей плана ГОЭРЛО, академика Г. М. Кржижановского под названием «Сонеты» («Юность», 1959, № 6); статья Ф. Петрова, члена КПСС с 1896 года, Героя Социалистического труда «Глядя в глаза слушателям» («Юность, 1962, № 7); воспоминания Антала Гидаша об А. Фадееве «Как я люблю вас, ребята» («Юность», 1964, № 7); статья Бруно Пантекарево, академика, лауреата Ленинской премии «Не теряйте золотого времени» («Юность», 1964, № 8); статья Н. Колесниковой «О чём никогда не забудешь» («Юность», 1964, № 4) и т. д.

Здесь печатаются стихи и проза писателей старшего и среднего поколения, но опять-таки с целью или помочь молодежи, или про саму молодежь, или про свое собственное юношеское творчество. Поэтому не случайным было появление на страницах журнала романа Н. Погодина «Янтарное ожерелье» («Юность», 1960, № 1—3). Большой советский драматург впервые обратился к прозе и написал о молодежи, пытаясь проникнуть в ее внутренний мир, разобраться в его сложных противоречиях. В этом смысле интересна глава из повести А. Фа-

деева «Таежная болезнь» под названием «Один в чаще» («Юность», 1958, № 10), из раннего творчества писателя. Стихи Рины Зеленой (прекрасной исполнительницы стихов и прозы для детей, нередко весьма поучительных и для взрослых), выступающей в седьмом номере «Юности» за 1964 год как молодой автор, как начинающий поэт, и само общее название стихов, помещенных в этом номере, гласит: «Мы начинаем писать стихи». Привлекают к себе внимание стихи Ольги Берггольц, напечатавшей произведения, созданные ею более двадцати лет тому назад, причем не измененные, а в своем первозданном виде; стихи и проза Степана Щипачева, напечатанные с целью показать молодежи, как надо писать и какого совершенства может добиться поэт с годами; стихи и поэмы А. Безыменского, Я. Смелякова, Л. Мартынова, Н. Рыленкова и т. д.

Однако, возраст авторов «Юности» за редким исключением постоянен, молод, а вот тематика — самая разнообразная. Кажется, нет такой области жизни, которой бы не коснулись молодые авторы в своих произведениях. Здесь может идти речь и о балете, и о музыке, и о театре, и об искусстве, и об исследователях Арктики, и о значении химии в сельском хозяйстве, и о ядерной физике и о многом другом. И это еще далеко не весь перечень тех сторон жизни, которые будоражат умы молодежи.

Однако надо отметить, что в одном смысле журнал «Юность» односторонен. Он не отражает жизнь деревни. И в этом смысле он журнал сугубо городской. Урбанизм журнала и делает его односторонним. Правда, для того чтобы знать жизнь деревни, надо вблизи наблюдать ее, жить в ней, а авторы «Юности» в большинстве своем городские. Постольку поскольку «Юность» старается повлиять на формирование молодой литературы, ей на это надо обратить серьезное внимание, ибо журнал не станет голосом и зеркалом подрастающего поколения, если не будет отражать всех сторон жизни, если географическая площадь его ограничиться асфальтированными улицами городов, не выходя за их пределы.

Одним из слабых отделов «Юности» считают критический отдел, что он, мол, ведется довольно бессистемно. Но нужно сказать, что и большая критика в долгу перед журналом. Редко можно встретить в таких журналах как «Вопросы литературы», «Октябрь», «Москва» и т. д. статьи, посвященные анализу того или иного произведения «Юности» или того или иного отдела. Зато чаще можно найти упрек в адрес того или иного молодого автора и всего журнала «Юность», а уж о том, чтобы похвалить — и речи быть не может. Такая брань не приносит пользы молодым авторам, неправильно ориентирует общественность. А мы знаем, что хвалить и бранить далеко не критические критерии. Журналу необходима критика, здоровая критика, пускай строгая, но объективная. Он нуждается в требовательном обсуждении профессиональными критиками, в принципиальных, доброжелательных замечаниях, помогающих журналу растить молодых авторов.

Как мы уже подчеркивали, в основном авторы журнала молодые люди, и

журнал может гордиться тем, что ежегодно открывает для читателей по нескольку десятков новых авторских имен. Почти каждый год журнал выпускает специальные «номера молодых». Это стало уже традицией. Первый такой номер вышел в 1958 году (№ 7), в 1959 году таким номером был № 6, в 1960 году также № 6, в 1962 году № 10, в 1964 году № 6. Эти номера делались целиком и полностью руками еще нигде не печатавшихся авторов: прозаиков, поэтов, публицистов, художников. Каждый из них от обложки до последней страницы создан начинающими (исключение составляют один-два оперативных информационных материала). Исключения этого не надо было делать. Оперативный информационный материал хорошая проба сил для начинающего литератора и безусловно молодые могли бы показать, на что они способны и способны ли что-то сделать в этом боевом журнальном жанре.

Разберем подробнее седьмой номер журнала за 1958 год, тот номер, который заложил традицию создания «журнала молодых». В этом номере представлено более семидесяти авторов. Имена многих из них появились в печати впервые, а остальные авторы начали печататься совсем недавно.

Разные люди собраны редакцией, разные по возрасту и по роду занятий. Вот коротко о них: «воспитанник детского дома... работал грузчиком, слесарем, печатником. Сейчас студент», «ученица девятого класса», «выпускник географирческого факультета... Неоднократно работал на практике в Каракумах и на Памире», «работает буровым мастером и одновременно учится...», «инженер...», «работал судовым механиком. Сейчас учится...» и так далее. Как видим, здесь и совсем молодые, учащиеся средней школы и уже вышедшие в жизнь инженеры, специалисты, прошедшие предварительно школу жизни.

Здесь можно встретить и шестнадцатилетнюю школьницу Надю Полежаеву и студента-комсомольца В. Амлинского, и молодого московского инженера Надежду Матвееву, и юную преподавательницу Л. Исарову, и только что окончившую Московский университет журналистку Э. Черепахову, которая начала печататься в «Юности» еше будучи студенткой.

Разные авторы и по степени литературной одаренности, но всех их объединяет одно: все они начинающне.

«Юность» № 6 за 1960 год. Все в нем — от обложки до «Пылесоса» создано руками молодых. В создании его участвовало 60 молодых прозаиков, поэтов, публицистов, фотографов. Подавляющее большинство из них представлено в журнале впервые.

За два года, прошедших со времени появления «журнала молодых», связь «Юности» с молодыми авторами не только оборвалась, но окрепла. Например, В. Московкин, дебютировавший в 1958 году со своей первой повестью «Как жизнь, Семен?», написал и напечатал в журнале новую повесть «Шарик лает на луну» («Юность», 1960, № 5). С новым большим рассказом «Аптекарша» выступил в «Юности» за 1960 год в № 4 В. Амлинский, тоже печатавшийся впервые два года тому назад. Продолжают писать и рисовать для журнала В. Костров

и Н. Медведева, Е. Шатько и Г. Калиновский, да и большинство дебютантов первого «номера молодых». Этот номер говорит о том, как много литературно одаренных людей есть среди молодежи. Выпуск его приурочен к празднику молодежи, ко Дню советской молодежи.

«Юность» № 10 за 1962 год тоже «журнал молодых». Редакция выпустила его накануне 4 Всесоюзного совещания молодых писателей. В нем представлен новый отряд молодых писателей, поэтов, публицистов, художников. Большинство авторов печатается впервые. Все они разные, непохожие друг на друга, но их объединяет живой интерес к современности, желание активно вторгнуться в жизнь, идти в ногу со своим суровым бурным веком.

«Юность» № 6 за 1964 год также посвящена довольно удачным и многообещающим дебютам. Страницы ее наполнены работами авторов, хорошо знакомых читателю тем, что они современники его и работают на заводах, в лабораториях, на стройках страны. И пишут эти авторы о юношах и девушках, влюбленных в свое дело. Молодым авторам больше всего хочется поведать о себе, о своих друзьях, о времени, в котором они живут. Их повести, рассказы, стихи, очерки, рисунки в чем-то еще не совсем совершенные, славят героику современности.

Этот номер вышел в годовщину июньского Пленума ЦК КПСС, поставившего актуальные боевые задачи перед всем идеологическим фронтом борьбы, подчеркнувшего важность воспитания молодой поросли творческой интеллигенции в духе партийности и народности.

Одиннадцатый номер «Юности» за 1964 год, вышедший в дни празднования 47-ой годовщины Октября, тоже номер специальный. Он составлен ленинградцами, живущими в прекрасном городе-герое. В нем выступают не только юные ленинградские прозаики, поэты, публицисты и художники, но и маститые, известные всей стране деятели литературы и искусства.

Большое место в журнале отводится поэзии. Обратимся к простой статистике. Каждый номер журнала насчитывает 112 страниц. А так как это ежемесячный журнал, то сдедовательно, всего за год выходит 1344 страницы, из которых в среднем 120—124 страницы занимает поэзия, что составляет около 10% всего материала журнала. Например, на страницах «Юности» за 1964 год выступил восемьдесят один автор со стихами или поэмами, причем, имена десяти из них фигурируют дважды, т. е. в двух номерах журнала, а все остальные абсолютно, так сказать, новенькие поэты и поэтессы. Этот факт еще раз подтверждает принцип редакции журнала, о котором говорил Б. Полевой: еще шире привлекать к участию в работе журнала молодых авторов.

Но безусловно, как бы разнообразны ни были отделы «Юности» и как бы ни велика была площадь, отведенная поэзии, все-таки решающая роль в журнале отведена прозе. Именно прозаические произведения в конечном счете определяют лицо «Юности», как и журналов «Октябрь», «Новый мир»», «Москва» и другие.

«Юность» — журнал многонациональный. Здесь даются стихи и проза не только русских авторов, но и авторов других республик и народов. Так, например, в третьем номере за 1958 год в рубрике «Стихи грузинских поэтов» напечатано стихотворение Фридона Халваши «Памятник в Батуми» в переводе Д. Голубкова, стихотворение «Пляска моего сердца» Медея Кахидзе в переводе В. Ревича, стихотворение «Я был в деревне» М. Мачавариани в переводе Е. Евтушенко, рассказ Чабуа Амитэджиби «Велосипед » в переводе с грузинского Н. Мукава («Юность», 1962, №3), рассказ «Журавль» Отара Деметрашвили в переводе с грузинского также Н. Микава в том же номере за 1962 год, стихи адыгейского поэта Исхака Машбаша в переводе Р. Рождественского «Белый конь», «Руки», а также стихотворение Иманта Зиедониса «Бурелом» в переводе с латышского Н. Старшынова («Юность», 1962, № 7), рассказ Василия Быкова «Четвертая неудача» в переводе с белорусского Михаила Горбачева («Юность, 1962, № 8). В первом номере «Юности» за 1964 год напечатан монолог Эдуарда Межелайтиса «Актер», перевод с литовского. Нужно отметить, что перевод очень удачен, его сделал Б. Окуджава. В седьмом номере за тот же год перевод с бурятского стихов Дондока Улзытцева «Русскому брату» и «Люблю зеленую тайгу . . .», в девятом номере — перевод с еврейского стихотворения Иосифа Керлера, в десятом — перевод с армянского стихотворения Геворга Эмина и т. д. .

Журнал публикует произведения зарубежных писателей, поэтов, крит иков Например, «Первая роза лета» Говарда Фаста («Юность», 1956, № 6), «Письмо к матери» вьетнамского поэта Чан Киена («Юность», 1956, № 8), «Пионерам целинных земель» Тома Молькома, шотландского поэта («Юность», 1956, № 9), «Ребенок, продающий орехи» («Юность», 1957, № 1) Ямамоту Минору (Япония), стихотворение Ласло Надь «Кузнец» в переводе с венгерского Б. Пуцыло («Юность», 1957, № 7), «Скоро я уеду» И. Сафира (Румыния, «Юность»,1957, № 7), «Любовь, которую я желаю» («Юносьт», 1957, № 7) Хан Юн Хо (Корея), стихи бенгальского поэта Баттачария Суканта («Юность,» 1957, № 1), «Хасан Тарлак» рассказ турецкого писателя Назыма Хикме́та («Юность», 1958, № 1), стихи Питера Темпеста, начинающего английского поэта «Грибы» в переводе А. Мамонова и «Уланова в Ковент-Гарди» в переводе Леонида Мартынова («Юность», 1958, № 3), в рубрике «Стихи и рассказы писателей Азии и Афирки» в журнале № 9 за 1959 год даны переводы с турецкого стихотворения Мелых Джевдет Ангала «Бедняга Этет» и стихотворения предствительницы Южной Африки Мэри Кика в переводе с английского (рубрика посвящена открытию в Ташкенте конференции писателей стран Азии и Африки). Рубрика «Молодая болгарская поэзия» посвящена начинающим болгарским поэтам Влодимиру Башеву, Любомиру Левчеву, Крысю Станшеву («Юность», 1959, № 4), стихи Джо Уоллеса канадского поэта «Да или нет?», «Три слова», «Немножко времени», «Куба», «Песни фестиваля», помещенные в «Юности» № 8 за 1962 год, перевод с болгарского стихов Кайон Кулиева («Юность», 1964, № 3),Дмитрия Методиева («Юность», 1964, № 5) и т. д.

Этот перечень не отражает целиком и полностью весь переводный материал, но опровергает то мнение, проскальзывающее в критике, что «Юность» не печатает зарубежных поэтов и писателей и вообще переводной литературы. Надо добавить, что «Юность» не относится к числу «толстых журналов» и даже к числу журналов «средней упитанности». Он относится к числу, «тонких журналов» и имея в виду его цели и задачи — пропагандировать своих отечественных авторов — от него в этом плане требовать большего просто неуместно.

Очень важна для любого периодического издания оценка его читателями. Редакция «Юности» получает обычно много писем с откликами на публикуемые в журнале повести, рассказы, стихи, очерки. Отклики читателей являются самой высокой оценкой творчества писателей, будь эти отклики положительными или отрицательными.

Журнал является трибуной выступления читателей, не являющихся профессиональными литераторами. Читатели делятся своими мыслями о прочитанном и этим самым помогают редакции в подборе материала.

Журнал «Юность» является одним из наиболее читаемых журналов, которым интересуется не только молодёжь, но и читатели взрослые.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE
Slavica XI. 131—133 1971 Debrecen

Ferencz Renyi — bohater zapomnianego polskiego wiersza

J. Orłowski

Ciekawym przejawem zainteresowania społeczeństwa polskiego narodem węgierskim w XIX wieku jest zapomniany dziś wiersz pt. „Ferencz Renyi". Autorem wiersza jest mało dziś znany polski poeta Bolesław Londyński. Wiersz wydrukowany został w zbiorze poezji tegoż autora, wydanym w Warszawie w 1887 roku[1].

Bolesław Londyński (literackie pseudonimy: Mieczysław Rościszewski, Bruno Las) był poetą i publicystą drugiej połowy XIX wieku. Urodził się w roku 1855 w Radzyniu. Drukować zaczął w roku 1874, współpracując z pismami warszawskimi „Kłosy", „Nowiny" i „Kolce", a od roku 1887 prowadził wydawnictwo „Biblioteka Romansów", dla której dokonał wielu przekładów z literatury francuskiej (Musset, Rostand) i rosyjskiej. Dokonał m. in. pierwszego tłumaczenia na język polski „Zbrodni i kary" F. Dostojewskiego.

Londyński nie dorównywał talentem poetyckim wielu współczesnym mu polskim poetom i dziś jest pisarzem prawie całkowicie zapomnianym. Tworzył głównie satyry i wiersze o tematyce obyczajowej, w których wyśmiewał wady i przywary społcezeństwa. szlachecko-burżuazyjnego

„Ferencz Renyi" jest jednym z obszerniejszych i bardziej udanych jego wierszy. Utwór napisany jest tradycyjnym polskim 11-zgłoskowym wierszem i składa się z jedenastu ośmiowierszowych strof. Ten rodzaj strofy zwanej oktawą był często stosowany w tradycyjnej polskiej epice bohaterskiej i Londyński w swoim wierszu o węgierskim bohaterze świadomie nawiązał do tej tradycji wersyfikacyjnej.

Swój wiersz o węgierskim bohaterze rewolucji z 1848—1849 roku opatrzył Londyński następującym wprowadzeniem: „Ferencz Renyi, jeden z najzagorzalszych patriotów z czasów wojny węgierskiej 1848—1849 roku, zmarł we

[1] Bolesław Londynski, Poezje. Warszawa 1887. Wiersz „Ferencz Renyi" znajduje się w zbiorze na str. 235—8.

wrześniu 1886 roku w szpitalu obłąkanych w Budapeszcie. Wspomnienie, osnute na tle prawdziwych a wyjątkowych zdarzeń jego życia, stanowi treść niniejszego utworu".

Wiadomość o dramatycznych przeżyciach i śmierci węgierskiego bojownika o wolność narodową natchnęła Londyńskiego do napisania wiersza „Ferencz Renyi". Utwór ten rozpoczynał poeta pełnymi żalu następującymi słowami:

„Skonał bohater. Na świecie ich mało,
Więc żal i pustkę rodzi zgon jednego".

Dalej poeta pisał o wielkiej żarliwości serca i gorącym patriotyzmie bohatera, który nie zawahał się, gdy „hasło zabrzmiało do boju" porzucić „wsi rodzinnej ciszę", matkę, siostrę, narzeczoną i stanąć ze współbraćmi do walki o wolność. Waleczność, zapał i oddanie Ferencza Renyi sprawie wolności tak opiewał polski poeta:

„Był to nie rycerz, to był lew rozżarty,
Ziejący ogień, szał i ciosy krwawe.
Był to huragan rozżaleniem party,
Ślepiec wtrącony w bojową przeprawę..."

W krwawej walce ginie wielu bojowników węgierskich. Renyi dostaje się do niewoli, zostaje zakuty w kajdany. Wrogowie chcą dowiedzieć się, gdzie jest sztab powstańców węgierskich, ale bohater „w głaz się zamienił wobec widma zdrady" i nawet w obliczu śmierci nie chce ani słowem zdradzić tajemnic. Wtedy wrogowie (autor ze względu na cenzurę carską nie wspomina o jakich wrogów chodzi) postanawiają na oczach bohatera rozstrzelać jego matkę, siostrę i narzeczoną, jeśli nadal będzie milczał. Następuje moment niezwykle dramatyczny i okrutny: bohater musi wybrać zdradę kraju lub śmierć trzech najbliższych istot. Matka i siostra giną po kolei, zachęcając przed śmiercią bohatera, aby wytrwał i nie zdradził sprawy narodowej. Poeta w słowach pełnych patosu tak opisał odwagę i wielkość poświęcenia matki i siostry:

„To nie Spartanki, nie córy Hellady
Zginęły mężnie, bez kruszynki trwogi.
To dwie Madziarki padły, nie chcąc zdrady!
To dwa kolosy, szczytne w niewiast tłumie:
Czyn ich odczuje, kto kraj kochać umie".

Na tym jednak nie koniec bezmiaru moralnych cierpień Ferencza Renyi. Oto kolej przychodzi na narzeczoną. Znów jej życie lub śmierć w jego ręku, w jego jednym słowie. Narzeczona u stóp bohatera błaga o ratunek przed śmiercia. Ale Renyi i tym razem wytrwał, nie chcąc zdradzić kraju. Wraz ze śmiercią ukochanej postradał jednak zmysły od bezmiaru tragicznych i strasznych przeżyć. Darowano mu życie, które odtąd miał spedzać w szpitalu dla obłąkanych.

„Wolność dlań była odtąd marnym dźwiękiem,
Już jej nie pragnął, choć mu ją oddano...
Aż w lat trzydzieści, wśród rodaków żalu
Węgier — bohater zgasł nędznie w szpitalu".

Wiersz „Ferencz Renyi"" jest jednym z ciekawszych i bardziej wartościowych utworów Londyńskiego. Stanowi on opis właściwie tylko jednego tragicznego epizodu z życia bohatera, którego śmierć jest punktem wyjścia i zarazem akcentem zamykającym treść utworu. Autorowi udało się umiejętnie i bez wpadania w zbędny patos i retorykę pokazać tragizm przeżyć bohatera. Wiersz cechuje kompozycyjna zwartość i niezwykły dramatyzm, potęgowany prostotą, a zarazem surowością stylu. Autor często posługiwał się urywaną frazą, krótką jak komenda wojskowa, unikał zbędnej metaforyki, chociaż z niej całkowicie nie rezygnował („stalowa pierś", „w głaz się zamienił"). Bardzo oszczędnie posługiwał się epitetami, nie wprowadzał do utworu zbyt odległych pojęciowo porównań, co w sumie składa się na wspomnianą już wyżej prostotę i surowość stylu utworu. Wewnętrzną rozterkę bohatera, spowodowaną wyborem pomiędzy synowską powinnością a obowiązkiem patriotycznym, trafnie i obrazowo nazwał autor w wierszu „uczuć szermierką" i „katuszą".

Nie wszystko jest jednak w wierszu dobre i udane. Widać wyraźnie, że autor nie zawsze wprawnie posługiwał się trudną strofą jaką jest niewątpliwie oktawa, wymagająca jednakowych potrójnych rymów. Dla wymogów rymu wprowadził więc poeta do swego utworu kilka pretensjonalnych i niezbyt ładnych wyrażeń, w rodzaju: „mów, albo kula czaszkę twą przywita", „lew rozżarty", „zwiększyć bohaterów grono".

Zapomniany dziś wiersz Londyńskiego, podobnie jak i sam poeta, wart jest przypomnienia w naszych czasach. Stanowi on widoczny dowód żywego zainteresowania narodem węgierskim, jakie przejawiał w przeszłości i dziś przejawia naród polski.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 135—151 1971 Debrecen

Histoire de la Société Hongroise de Mickiewicz (Contribution à l'histoire de la polonophilie hongroise à l'époque moderne)

I. Csapláros

De 1929 à 1948 avait fonctionné à Budapest, sous l'égide du nom d'Adam Mickiewicz, une Société dont le but fut de «[...] soigner et d'approfondir les rapports historiques, artistiques et littéraires entre la Pologne et la Hongrie, dans l'esprit d'Adam Mickiewicz». La Société Mickiewicz, fondée à Budapest, le 20 septembre 1929, comptait soixante membres.

Le 40e anniversaire de la fondation et le 20e anniversaire de l'extinction de la Société nous fournissent l'occasion de cette commémoration. L'éloignement historique nous permet en même temps d'en parler de façon objective et critique.

Nombre de sociétés polonophiles avaient fonctionné en Hongrie, déjà avant la fondation de la Société Hongroise de Mickiewicz (la plus ancienne fut créée en 1912); c'est à partir de leur activité que nous pouvons comprendre et juger les mouvements polonophiles et même, dans une certaine mesure, la Société Mickiewicz aussi. Voici quelques exemples de ces comités et sociétés: Société Polono-Hongroise, Union Polono-Hongroise, Comité Commémoratif István Báthori, Union des Polonais en Hongrie, Union Polonophile des Étudiants Hongrois, Cercle Polono-Hongrois de Scoutisme, Union des Anciens Légionnaires Polonais, Département Polonais de l'Union Nationale Hongroise, etc.[1]

Nous sommes renseignés sur la formation de la Société Hongroise de Mickiewicz par le Dr. János Kertész, devenu par la suite premier secrétaire de la société. Il nous apprend qu'en 1927, à une séance de l'Union Polono-Hongroise, Béla Bevilaqua-Borsodi, écrivain et publiciste, a fait une conférence sur la vie culturelle de l'émigration polonaise à Paris, après le soulèvement polonais de novembre; il parlait des cercles et des groupes d'amis réunis par le culte voué à Mickiewicz ou à Chopin. Sous l'effet de ce compte

[1] Działalność federacji stowarzyszeń polsko-węgierskich i zgrupowanych w niej towarzystw przyjaciół Polski 1932—1937 Budapest (s. d. 1938) ... Nyáry Pál, «Magyar-lengyel barátság» [Amitié polono-hongroise]. Budapest, 1938.

rendu passionné, le premier secrétaire de l'Union, Ferdinánd Leo Miklósi a proposé la création d'une société littéraire, portant le nom de Mickiewicz. Il y avait en Hongrie plusieurs exemples de sociétés portant le nom d'un grand écrivain et visant à l'approfondissement des relations étrangères: la Société La Fontaine a été créée en 1920, suivie un an après par la Société Goethe.

L'élaboration des statuts, leur approbation par les organes compétents, le recrutement des membres ont demandé approximativement deux ans; la Société a été fondée, comme nous venons de le dire, le 20 septembre 1929, dans le Club «Fészek» des artistes de Budapest. En dehors des personnalités officielles, y ont participé des historiens polonais, séjournant à Budapest à l'invitation de la Société Hongroise d'Histoire, en compagnie du hongrois Adorján Divéky, professeur associé à l'Université de Varsovie. La composition du comité directeur définit déjà le caractère de la Société. Le président d'honneur fut l'archevêque-primat Jusztinián Serédi. Le comité directeur comprenait le baron Gyula Wlassics, président du Parlement, le comte Kunó Klebelsberg, ministre de la culture, Albert Berzeviczy, président de l'Académie et l'ex-ministre Gyula Pekár, écrivain conservateur. Ils remplissaient des fonctions d'honneur, ne prenant pas de part active au travail de la Société.

Le véritable directeur de la Société a été le baron Dr. Albert Nyáry (1871-1933), écrivain et archéologue, dont la famille cultivait une tradition polonophile. Son père, Albert Nyáry aîné, héraldiste, ami de Kossuth et de Garibaldi, fut l'auteur de nombreux articles sur la question polonaise[2]. Un de ses parents proches, Edouard Nyáry mourut dans le soulèvement polonais de janvier 1863[3].

La Société s'est assigné le but de soigner les relations culturelles polono-hongroises, dans tous les domaines: organisation des programmes, représentations et cérémonies, établissement des plaques commémoratives et des monuments. Le nombre des adhérents a été fixé à 60, pour fonder et maintenir la réputation de la Société. En 1935, un changement se produisit dans la direction de la Société, à la suite du décès de Klebelsberg et d'Albert Nyáry: le président d'honneur sera le professeur d'histoire Bálint Hóman, ministre de la culture, et le président György Lukács (1865-?), ex-ministre de l'éducation (de 1905 à 1906; il ne s'agit pas du philosophe) le premier secrétaire sera le professeur Edgár Palóczi, historien et publiciste, et le secrétaire Dr. János Kertész, bibliographe, statisticien et publiciste[4].

[2] Báró Nyáry Pál, «Dr. báró Nyáry Albert élete és munkássága» [Vie et oeuvre du baron dr. Albert Nyáry]. Budapest, 1936, p. 10.

[3] Polak Tomasz, «Węgrzy w powstaniu styczniowym», *Studia i Materiały do Historii Wojskowości*. T. V. 1960, p. 37.

[4] Kertész János, «Towarzystwo im. A. Mickiewicza» *Rocznik Polski. Kalendarz Polaka na Węgrzech na rok 1944*. Wydanie Biblioteki Polskiej w Budapeszcie, pp. 278—9.

Pour bien comprendre l'activité de la Société, nous devons aborder, en guise d'introduction, trois questions: la situation historique de la Hongrie, l'article écrit à l'occasion de la fondation de la Société par Béla Bevilaqua-Borsodi, un de ses membres les plus importants, et enfin l'analyse de la composition sociale et professionnelle de la Société.

Après la première guerre mondiale, le traité de paix de Trianon, dicté par les grandes puissances impérialistes, a séparé de la Hongrie plus de trois millions de Hongrois, dont un grand nombre était domicilé à côté des nouvelles frontières. Un autre facteur important est le souvenir de la République des Conseils de 1919, qui remplissait encore d'effroi les classes dirigeantes. Ce sont ces circonstances qui expliquent la conduite des milieux dirigeants de la Hongrie capitaliste-féodale: pour détourner l'attention du peuple des graves problèmes sociaux, on a professé la nécessité de la révision du traité de Trianon, des revendications territoriales, la toute-puissance de la pensée chrétienne nationale; on a persécuté les idées et les mouvements progressistes, y compris et avant tout le mouvement ouvrier. Leur hostilité envers l'Union Soviétique fut une conséquence logique de tout cela et de leur attachement au régime capitaliste. L'attitude politique de la Pologne de Piłsudski convenait sur plus d'un point à leurs buts: ils comptaient profiter des idées tchécophobes répandues en Pologne, pour gagner celle-ci à leurs buts révisionnistes, après l'assentiment de l'Italie. Ce trait marque l'activité de presque toutes les sociétés polonophiles fonctionnant alors en Hongrie...

Revenons à l'article de Béla Bevilaqua-Borsodi qui s'ouvre sur cette phrase: «Des poètes, écrivains, musiciens, historiens, journalistes, prêtres et soldats, des peintres et des critiques d'art, des sculpteurs et des publicistes ont fondé une société exclusive, appelée à introduire une nouvelle couleur parmi celles des relations polono-hongroises, sous l'égide du nom d'un poète polonais qui marquera l'idée et le style de cette Société.» Parlant de l'importance de Mickiewicz, il dit que son nom peut servir non seulement la nouvelle Société et la vie culturelle hongroise, «mais peut-être aussi l'affaire hongroise». Après cette phrase ayant un sens politique indiscutable, l'auteur fait connaître le rôle tsarophobe de l'émigration polonaise au cours du siècle dernier et présente la vie intérieure de l'émigration, comme étant sans conflit — il n'était pas recommandé à l'époque de détailler les problèmes soulevés par des questions sociales — enfin suivent des parallélismes et des analogies entre l'histoire polonaise et hongroise de 1832 à 1929 (!), l'alliance des peuples à l'occasion de la guerre de Crimée (1853-1855) contre le peuple russe: tout cela peint clairement l'atmosphère et les idées des classes dirigeantes de l'entre-deux-guerres. Pour rassurer ses lecteurs, l'auteur déclare que la Société «ne fait pas de politique, mais vise seulement à conserver l'atmosphère de la grande époque (celle de l'émigration du temps de Mickiewicz — I. Cs.) dans ce monde qui se précipite à être moderne». Il ressort clairement et logiquement de ce qui vient d'être

dit que la Société «soignera avec un conservatisme honnête et nécessaire le souvenir de l'époque de Mickiewicz, de la Grande Génération qui fut, entre 1832 et 1848, dans le salon de Chopin à Paris, la créatrice des temps présents»[5].

La liste des membres de la société qui se trouve être à ma disposition, date de 1936, année où apparaissent déjà des signes d'un rapprochement politique important entre la Pologne et la Hongrie. C'est qu'entre temps le comte Klébelsberg, ministre de la culture, prépare, au mois de mai 1930 l'accord culturel, ratifié plus tard, qui décide l'institution des établissements culturels[6]. Ces années sont marquées par l'institution des monuments polonais en Hongrie, par la célébration de nombreux anniversaires (celui du soulèvement de novembre, de la naissance de Báthori, etc.); la visite du premier ministre Gömbös à Varsovie, en octobre 1934, prépare le resserrement des liens politiques; un an après l'accord culturel est ratifié, le 4 novembre 1935 est ouvert l'Institut Hongrois de Varsovie, et peu après sort une grande et belle édition de luxe en hongrois et en polonais, portant le titre «La Hongrie et la Pologne». Ces événements marquent l'évolution rapide des relations officielles.

Le nouveau comité directeur de la Société correspond, dans sa composition, à ces changements et à la politique de plus en plus révisionniste de la Hongrie.

En 1935 déjà, Dr. György Lukács, l'ancien ministre de la culture fut élu président de la Société. Il ne faut pas oublier cependant que Lukács est en même temps président de la Ligue Hongroise pour la Révision du traité et vice-président de la Société Hongroise des Affaires Étrangères... donc un homme fort exposé dans la politique quotidienne. Parmi les coprésidents, nous voyons, comme le constate Borsodi dans son article, un colonel: Kamill Aggházi, fondateur du Musée de l'Armée Hongroise, un peintre important en la personne de István Csók, le sculpteur Ferenc Sidlo, un représentant de la vie musicale en la personne de László Márkus, metteur en scène et directeur futur de l'Opéra, des historiens polonisants, tels Imre Lukinich et Endre Veress, et deux noms à peu près oubliés de la littérature: le poète Mór Petri et l'écrivain János Sziklay. La vie politique est avant tout représentée par le député Endre Bajcsy-Zsilinszky, journaliste et politicien. Parmi les vice-présidents, un nom connu: Jenő Lechner, architecte, auteur des ouvrages sur l'architecture. Il faut mentionner encore le nom du légionnaire polonais de la première guerre mondiale, Ferdinánd Leó Miklósi, commerçant et dilettante de la littérature et des arts, qui fut jusqu'au bout le membre le plus actif de la

[5] Bevilaqua Borsodi Béla, «Kiről is van szó? Mickiewiczről» [De qui s'agit-il au juste? De Mickiewicz], *Pesti Hírlap*, 22 septembre 1929 et même auteur: «Mickiewicz», *Nemzeti Újság*, 1929, n° 215.

[6] Kuno Klebelsberg, «Les fondements de la coopération intellectuelle polono-hongroise». Budapest, s. d. p. 27.

Société. Nous avons déjà présenté le secrétaire et le premier secrétaire de la Société: János Kertész et Edgár Palóczi.

En passant aux membres du comité et aux membres participants, nous devons remarquer en préliminaire que le côté fort de la Société se trouve dans ses savants. On y rencontre des noms aussi célèbres que celui du linguiste János Melich, professeur à l'Université de Budapest, membre de l'Académie Polonaise de Cracovie, ou du professeur Sándor Domanovszky, rédacteur du journal «Századok», vice-président de la Société d'Histoire, de István Kniezsa, alors maître de conférence à l'université, de Bálint Kuzsinszky, président du Comité d'Archéologie de l'Académie Hongroise, de Henrik Marczali, professeur d'histoire, de Jenő Pintér, inspecteur d'académie, historien de la littérature, de Géza Supka, archéologue et publiciste, de Zoltán Sziládi, zoologue. Le droit international fut représenté à son tour par le professeur de Pécs: Ferenc Faluhelyi. Ce n'est pas un hasard si l'on compte parmi les membres des spécialistes hongrois des peuples finno-ougriens, tel Aladár Bán, traducteur hongrois des littératures finnoise et estonienne, István Csekey, professeur de droit à Szeged, spécialiste de l'estonien, et le folkloriste Béla Vikár, traducteur hongrois du Kalevala; c'est par eux que la ligne polonophile se prolongeait dans la direction du Nord... un peu dans l'esprit de la politique étrangère polonaise et hongroise d'alors. En ce qui concerne les membres poètes et écrivains, on ne trouve malheureusement pas parmi eux de grands noms. N'empêche qu'ils ont tous quelque activité dans le domaine polonais. Vilma Mányoki, László Nógrádi, István Szathmáry, Éva Ádám, István Havas (premier secrétaire de la Société Petőfi), György Lőrinczy, Gyula Pekár et Géza Vályi sont aujourd'hui des noms oubliés ou déshonorés par le culte professionnel de l'irrédentisme. Parmi les écrivains et les traducteurs, le nom de Jenő Mohácsi est peut-être encore le plus connu. Le Comité directeur de la Société avait sans doute des intentions de propagande aussi, en élisant parmi ses membres Gyula Somogyvári, directeur du programme de la Radio, László Cs. Szabó, directeur du département littéraire de la Radio (aujourd'hui en émigration), l'écrivain Tamás Kóbor, rédacteur en chef du journal légitimiste libéral «Újság», l'écrivain Imre Balassa, rédacteur du journal clérical et chauvin «Új Nemzedék». Les artistes furent représentés par le violoniste Jenő Hubay, par les sculpteurs János Istók (auteur de la statue de Bem à Budapest) et Pál Pátzay, et par les acteurs Oszkár Ascher et Sándor Garamszegi. La Société avait un membre congréganiste: le professeur József Nagysolymosi, auteur de la première histoire de la littérature polonaise en hongrois[7]. La Société comptait encore une dizaine de membres que je n'ai pas pu identifier jusqu'ici[8].

[7] «A lengyel irodalom» [La littérature polonaise], *Szent István Könyvek*. Budapest, 1934.

[8] KERTÉSZ JÁNOS, «Lengyelország és az Andrássyak» [La Pologne et les Andrássy]. Budapest, 1936. Magyar—Lengyel Könyvtár, p. 15.

Abstraction faite des changements survenus dans la direction, on peut supposer que le corps même de la Société s'était formé déjà aux années de sa fondation. La plupart des membres ont été conservateurs et loyaux, les éléments progressistes de gauche étant en minorité jusqu'à la deuxième guerre mondiale; la proportion ne changera qu'après la libération.

Après cet aperçu sur l'histoire de la fondation, l'atmosphère et la composition de la Société, passons à l'analyse de son activité. Celle-ci peut se résumer dans les points suivants: organisation des conférences et des cérémonies, activité éditoriale, travail de conférencier et de publiciste des membres de la Société en dehors des cadres de la Société, décernement de la médaille commémorative Mickiewicz de la Société chaque année à différentes personnalités de la vie publique, scientifique ou artistique, ayant obtenu des résultats considérables dans le domaine des relations polono-hongroises; enfin entretien des rapports personnels entre la Pologne et la Hongrie.

Il est inutile de dire à quel point les années qui s'écoulent de 1929 à 1948 sont une époque mouvementée, disparate de l'histoire mondiale en même temps qu'une époque de transition dans l'histoire polonaise et hongroise aussi. Pour faciliter notre travail, nous diviserons l'époque en trois parties: les années de l'avant-guerre, de la deuxième guerre mondiale et de l'après-guerre. Les trois périodes ont des caractères différents auxquels sont subordonnés les buts et les tâches de la Société.

Pendant la première décennie de l'activité de la Société, en dehors de l'entretien des relations culturelles, il s'agit avant tout de gagner la Pologne comme partenaire politique; cela ressort clairement des conférences et des articles des membres de la Société. Pendant les années de la guerre, le but primordial est de secourir les émigrés polonais en Hongrie, de les gagner pour les relations culturelles polono-hongroises, et de faire des démonstrations en faveur du «pays perdu». Après la libération, à défaut d'un accord culturel — dans les conditions du gouvernement de coalition, de la lutte pour le pouvoir politique où les occupations culturelles furent reléguées au second plan —, jusqu'à la fondation de la Société Polono-Hongroise, la Société Mickiewicz était seule à représenter la culture polonaise en Hongrie...

1) La décennie précédant la deuxiéme guerre mondiale

Dans les cadres étroits de cet article, il serait impossible d'épuiser le sujet de l'histoire entière de la Société; aussi y avons-nous renoncé[9]. Contraint de choisir, nous relèverons les points les plus importants, dont le premier est justement le culte de Mickiewicz, répandu en Hongrie par les conférences, articles, et autres publications de la Société.

[9] Je ne possède malheureusement qu'une documentation très insuffisante concernant l'histoire des premières années de la Société. Une recherche poussée devra un jour mettre au clair cette période.

Edgár Palóczi, premier secrétaire de la Société, a fait une conférence le 20 novembre 1935, à l'occasion du 80e anniversaire de la mort du poète, sous le titre «Mémoire de Mickiewicz». Il est également l'auteur du premier compte-rendu qui présente le culte de Mickiewicz en Hongrie avant la fondation de la Société[10]. Edgár Palóczi a également fait une conférence sur Mickiewicz, à la Radio, le 27 juillet 1937[11]. Le 140e anniversaire de la naissance du poète fournit également l'occasion de nombreuses manifestations. Le 13 février 1938, Elemér Dsida fait une conférence à Győr, sous le titre «Adam Mickiewicz dans l'âme polonaise». Le 16 octobre de la même année, Edgar Palóczi parle de la «Poésie de Mickiewicz» à Kiskunfélegyháza, le 6 novembre 1939 la Société se produit à Debrecen, où János Kertész fait une conférence sur l'amour de la liberté chez Mickiewicz, et à la fin de l'année, à la séance du 14 décembre, à Budapest, le vice-président de la Société, János Sziklay, nestor des journalistes hongrois, présente la traduction hongroise de Pan Tadeusz. L'année suivante, la Société arrive jusqu'à Kassa, réannexé pour quelques années à la Hongrie, d'après les premiers actes viennois, où le président Lukács fait une conférence sur Petőfi et Mickiewicz (le 26 février 1939)[12]. Il faut aussi mentionner la proposition faite par la Société en 1937, à la Préfecture de Budapest, de baptiser une rue du nom de Mickiewicz[13]. Le projet ne fut malheureusement pas réalisé, vu que l'année précédente une rue a déjà été baptisée du nom de Piłsudski.

C'est dans sa première période également que la Société commence la publication de la «Bibliothèque Polono-Hongroise», rédigée par Edgár Palóczi. La collection contient des articles de vingt pages à peu près, pour la plupart les textes des conférences tenues antérieurement par les membres de la Société. En 1936, cinq cahiers sont déjà parus: 1. Edgár Palóczi: Le comte Woroniecki Korybut Miciszlav, 2. János Kertész: Hungaria et Polonia. Bibliographie des relations hongaro-polonaises. 3. Edgár Palóczi: Rois polonais en Hongrie, 4. Ferenc Olay: L'Accord culturel polono-hongrois et la liberté des deux nations, 5. János Kertész: La Pologne et les Andrássy. D'autres livres paraissent, en dehors de la collection, mais également par les soins de la Société; ainsi l'imposante étude d'Endre Veress sur István Báthori (1937), un recueil de traductions de Tuwim par Árpád Bardócz: Le Septième automne (Hetedik

[10] PALÓCZI EDGÁR, «Mickiewicz Magyarországon» [Mickiewicz en Hongrie]. *Magyarország és Lengyelország*. Budapest, 1936, pp. 159—61.

[11] «Działalność Federacji Stowarzyszeń Polsko-Węgierskich...» op. cit. p. 43. Cette publication complète nos connaissances concernant les manifestations polonophiles en Hongrie pendant l'entre-deux-guerres.

[12] KERTÉSZ, «Towarzystwo...» op. cit. p. 280.

[13] V. manuscrit nº 136/1937 des archives de la Société, au département des manuscrits de la Bibliothèque de l'Académie Hongroises des Sciences.

ősz; 1938), le petit livre de Pál Nyáry, intitulé «Amitié polono-hongroise» (1938) et autres.

La collection «Bibliothèque polono-hongroise» avait d'autres projets de publication dignes d'être mentionnés, parce qu'ils éclairent les intentions de la Société dans le domaine de la presse et des conférences. Les plus intéressants de ces projets: László Erdős: La légion polonaise en Hongrie (en 1848 et 49), Edgár Palóczi: Vie et oeuvre de Mickiewicz. D'autres sujets mentionnés sans nom d'auteur: Monuments polonais en Hongrie, Amitié polonaise dans la poésie hongroise (Anthologie), Familles de noblesse polonaise en Hongrie, Hongrois à Dancka[14].

La simple énumération bibliographique de l'activité de conférencier et de publiciste des membres de la Société, poursuivie en dehors des cadres de la Société, dépasserait les possibilités limitées de ce travail. Mentionnons les comptes-rendus des membres sur leurs séjours en Pologne, sur des événements polono-hongrois, les différents articles et ouvrages littéraires. L'important travail de publiciste d'Endre Bajcsy-Zsilinszky (devenu plus tard une figure célèbre de la résistance) méritera une analyse plus détaillée. János Kertész, secrétaire de la Société, consacre ses articles presque exclusivement à la politique quotidienne et souvent à la cause de la révision de Trianon; dans les cadres de la Société il s'occupe en même temps de questions littéraires et culturelles avant tout[15].

Le comité directeur de la Société, lors d'une séance à la fin de l'année 1935, a décidé de faire frapper des médailles commémoratives de Mickiewicz et de les décerner chaque année à ceux qui obtiendraient un succès remarquable dans l'approfondissement des rapports polono-hongrois. Un côté de la médaille représente le buste de Mickiewicz, avec son nom, les dates de sa naissance et de sa mort. L'autre côté porte en guirlande le nom du lauréat, la date du décernement de la médaille, et tout autour l'inscription suivante: «Grand prix de la Société Hongroise de Mickiewicz». Nous avons réussi à identifier les lauréats suivants: en 1935, deux historiens: Adorján Divéky et Marian Zdziechowski, en 1936: l'historien Endre Veress et la poétesse Kazimiera Iłłakowiczówna, en 1937: l'historien Jan Dabrowski, le deuxième lauréat me reste inconnu; j'ignore également ceux de l'année 1938; en 1939, la médaille est décernée à János Sziklay, traducteur du Pan Tadeusz et à l'historien Imre Lukinich[16].

[14] KERTÉSZ, «Lengyelország és az Andrássyak...» [La Pologne et les Andrássy]. Op. cit., sur la page de titre.

[15] KERTÉSZ JÁNOS, «Lengyelország a magyar sajtóban» [La Pologne dans la presse hongroise]. *Édition de la Société Hongroise de Mickiewicz*. Budapest, 1938.

[16] «A Társaság leveleskönyve» [Recueil des lettres de la Société] et KERTÉSZ, «Towarzystwo...» op. cit. p. 282.

En ce qui concerne les rapports polonais de la Société, il faut mentionner le séjour du président Lukács et du secrétaire Kertész, en mai 1939, qui, invités par la Société István Báthori de Varsovie, visitent Cracovie, Vilnius et Varsovie et y font des conférences. En échange, le professeur Janusz Pajewski et l'ancien maréchal Karol Polakiewicz sont venus faire des conférences á Budapest et à Debrecen. En mai 1939, s'est ouvert à Budapest l'Institut Polonais qui, en collaboration étroite avec la Société, a grandement contribué à l'approfondissement des relations culturelles. Le directeur de l'Institut Polonais, mgr Zbigniew Załęski, jeune historien, avait participé, déjà avant l'ouverture de l'Institut, au programme de la Société organisé à Kassa, et y avait fait une conférence[17].

Presque toutes les manifestations de la Société ont trouvé un écho dans la presse de la capitale et même de la province[18], et aussi dans les journaux semi-officiels, de langue étrangère, ainsi dans le «Pester Lloyd»[19], subventionné par le gouvernement; la «Gazette de Hongrie», de langue française, a publié plus d'une fois en entier les conférences prononcées dans la Société. Le journal de la Société István Báthori de Varsovie suivait également l'activité de la Société[20].

Le 1er septembre 1939 ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la Société.

2) Les années de la IIe guerre mondiale

A partir de la deuxième moitié du mois de septembre 1939, la Société voit se dresser devant elle de nouvelles tâches. A travers la frontière polono-hongroise récemment tracée, des milliers de réfugiés polonais entraient dans le pays. La Société consacrait beaucoup d'attention aux réfugiés, avant tout aux savants et écrivains. Les nouvelles circonstances gênaient un peu l'activité traditionnelle de la Société, mais ne la contraignirent pas un moment à l'abandonner. Le gouvernement hongrois a autorisé, malgré les circonstances, l'activité de la Société; le consulat polonais de Budapest poursuivit également son activité pendant longtemps encore.

La Société a eu une séance le 11 décembre de la même année, à son club habituel, au «Fészek». Les conférences qui y ont été pronocées faisaient habilement ressortir que la cause polonaise avait aussi des amis allemands à l'époque de la Jeune Allemagne, et que cette cause possédait encore des forteresses à l'étranger. Edgár Palóczi, le premier secrétaire avait fait une

[17] KERTÉSZ, «Towarzystwo...» op. cit. p. 280.

[18] Cf. KERTÉSZ, «Lengyelország a magyar sajtóban» [La Pologne dans la presse hongroise].

[19] *Pester Lloyd*, 24 et 29 novembre 1935 et n° 90, 1936.

[20] *Przegląd Polsko-Węgierski* [Varsovie] 1936, n° 1, p. 10; 1937, n° 5, p. 8; 1938, n° 6, pp. 24, 26, 28; 1938, n° 7, pp. 14—5, 18—9; 1939, n° 1, pp. 12, 14; n° 2, pp. 19, 21.

conférence sur «Lenau le polonophile», et Mme Klára Máthé Lakner récitait des poèmes du poète allemand qui se rapportaient à la Pologne. Mme Vilma Mányoki, écrivain, a rendu compte de sa visite à la Bibliothèque Mickiewicz de Paris. Le secrétaire de la Société, János Kertész a fait connaître les nouvelles tâches de la Société. Aux places laissées vacantes par les membres décédés, la Société a élu de nouveaux membres...

Au cours de l'année 1940, il y eut trois séances, à notre connaissance: le 11 mars, le 7 octobre et le 9 décembre. A la première, le grand poète figure sur le programme; un de ses chefs-d'oeuvre, le Pan Tadeusz est évoqué par János Sziklay. A la dernière de ces séances, une conférence est prononcée sur Mickiewicz et Dante, par le peintre Tibor Csorba, rapporteur polonais de l'office pour les Réfugiés au Ministère des Affaires Intérieures. La fraternité polono-hongroise figurait aussi comme sujet à cette séance, dans la conférence de Béla Bevilaqua-Borsodi: «Hongrois et Polonais». La même idée est représentée dans la conférence de Kornél Tábori: «Bem en Transylvanie». Ce dernier sujet trouvait son actualité dans les seconds traités de Vienne, qui avaient réannexé, quelques mois auparavant, le Nord de la Transylvanie à la Hongrie.

L'année suivante, l'activité de la Société s'anime, bien que le pays soit de plus en plus proche de la guerre. Le premier quart de l'année est marqué par trois séances dont nous avons connaissance: le 10 février, le 3 mars et le 31 mars. L'intérêt de la première se trouve dans la conférence de László Inárcsi Farkas: «Ady et les Polonais». Le sujet est significatif; rappelons-nous ce que dit Ady de la Pologne, dans son poème intitulé «Chant sur la Vistule»: «Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de mort Là où on sait chanter et accoucher». Le point capital de la deuxième séance est la conférence du journaliste Sándor Sármándi: «Krasinski et Madách». Le sujet est également révélateur et évoque la question de Madách: Quel est le but de l'homme? — avant l'entrée en guerre. A la même séance, le poète István Kertész, frère du secrétaire, présente quelques-unes de ses traductions de Tuwim et son propre poème sur Mickiewicz. A la dernière séance, Béla Bevilaqua-Borsodi parle des événements de Cracovie en 1846, et János Kertész de Sienkiewicz.

L'attaque contre la Yougoslavie et la guerre impérialiste contre l'Union Soviétique semblent figer l'activité de la Société; nous ne trouvons trace d'aucune manifestation nouvelle. Même en 1942, une seule séance de lecture est signalée: le 8 juin, les directeurs de la Société, invités par la Société Szigligeti de Nagyvárad (Oradea) y font une conférence.

En 1943, l'activité de la Société s'anime dans une mesure importante, sous l'influence de la tournure désavantageuse que prend la guerre pour l'Allemagne. On organise plus d'une fois des manifestations avec la participation des réfugiés polonais. Ceux qui figurent sur le programme de la soirée musicale et littéraire du 25 mars sont presque tous des Polonais. Wanda

Dziembowska récita des poèmes. Puis Witold Luczyński, l'ancien ténor de l'Opéra de Varsovie entra en scène. L'ancien chef d'orchestre de la Radio de Cracovie, Adam Herman présenta des morceaux pour violon. Enfin Zdzisław Antoniewicz (actuellement journaliste à Posnań) lut une de ses nouvelles. La Société a pris part à la représentation du théâtre de marionnettes de l'offlag polonais à Ipolyhidvég, aussi bien qu'au concert du 15 mars — alors fête nationale de la Hongrie — organisé par l'Institut Polonais et par le Conservatoire National de Musique. A la séance du 6 mai, Béla Bevilaqua-Borsodi fit une conférence sur Krudy et les Polonais, et Tadeusz Fangrat (actuellement premier secrétaire de la Société Polono-Indienne à Varsovie) récita en polonais ses traductions des poèmes d'Endre Ady. A la séance du 6 juin, Kazimiera Iłłakowiczówna vint de Kolozsvár (actuellement Cluj) à Budapest et y fit lecture de ses Mémoires. La manifestation la plus réussie de l'année a été celle d'Esztergom (le 17 octobre), dont le programme comprenait le choeur de l'offlag polonais d'Ipolyhidvég. A la même séance, le président de la Société, György Lukács a donné un aperçu des manifestations historiques de l'amitié polono-hongroise, et János Kertész a fait une conférence sur l'histoire des relations culturelles polono-hongroises. Pour les hôtes polonais qui ont participé à la séance, Ernő Kovács-Karap faisait la traduction[21].

L'activité de la Société continue l'année suivante aussi. Un congrès ambulant a lieu à Eger le 5 février 1944. Les Polonais y sont représentés par le commandant Stanisław Fleszar qui fait une conférence sous le titre «La Société Mickiewicz et nous». Au même mois de février, deux membres de la Société élus antérieurement tiennent leurs discours de réception: József Waldapfel, alors maître de conférence, sur Jan Kochanowski (l'illustrant de ses propres traductions de Kochanowski), et l'auteur de ces lignes, sous le titre «Danses polonaises en Hongrie»[22]. Et ce fut le chant de cygne de la Société pendant la deuxième guerre mondiale. Elle avait bien projeté d'autres manifestations encore, ainsi le 26 mars a Nagykőrös[23], mais le pays «allié», au moment où il se préparait à se retirer de la guerre, fut envahi par les Allemands, le 19 mars, à l'aube. Les nazis font immédiatement la chasse aux représentants des mouvements progressistes, une attaque frontale est menée dès le premier jour contre toutes les institutions polonaises. La Société Mickiewicz se retire à son tour dans l'illégalité...

La Société a une activité éditoriale même pendant la guerre, y compris les projets et les éditions interrompues à cause des événements. Il faut commencer par les deux petits livres de János Kertész: Souvenir d'Adam Mickiewicz en Hongrie (1941) et Mickiewicz, Paderewski, Sienkiewicz (1943). La

[21] KERTÉSZ, «Towarzystwo...» op. cit. pp. 281—5.

[22] Paru in *Rocznik Polski. Kalendarz Polaka na Węgrzech na rok 1944*, pp. 215—26.

[23] *Nagykőrösi Hírlap*, 18 mars 1944.

brochure de Pál Nyáry, intitulée «La peinture polonaise» paraît en 1943[24]. György Lukács, président de la Société, projetait la rédaction et l'édition d'un ouvrage intitulé «Les Hongrois pour les Polonais»[25]. Parmi les documents de la Société, nous découvrons les traces d'un important volume, intitulé Polonais et Hongrois, rédigé par Béla Bevilaqua-Borsodi et Kornél Tábori, sous presse déjà en 1944, et abandonné après trois cent pages environ...[26] Nous ne savons rien de précis sur le destin du manuscrit.

L'occupation allemande du pays a également fait des victimes parmi les membres de la Société. Le coprésident Endre Bajcsy-Zsilinszky, un des chefs de l'opposition parlementaire et de la résistance bourgeoise hongroise, a reçu à coups de revolver les gendarmes allemands qui venaient l'arrêter. Blessé, il tomba en captivité et fut exécuté en prison, près de la frontière autrichienne. Edgar Palóczi est également victime du fascisme, mais nous ignorons les circonstances de sa mort. Le secrétaire János Kertész, astreint au S.T.O., fut tué par les fascistes lors d'une tentative de fuite, dans une forêt. Jenő Mohácsi — vice-président entre autres du Pen Club hongrois — fut saisi par le «Gestapo» et transporté vers l'Allemagne dans un wagon plombé, où il est mort en chemin. Kornél Tábori fut également assassiné par les nazis, en 1944.

Gardons pieusement le souvenir des martyrs de la Société.

3) Après la libération

La Libération trouve la Société fort décimée. La capitale, après un siège de deux mois, est en ruines. L'inflation prend des proportions effrayantes. La tâche la plus urgente est la reconstruction du pays, elle occupe toutes les forces. Pour le moment, un gouvernement de coalition dirige les affaires.

Malgré les conditions extrêmement difficiles, il s'est trouvé des mickiewiczistes passionnés qui ont pris en main la réorganisation de la Société. La tâche qui se dresse devant la Société va changer par rapport à celle des deux périodes précédentes. Le but est de développer l'amitié historique, cul-

[24] Irena Michalak, «Bibliografia poloniców węgierskich 1939—1945», *Biuletyn Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej*. Varsovie, 1958, t. VI. n° 3, p. 127. Cette bibliographie témoigne avant tout de l'importance de l'activité éditoriale en langue polonaise ou touchant les affaires polonaises dans la Hongrie de la deuxième guerre mondiale.

[25] Kertész, «Towarzystwo...» op. cit. p. 283.

[26] Plusieurs entreprises semblables ont échoué à la suite des événements de la guerre, de l'invasion allemande du pays, puis de la prise du pouvoir le 15 octobre 1944, par les fascistes. Le grand dictionnaire polono-hongrois de Walerian Klafaczyński, déjà sous presse à l'Athéneum, a été sauvé par Dénes Szabó, maître de conférence à l'université. (Actuellement à la Bibliothèque de l'Institut Culturel de Hongrie à Varsovie, comme don de l'auteur de ces lignes). Mon livre intitulé «Magyarok és lengyelek» [Hongrois et Polonais], en langue française et anglaise, destiné à paraître en une édition illustrée chez l'éditeur Cserépfalvy, fut resté également à l'état d'épreuve.

turelle et littéraire, en un temps où aucun accord culturel ne régle encore la collaboration culturelle entre les deux pays.

Dans les premières années qui suivent la Libération, nous trouvons à la tête de la Société deux anciens: Ferdinánd Leó Miklósi, et Béla Bevilaqua-Borsodi. Les nouveaux membres du comité directeur sont le journaliste Jenő Ungvári et Lajos Szimonidesz, historien des religions. A cette époque, l'auteur de ces lignes était déjà membre du comité et s'efforçait, avec les autres membres du comité, de faire succéder un travail régulier et organisé à la pratique assez chaotique, souvent improvisée et instinctive des années précédentes. La tâche principale qui se dessinait dans la discussion de la séance de réorganisation, comprenait la célébration des grands anniversaires de l'histoire polonaise, la participation à la vie culturelle de la Pologne et sa transmission à la Hongrie, et — vu le proche centenaire de la guerre d'indépendance hongroise —, la célébration de la plus importante de nos traditions communes: celle de la guerre d'indépendance commune de 1848-49.

Dans ce qui suit, je ne mentionnerai que les manifestations et les séances les plus importantes[27].

La Société ressuscitée a consacré une de ses premières séances publiques importantes à l'écrivain polonais le plus populaire, Henryk Sienkiewicz, à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance: la séance a eu lieu au club «Fészek», le 15 novembre 1946. Le conférencier était dr. Sándor Sík, professeur d'histoire littéraire à l'Université de Szeged (frère du futur ministre hongrois des affaires étrangères). Du côté polonais, c'est Dr. Witold Warkałło, attaché de presse (actuellement professeur d'université à Varsovie) qui a pris la parole pour faire l'éloge des mérites de Sienkiewicz, du point de vue de la Pologne renaissante[28]. La soirée fut ouverte par une de mes élèves, Éva Molnár, qui récitait le poème intitulé «Au Polonais» du célèbre poète catholique Sándor Sík.

La séance suivante qui mérite attention, a été consacrée, le 7 décembre 1946, à la mémoire de Tadeusz Kościuszko et du soulèvement de Cracovie

[27] Nous avons connaissance des manifestations suivantes: la première séance a été consacrée à la mémoire de Mickiewicz, à l'occasion du 90e anniversaire de sa mort. La séance du 11 mars 1946 a été consacrée à l'écho qu'eut en Hongrie le soulèvement paysan de Cracovie en 1846, la séance du 3 mai à la fête nationale polonaise, celle du 16 juin à la commémoration du 25e anniversaire de l'activité artistique de Jan Ciepliński, celle du 11 septembre à l'anniversaire de la mort d'Albert Nyáry, ancien directeur-gérant de la Société. Le 21 février 1947, ont été prononcées les conférences de Dr. István Gál et de Lajos Szimonidesz sur les relations historiques, le 12 mars, des conférences sur le même sujet, le 3 juin a eu lieu un grand concert polono-hongrois, le 22 avril Béla Bevilaqua-Borsodi parla du Martyr polonais de la Commune de 1871, le 2 mai, une séance fut consacrée à la fête nationale polonaise, le 30 juin László Bóka, secrétaire d'État a fait une conférence sur Bronisław Huberman, à la séance consacrée à la Libération de la Pologne les anciens réfugiés polonais ont pris congé de la Société (cf. «Magyar—Lengyel Kurir» 31 juillet 1947, nos 4—7, pp. 17—8).

[28] *Magyar—Lengyel Kurir*, 30 novembre 1946.

en 1846. Béla Bevilaqua-Borsodi a fait connaître l'histoire et l'arrière-plan international du soulèvement. L'auteur de ces lignes a fait une conférence sur la Mémoire de Kościuszko en Hongrie. Lui-même a écrit l'histoire du soulèvement galicien de 1846 dans l'opinion publique hongroise, et a fait une conférence sur le même sujet à la Radio. Son étude a été publiée en français dans une revue d'histoire hongroise et parut aussi en tiré à part, sous l'égide de la Société Mickiewicz[29].

A la séance du 8 avril 1947, l'assemblée générale de la Société a élu un nouveau comité directeur, c'est-à-dire a complété l'ancien par de nouveaux membres. Les nouveaux co-présidents furent Miklós Kállay, écrivain, et István Kniezsa, professeur d'université; les vice-présidents: István Gergely, Jenő Nádor, Lajos Szimonidesz, Károly Tuba et József Trencsényi-Waldapfel. Béla Bevilaqua-Borsodi fut élu premier secrétaire et Jenő Ungvári secrétaire. Commissaires aux comptes: Ferenc Kelecsényi et Pál Nyáry. Les membres du comité: dr. István Csapláros, dr. Adorján Divéky, professeur d'université, l'écrivain Milán Füst, László Gáldi, professeur d'université, Lőrinc Kovai, écrivain, Sándor Kozocsa, bibliographe, Andor Peterdy, poète, dr. György Radó, traducteur, et Bence Szabolcsi, musicologue[30].

Le 29 septembre 1947, la Société a organisé une séance solennelle à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l'hymne national polonais. Le discours d'ouverture a été prononcé par dr. Alfred Fiderkiewicz, ambassadeur de Pologne en Hongrie. Après, László Márkus, directeur de l'Opéra, parla de l'importance qu'eut l'hymne national pour les Polonais au cours de la dernière guerre. A cette même séance, qui fut une des mieux réussies, Janusz Moszczeński, secrétaire auprès de l'Ambassade de Pologne en Hongrie, fit encore une conférence sous le titre «De l'hymne national à la marche Kościuszko». Après les paroles de György Alexits, secrétaire d'État au ministère de la culture, István Csapláros a fait une conférence sous le titre «Le motif «Jeszcze Polska nie zginęła» dans la littérature hongroise». La soirée s'est conclue par l'intervention de Mme József Magyar-Csik, chef du comité des dames de la Société, qui a exprimé l'hommage des femmes hongroises devant l'hymne polonais; enfin le co-président Lajos Szimonidesz a prononcé un discours de clôture[31].

Les derniers mois de l'année 1947 ont été remplis par les préparatifs de la commémoration de la guerre d'indépendance de 1848-49. Béla Bevilaqua-Borsodi et l'auteur de ces lignes ont préparé le manuscrit d'un ouvrage de vulgarisation sur les relations de 1848. Les premiers chapitres de ce livre en

[29] «La Révolution de Cracovie de 1846 et la Hongrie». *Revue d'Histoire Comparée*, 1947. Tirage à part édité par la Société Hongroise de Mickiewicz. Budapest, p. 11.

[30] *Magyar—Lengyel Kurir* 1947, nos 4—7, pp. 20—2.

[31] *Kurier Węgiersko—Polski*, 15 octobre 1947, pp. 7—9.

préparation ont été présentés successivement, sous forme de conférences, aux séances du printemps 1948.

C'est à ce moment que se situe un grand et regrettable événement dans la vie de la Société. La Société Polono-Hongroise, importante organisation de masse, fondée le 13 juin 1947, a proposé une fusion à la Société Mickiewicz, qui est devenue la «Section scientifique, littéraire et de presse» de la Société Polono-Hongroise. Cette fusion signifiait pratiquement la dissolution de la Société, qui nous atteignait douloureusement, puisque notre Société avait fonctionné pendant près de vingt ans et veillait à l'amitié polono-hongroise dans des conditions souvent très difficiles, quand la politique officielle du gouvernement préconisait la collaboration avec l'Allemagne hitlérienne.

Un nouvel élément apparait dans l'activité de la Société, par rapport à celle des périodes précédentes: l'édition du bulletin bilingue «Magyar-Lengyel Kurir» [Courrier Polono-Hongrois], c'est-à-dire «Kurier Polsko-Wegierski». Le rédacteur en chef de cet organe de la Société, semi-périodique et bilingue, fut Ferdinánd Leó Miklósi, la périodoque a été rédigée en réalité par Jenő Ungvári, journaliste, et son premier collaborateur, Béla Bevilaqua-Borsodi. La revue reflétait les événements hongrois ayant trait à la Pologne, rendait compte des événements polono-hongrois, des séjours en Pologne des délégations et des sociétés sportives, publiait des mémoires sur l'accueil des réfugiés polonais en Hongrie pendant la guerre. Par sa nature bilingue, elle voulait être, et elle fut, un pont entre la Pologne et la Hongrie. Elle publiait de temps en temps des articles de caractère scientifique, comme celui de Jan Reychman, ancien réfugié polonais (aujourd'hui professeur de la philologie turcque de l'Université de Varsovie); «Hôtes polonais à Bártfafürdő aux XVIII[e] et XIX[e] siècles», et l'article de László Gáldi: «La force rayonnante de l'humanisme hongrois et polonais»[32].

Le manuscrit de l'ouvrage consacré à la lutte commune à l'époque de la guerre d'indépendance n'a pas été édité. Il n'a pas été édité, parce que la Société, par les soins de laquelle il aurait pu paraître, a été dissoute. Pourtant, le travail n'était pas entièrement inutile, parce que j'ai présenté la matière dépouillée et rédigée avec une grande exigence scientifique au concours du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Académie des Sciences de la Pologne, en 1948, où j'ai reçu un prix, sur l'avis du professeur Jan Dąbrowski (le manuscrit a été rédigé en hongrois).

La Société mérite ce compte-rendu commémoratif, et pour plusieurs raisons. D'abord, c'était la seule société portant ce nom en dehors des frontières de la Pologne. Puis elle a eu ses mérites modestes, mais indiscutables, elle a eu aussi ses martyrs de guerre. Enfin, sa première génération est en train

[32] *Magyar—Lengyel Kurir*, 15 octobre 1947, pp. 14—6. et 1947, n[os] 4—7, pp. 24—7.

de disparaître. Béla Bevilaqua-Borsodi, le magnifique volontaire d'artillerie de la première guerre mondiale est mort, et Lajos Szimonidesz, l'évêque protestant révolté, l'excellent historien des religions également. Ferdinánd Leó Miklósi, qui a été membre de la délégation hongroise en 1910, à l'inauguration du monument de Grunwald à Cracovie, qui a été volontaire hongrois dans la légion polonaise luttant pour la Hongrie en 1914-15, et qui, personnification de la conscience de la Société, dépouillait encore naguère les journaux pour des documents la concernant, Leo Miklósi Ferdinánd approche de ses 80 ans. Aujourd'hui, une dizaine de membres de la Société survit tout au plus; il est grand temps de rassembler les documents qu'ils possèdent.

Je n'ai malheureusement pas ici la possibilité d'analyser l'activité littéraire, de publiciste et de propagande de la Société. Le travail des membres porte les traces d'une bonne volonté évidente —, et d'une compétence insuffisante. Ils avaient souvent de bonnes idées, des projets et des sujets intéressants. Certains articles et conférences témoignent d'un pressentiment de la nécessité des recherches comparatives, et font même les premiers pas dans l'étude de l'histoire des relations polono-hongroises. Mais on manquait de spécialistes, les universités hongroises avaient tout au plus des lectorats polonais, les centres bibliographiques et documentaires n'existaient pas encore. Les traducteurs et les historiens de la littérature étaient très rares. Ce sont ces circonstances qui ont empêché la Société de publier une édition hongroise des oeuvres de Mickiewicz —, ce qui était sa plus grave faiblesse (La Société La Fontaine en Hongrie avait publié en 1926, les fables complètes de La Fontaine — «La Fontaine összes meséi». Budapest. Éd. Dante — traduites par Béla Vikár, Andor Kozma et Árpád Zempléni, et annotées par János Hankiss). Les membres de la Société, à défaut de compétence, avaient le coeur ardent et beaucoup d'enthousiasme. Dans cette appréciation rétrospective, l'activité de la Société — jusqu'en 1944 — apparaît comme une grande et constante improvisation, qui a aujourd'hui, vu l'absence de sérieuses publications sur Mickiewicz en Hongrie — une importance démonstrative plutôt que des mérites effectifs. En

[33] Le présent article est loin d'épuiser l'histoire de la Société. Mon intention a été seulement de présenter mes hommages à la mémoire de la Société et d'attirer l'attention de la nouvelle génération sur un domaine qui reste à dépouiller. En dehors des sources mentionnées, les archives des ministères hongrois compétents doivent conserver de nombreux documents. Pour la période de la deuxième guerre mondiale, il faudrait dépouiller la presse des anciens réfugiés polonais de Hongrie. Pour la période d'aprés la Libération, on trouverait des renseignements dans la série complète des numéros du *Kurier Polsko—Węgierski* et dans la presse hongroise et polonaise contemporaine. De précieux documents doivent se trouver dans les archives de Ferninánd Leó Miklósi, le membre le plus dévoué du comité directeur, et dans celles de Pál Dombszki. Pour la dernière période, il faudrait également dépouiller les matériaux des archives des organes compétents. La bibliographie de Sándor

ce qui concerne la période d'après la Libération, c'est justement la propagation des oeuvres d'Adam Mickiewicz, poète éponyme de la Société, qui fut reléguée au second plan...

La Société n'en méritait pas moins, à l'occasion de cet anniversaire, ce modeste article commémoratif[33].

Kozocsa «Mickiewicz en Hongrie» [1955] — contient de précieuses données bibliographiques. Enfin nous renvoyons les chercheurs aux numéros suivants de certaines revues et journaux: *Függetlenség*, 19 février 1939; *Gazette de Hongrie*, 1935, n° 38; 1939, n° 5; *Budapesti Szemle*, 1935, pp. 238—42; *Nemzeti Újság*, 1935, n° 270; *Magyar Hírlap*, 1935, n° 268; *Budai Napló*, 1938, n^{os} 27—8; *Pesti Napló*, 1938, n° 122, etc.

Grâce à des recherches plus détaillées, mieux documentées et à une analyse plus poussée des événements et des autres sociétés contemporaines, l'histoire et l'activité de la Société pourraient être mises à la place qu'elles méritent dans l'histoire des relations littéraires et culturelles entre la Pologne et la Hongrie... Nous tenions ici à attirer seulement l'attention sur un domaine qui attend d'être défriché.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 153—161 1971 Debrecen

Les rapports slaves des coutumes populaires hongroises et l'histoire du peuplement

Z. UJVÁRY

La question de l'emprunt se pose bien souvent dans les recherches folkloriques hongroises, notamment au cours des études comparatives. Le fait n'a rien de surprenant, étant donné qu'il existe, entre la culture du peuple hongrois et celle des peuples voisins, de nombreux points de contact. Ceux-ci ont été surtout mis en relief par rapport aux peuples slaves auxquels on attribue l'origine de bon nombre de coutumes et de croyances. G. RÓHEIM, dans un recueil d'études consacrées aux usages et croyances populaires de Hongrie, a formulé la thèse suivante: «En considérant que, du point de vue de la croyance populaire hongroise, le rôle désicif revient au donneur immédiat; que les Hongrois ne pouvaient puiser ces éléments européens que dans des sources slaves; qu'on peut démontrer l'influence particulière des peuples voisins de langues slaves — *il n'est pas du tout exagéré de dire, d'une manière sommaire, que la croyance populaire hongroise est une croyance populaire slave*»[1].

Au fond, G. RÓHEIM veut dire par là que les Hongrois ont emrunté la plupart de leurs croyances et de leurs usages aux peuples slaves voisins. Pendant longtemps, les chercheurs se sont contentés de démontrer l'existence de ces liens. Depuis un certain temps, cependant, on voit s'imposer, peu à peu, l'idée que, dans l'étude de ces liens, il faut mettre au premier plan le rôle que jouent, dans ce domaine, les problèmes du peuplement. D'où la nécessité d'apporter des corrections à la thèse de G. RÓHEIM[2].

D'après nos propres recherches, nous estimons que ce qu'on considère comme domaine slave de la tradition hongroise, n'est pas, dans la plupart des cas, un fait d'emprunt, mais bien une tradition slave devenue hongroise.

[1] G. RÓHEIM, «Magyar néphit és népszokások». Budapest, 1925, pp. 334—5.

[2] V. DIÓSZEGI, «A honfoglaló magyar nép hitvilága („ősvallásunk") kutatásának módszertani kérdései», *Ethnographia* LXV (1954), p. 23; J. BARABÁS, «Kartográfiai módszer a néprajzban». Budapest, 1963, p. 99.

Il en est de même pour d'autres relations étrangères. Pour notre part, c'est l'histoire du peuplement qui nous servira de point de départ.

En ce qui concerne la migration intérieure — phénomène sur lequel GY. ORTUTAY appelle l'attention des chercheurs[3] —, nous l'intégrons à la notion du peuplement, étant donné que les acteurs d'une migration s'installent sur tel ou tel territoire avec l'intention de s'y fixer pour toujours. Les nouveaux venus enrichissent de traits originaux la culture traditionnelle du territoire. On sait que le renouvellement de la population dans une région a pour résultat le renouvellement de la tradition locale et même celui des biens culturels, et que les déplacements d'une population modifient sa culture. Les habitants nouvellement installés mettent en marche des courants culturels susceptibles d'influencer leurs voisins immédiats et même de rayonner plus loin[4]. On peut admettre que même ceux qui arrivent les mains vides n'en transportent pas moins une partie de leur culture à l'endroit où ils se fixent. Cela se voit, d'une manière particulièrement nette, dans le domaine folklorique[5]. C'est pourquoi l'histoire locale peut nous aider à déterminer non seulement l'origine des habitans, mais aussi celle de leur culture[6].

En étudiant les traditions de la culture populaire, celles notamment de l'agriculture, on observe des phénomènes en apparence contradictoires. On constate, par exemple, que le vocabulaire de l'agriculture renferme de nombreux mots d'origine slave. On pose néanmoins la question — et pour cause — si les populations slaves pouvaient réellement jouer un rôle aussi significatif dans l'histoire de l'agriculture hongroise que le laissent supposer les mots d'emprunt du vocabulaire agricole. En somme, on en vient à conclure que les Slaves qui vivaient dans le bassin des Carpathes à l'arrivée des premiers Hongrois, n'ont exercé aucune influence profonde sur notre agriculture. Certes, ils ont pris part dans les travaux agricoles, mais leurs activités n'en ont pas modifié le système et les structures[7]. On reconnaît, par contre, la profondeur de leur influence dans la tradition folklorique, ce qui revient à dire que — à l'encontre de la culture matérielle dont les conditions ont évolué plus vite — es éléments du folklore se sont montrés plus résistants[8].

Comment expliquer ce phénomène?

Nous sommes d'avis qu'on peut envisager, en gros, deux hypothèses en ce qui concerne le domaine slave de notre culture populaire.

[3] GY. ORTUTAY, «A mai magyar belső vándorlás és a néprajzi kutatás». Két előadás. Budapest, 1947, p. 47.

[4] F. MAKSAY, «Néprajz és településtörténet», *Ethnographia* LIX (1948), pp. 49—53.

[5] J. BARABÁS, op. cit., p. 102.

[6] F. MAKSAY, op. cit., p. 51.

[7] L. K. KOVÁCS, «A magyar földművelő gazdálkodás kutatása». Budapest, 1948, p. 9.

[8] J. BARABÁS, op. cit., p. 102.

1° Ceux qui sauvegardent ces éléments de culture sont des Slaves magyarisés, installés dès l'arrivée des Hongrois dans le pays, ou bien, dans la plupart des cas, installés plus tard.

2° Cependant, les éléments en question pouvaient être empruntés à des Slaves, par exemple au moment des campagnes de recolonisation qui avaient lieu après la fin de l'occupation turque ou bien — en ce qui concerne les usages agraires — à l'époque des migrations ouvrières.

La conséquence du repeuplement dont nous venons de parler était une magyarisation intense, ce qui explique que, chaque fois que dans l'étude de la culture populaire hongroise l'origine étrangère n'était pas évidente sur le plan linguistique, on présentait les faits comme appartenant à la tradition hongroise.

D'après le témoignage de l'histoire du peuplement, nous estimons que l'influence étrangère sur le folklore hongrois, d'une part, l'assimilation de la culture étrangère et l'intégration des porteurs de la tradition, d'autre, part, ont connu leur première période d'intensité aux XVI[e] et XVII[e] siècles. Dans certaines régions, ce processus a abouti, en l'espace d'un siècle ou de deux, à une intégration complète.

La composition ethnique de la Hongrie a changé surtout après l'occupation turque. Auparavant, au Moyen Age, la grande majorité de la population, quelque 80 pour cent, est hongroise, le reste comprenant des Slovaques, des Saxons, des Roumains et des Rasciens.[9] Il semble donc que l'élément ethnique étranger n'a pas beaucoup d'importance dans la Hongrie médiévale. N'empêche qu'il doit déjà jouer un rôle significatif dans la formation des éléments étrangers de la culture populaire. Surtout là où la magyarisation est plus intense et où la culture étrangère devient, sur le plan linguistique, hongroise. Il ne fait pas de doute que, dans l'histoire du peuple hongrois, ce processus a pu commencer de bonne heure. I. Szabó a souligné le fait que, dans la paysannerie hongroise du Moyen Age tardif, on ne trouve plus aucune trace de ces éléments populaires étrangers qui remontent, en partie, à la vie nomade des Hongrois ou que les Hongrois ont assimilés sur place, à la suite de la cohabitation avec des peuplades surtout slaves. De même, on a vu vite s'absorber d'autres éléments étrangers qui, arrivés de divers côtés, pénétraient durant les sciècles du Moyen Age dans les rangs des Hongrois[10]. Le même phénomène s'est produit plus tard, surtout au cours des colonisations qui succédaient à la domination turque; à partir de ce moment, on dispose d'un plus garnd nombre d'exemples.

Tandis que dans la population de la Hongrie médiévale le nombre des étrangers est inférieur à celui des Hongrois, après la fin de l'occupation turque, à la suite des colonisations, le pourcentage des étrangers devient, dans certaines régions, plus élevé. On voit de nombreux villages se repeupler d'habitants de

[9] I. Szabó, «A magyar parasztság története». Budapest, 1940, p. 23.

[10] I. Szabó, op. cit., p. 23.

nationalités étrangères. Ici encore, qu'il nous soit permis de nous référer aux travaux de I. SZABÓ qui font apparaître nettement la migration à l'intérieur des frontières de la Hongrie. Naturellement, il ne s'agit pas seulement de l'installation d'éléments étrangers, mais aussi de Hongrois réinstallés, des paysans surtout, qui cherchent à s'établir ailleurs. Parlant de l'histoire de la paysannerie hongroise, I. SZABÓ ne manque pas de préciser: „C'était un phénomène particulier de la terre hongroise que cette migration intense dont les vagues, pendant plusieurs dizaines d'années après la fin de l'occupation turque, envahissaient le pays entier, emportant surtout des masses de paysans. D'après l'établissement du rôle des contributions des années 1715—1720, seulement 1/4—1/5 de la population habitait les régions précédemment occupées par les Turcs, et pourtant, celles-ci représentaient la moitié du territoire du pays. Les différences de densité de la population étaient, par endroits, d'importance: certaines régions du Nord étaient jusqu'á 20 fois plus peuplées que certaines autres de l'Alföld. Les différences étaient d'autant plus frappantes que la plaine était fertile et qu'on devait s'attendre, avec la fin des combats, à voir les paysans affluer en masses en direction de l'Alföld. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs, les interdictions légales et le pouvoir conjugué des seigneurs et des comitats n'ayant pu empêcher le mouvement. Cette nouvelle paysannerie hongroise de l'Alföld se recrutait dans différentes régions; ainsi, par exemple, dans le comitat de Arad, les localités hongroises ont vu s'installer des serfs venus de nombreuses régions: de Nógrád (Zimándújfalu), de Heves (Zimándköz) de Szatmár, de Máramaros et de Transylvanie (Mácsa), de Bihar, de Szabolcs et de Bereg (Nagyzerénd), de Gömör, de Borsod et de Heves (Pécska), de Hont, entre autres (Selénd), de la Transdanubie et de Orosháza (Újvarsánd).[11]

Au début du XVIII[e] siècle, les régions les plus dévastées et les plus abandonnées de la Hongrie étaient, après Bácska et Bánság, les comitats de Békés et de Csanád. La population de Gyula se composait uniquement de Serbes restés sur place. La pénétration des Hongrois n'a commencé qu'au début des années 1710. On a vu alors s'y installer des colons venus des comitats de Pest et de Nógrád[12]. Dans le comitat de Csongrád, grâce aux examens anthropologiques, on peut très bien délimiter la population nouvellement installée[13].

Des faits analogues, on pourrait en citer bien d'autres. Ces quelques exemples prouvent suffisamment, nous semble-t-il, qu'à la suite du repeuplement, dans différentes régions ethniquement hongroises, la population s'est trouvée mélangée, d'une part, d'autre part, on assistait à l'établissement de villages entièrement nouveaux peuplés de paysans hongrois venus de régions

[11] I. SZABÓ, op. cit., pp. 46—7; J. MANGA, «Ünnepek, szokások az Ipoly mentén». Budapest, 1968, pp. 13, 173.

[12] J. BARABÁS, «Békés megye néprajza a XVIII. században». Gyula, 1964, p. 6.

[13] L. BARTUCZ, «Pár szó az alföldi magyarság anthropologiájáról», *Néprajzi Értesítő* XI (1910), pp. 249—53.

éloignées. Ces nouveaux venus sauvegardaient leur culture, surtout lorsqu'ils formaient un bloc uni. Aussi peut-on supposer qu'il s'agit de transmigration chaque fois qu'on découvre, dans une région éloignée, quelque élément de culture caractérisant telle ou telle ethnie. Ainsi, par exemple, dans le cas de Pécska dont nous avons parlé plus haut. A partir du matériel recueilli à Pécska par L. KÁLMÁNY, on peut établir de nombreux parallèles avec les traditions *paloczes*. A titre d'exemple, je me réfère à une variante des jeux de pont où le refrain du chant qui accompagne le jeu *(haja, gyöngyöm, haja)* n'est connu que parmi les seuls *Paloczes*, mais qu'on retrouve aussi à Pécska, dans le comitat de Arad[14]. On n'a qu'à observer de plus près cette localité pour comprendre le phénomène et les rapports qui s'y expriment. Du reste, en examinant l'aire de diffusion de ce jeu, nous sommes amenés à tirer d'autres conclusions. Les parallélismes surgissent aussi dans la région de Jászság, ce qui s'explique, de toute évidence, par la pénétration des Paloczes dans cette région[15].

Après la transmigration, une communauté, si elle est assez importante, maintient pendant longtemps ses traditions. Il arrive qu'on rencontre, au milieu de ces communautés établies au même endroit et en bloc, des individus isolés ou quelques familles qui restent fidèles à leur tour, pendant un certain temps, à leurs coutumes. Il n'est pas exclu qu'un certain nombre d'éléments folkloriques de leur tradition pénètrent dans la communauté qui les accueille, notamment dans les cas où il se présente des individus exceptionnels dans les rangs des porteurs de la tradition[16]. Certains éléments de culture populaire se conservent particulièrement longtemps dans les traditions des femmes mariées. Ici, nous pensons, en premier lieu, aux pratiques magiques. Cela se manifeste aussi — et bien nettement — dans les rites de l'agriculture. Même si ces derniers n'ont pas d'importance pour l'ensemble du culte agraire, ils n'en éveillent pas moins notre attention, lorsque nous cherchons à saisir les rapports qui relient entre eux les phénomènes.

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, lors des migrations, on a pu observer que les groupes ethniques nouvellement installés conservaient, dans le milieu étranger, les éléments spécifiques de leur culture[17]. Chaque fois que l'établissement est récent et que l'appartenance ethnique est incontestable, les différences de culture que produit l'établissement, les phénomènes qui font

[14] L. KÁLMÁNY, «Koszorúk az Alföld vad virágaiból». I. Arad, 1877, p. 220.

[15] Z. UJVÁRY, «K otázke mad'arských a slovanských hier na mosty», *Slavica* I (1961), p. 215.

[16] Cf. Z. UJVÁRY, «Az egyén szerepe a népszokásokban», *Ethnographia* LXXVI (1965), pp. 501—17.

[17] J. BARABÁS, «Kartográfiai módszer a néprajzban». Budapest, 1963, pp. 51, 102.; GY. ORTUTAY, op. cit.; M. BELÉNYESSY, «Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél». Budapest, 1958; L. FÖLDES, «A Budajenőre telepített székelyek betlehemezése», *Ethnographia* LXIX (1958), pp. 209—57.

contraste par rapport aux régions environnantes, sont aisément explicables et faciles à éclaircir. On a affaire, par contre, à un problème extrêmement complexe dès qu'on veut étudier la culture populaire des localités hongroises d'il y a plusieurs siècles, et la difficulté ne fait qu'augmenter quand il s'agit de localités dont les habitants, complètement magyarisés, sont d'origine ethnique étrangère. En analysant les traits caractéristiques d'une culture populaire et les problèmes de l'emprunt, on est amené à constater qu'une culture étrangère assimilée par les Hongrois constitue, du point de vue ethnique, une motivation profonde de la tradition populaire. Reprenons donc maintenant ces questions-là.

Dès le XIII[e] siècle, des documents attestent l'établissement d'étrangers sur le territoire hongrois. Cependant, leur pénétration n'est devenue intense qu'aux XVII[e] et XVIII[e] siècles, notamment après la fin de la domination turque, quand on a vu se fixer sur le territoire hongrois des étrangers appartenant aux peuples voisins. C'était une affluence en masses de Slovaques, de Ruthènes, de Rasciens et de Roumains. D'une part, ils pénétraient vers l'intérieur du pays le long de la frontière linguistique, d'autre part, ils s'établissaient, plus ou moins nombreux, dans la Grande Plaine, en groupes dispersés. Les nouveaux venus n'appartenaient pas toujours à des groupes de colons organisés. La colonisation organisée a joué incontestablement un rôle très important. C'est ainsi qu'on a établi des Allemands, surtout dans les régions de l'Alföld et de la Transdanubie[18]

Comme on le voit, la pénétration des Slovaques et des Ruthènes, en premier lieu, mais aussi celle des Serbes, était remarquable. Aussi les couches slaves sont-elles devenues un facteur de premier ordre. Les Roumains aussi ont gagné du terrain d'une manière significative[19]. Les colons allemands et autres élargissaient encore la gamme. Des établissements d'Allemands ont eu lieu dès le règne de Géza II (1141—1161), surtout en Transylvanie et dans le comitat de Szatmár.[22]

Dans l'étude des traditions populaires, les problèmes se posent avant tout là où le chercheur travaille dans une localité d'origine étrangère devenue complètement magyare dont la population parle uniquement le hongrois et a perdu, souvent, jusqu'au souvenir de ses origines. Plus d'une fois, on a publié des données folkloriques relatives à des localités dont la population était, dans l'ensemble ou en partie, d'origine étrangère, tout en omettant de relever cette circonstance. Cela peut s'expliquer ou bien par le fait qu'on n'a pas attaché beaucoup d'importance à l'origine étrangère, ou bien par l'ignorance, tout simplement, où on en était. Le problème se pose là où, lors de l'établissement

[18] I. Szabó, op. cit., p. 48.

[19] I. Szabó, «A magyarság életrajza». Budapest, 1941, pp. 135 et suiv.

[20] A. Szirmay, «Szatmár vármegye fekvése, történetei és polgári esmérete». I—II. Budapest, 1809—1810, I, p. 215.

d'une carte ou au cours d'une enquête menée sur les lieux, un phénomène se trouve isolé dans un milieu linguistique hongrois ou qu'il se reproduit à grande distance. Avant de citer des exemples, disons deux mots des problèmes de la transformation des localités.

La magyarisation des colons étrangers semble naturelle là où la population des villages voisins est entièrement hongroise. La magyarisation s'accomplit toutefois le long des frontières linguistiques aussi. Notons, cependant, quele contraire peut se produire également, à savoir l'intégration des Hongrois aux peuples voisins. J. KŐRÖSI étudie la question de la magyarisation et de la slovaquisation dans plusieurs comitats à la fin du XIX[e] siècle. C'est ainsi qu'il constate que, dans de nombreux villages de Hont et de Nyitra, les habitants slovaques ou allemands se sont complètement magyarisés, tandis que des villages hongrois sont devenus slovaques.[21] J. MANGA a relevé, dans la région linguistique des Paloczes, de nombreux villages dont la population est devenue (de hongroise) slovaque ou (de slovaque) hongroise. Dans ces cas-là, le plus souvent, c'étaient les nouveaux venus qui se réglaient sur la population indigène. Mais on connaît aussi des cas où la population ingigène a adopté des traditions de la minorité étrangère[22].

A l'intérieur des frontières linguistiques, la magyarisation était, évidemment, plus intense. Au XVI[e] siècle, la population de Hajdúdorog, dans le comitat de Hajdú, est serbe. Plus tard, des Ruthènes et des Roumains viennent s'y installer. Au XIX[e] siecle, les documents parlent de Hajdúdorog comme d'un village purement hongrois[23]. La magyarisation a été donc vraiment remarquable et elle s'est accomplie assez rapidement, en l'espace de quelques siècles. Quand on ne connaît pas l'histoire locale de ces villages, on risque de publier comme hongrois des faits de folklore qui ne le sont pas. Au sujet des cartes ethnographiques, un autre problème se pose encore, lorsque les habitants de tel ou tel village, établis dans une autre région, deviennent, dans cette région même, sujets interrogés. C'est ainsi que le Trésor de la musique populaire hongroise publie un jeu de montreurs de la crèche dû à des grecs-unis de Hajdúdorog, établis à Kalocsa (comitat de Pest)[24]. Il arrive bien souvent qu'on ne

[21] J. KŐRÖSI, «Eltótosodás és magyarosodás Hontmegyében», *Budapesti Szemle* LXXIII (1893), pp. 176—99; J. KŐRÖSI, «Magyarosodás és eltótosodás Nyitramegyében», *Budapesti Szemle* LXXXVI (1896), pp. 394—418; GY. KOVÁCS, «Eltótosodott magyarok Barsmegyében», *Ethnographia* X (1899), pp. 293—7; Au sujet de la slovaquisation et de la magyarisation, v. par ex. L. VARGYAS, «A falu zenei élete». Budapest, 1941, pp. 78 et suiv.

[22] J. MANGA, «Szlovák kapcsolatok a palóc karácsonyi szokásokban», *Ethnographia* LIX (1948), p. 95.

[23] V. par ex. E. FÉNYES, «Magyarország geographiai szótára, melyben minden város, falu és puszta betűrendben körülményesen leíratik. I—II. Pesten, 1851, I, p. 276.

[24] «A Magyar Népzene Tára». II. *Jeles napok*. Budapest, 1953, p. 575—8.

commence à s'intéresser à la question des origines et de l'histoire locale que lorsqu'on se trouve en présence de phénomènes folkloriques qui sortent de l'ordinaire. A Hajdúdorog, par exemple, c'est l'histoire locale qui a permis d'identifier l'origine étrangère de l'usage du masque de chèvre lors des fêtes de Noël. D'un autre côté, ce genre de phénomène est précisément ce qui peut confirmer l'origine étrangère d'une population[25].

On peut citer de nombreux exemples de ce genre dans le domaine du culte agraire. En étudiant le rôle de *Korndämon* du coq, nous avons observé que partout où l'on tue les coqs — que ce soit au temps de la moisson ou en rapport avec d'autres coutumes — il s'agit ou bien d'un emprunt, ou bien d'un processus de magyarisation des porteurs de la tradition. Ceux qui ont décrit cet usage, passent sous silence ce processus et l'origine étrangère de la localité donnée, de sorte que l'usage en question a passé dans la littérature folklorique comme étant de tradition hongroise. L'origine étrangère ne ressortira plus tard que grâce aux cartes ethnographiques marquant la diffusion de l'usage[26]. Le rôle de l'ours dans les coutumes qui se rattachent à la moisson à Balmazújváros remonte aux traditions des Allemands magyarisés de cette localité[27]. La figure de Bacchus dans les coutumes de vendanges de la région de Tokaj, l'origine de la danse des tonneliers remontent également aux traditions des colons magyarisés d'origine allemande. Dans ce cas précis, les habitants nouvellement établis et d'origine allemande se sont installés d'abord dans une autre région hongroise et c'est là qu'ils se sont magyarisés. Le fait de leur nouvelle installation ne facilite pas évidemment la recherche: l'origine étrangère n'est pas toujours manifeste pour les enquêteurs. Dans la région de Tokaj, cette coutume d'origine allemande n'est pas parvenue par des détours multiples, par l'intermédiaire de Tchèques et de Slovaques, mais grâce à des colons allemands magyarisés[28]. Il ne s'agit donc pas d'une coutume populaire empruntée aux Slaves ou aux Allemands, mais bien de la magyarisation des porteurs de la tradition. Des problèmes analogues se posent à propos des publications relatives aux coutumes de la moisson[29].

[25] Cf. Z. Ujváry, «Un masque d'animal d'origine slave dans les coutumes populaires de la Hongrie Orientale», *Slavica* VII (1967), pp. 169—83.

[26] Sour le culte du coq, cf. Z. Ujváry, «Hahnenschlagen und Hahnenschiessen in Ungarn», *Acta Ethnographica* XIV (1965), pp. 277—301.

[27] Cf. Z. Ujváry, «Theriomorphe Korndämonen in der ungarischen Volksüberlieferung», *Acta Ethnographica* XVI (1967), pp. 38—46.

[28] Sur cette coutume, v. S. Erdész, «A hegyaljai szőlőmunkások szüreti népszokásai». Miskolc, 1957, p. 15.

[29] V. par ex. Gy. Versényi, «Aratáskor», *Magyar Polgár* XXII (1899), No. 167; L. Madarassy, «Magyar aratószokások», *Ethnographia* XXXIX (1928). pp. 83—93.

Nous ne nous proposons pas, ici, de multiplier les exemples et de passer en revue les phénomènes qui s'expliquent par l'histoire locale. Celle-ci est à étudier dans chaque cas et pour tous les villages, c'est incontestable. Une révision des travaux jusqu'ici publiés est indispensable. La singularité de certains phénomènes folkloriques fait tout de suite penser à des origines étrangères, tandis que, dans le cas de croyances d'un caractère plus général, on y pense beaucoup moins souvent.

D'après ce qui précède, nous croyons pouvoir modifier la thèse de G. RÓHEIM de la manière suivante: *Certaines croyances et coutumes populaires hongroises sont des croyances et des coutumes d'origine étrangère, mais devenues magyares en même temps que les porteurs de la tradition.*

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 163—170 1971 Debrecen

Slawische Bücher in den Sammlungen der Universität in Debrecen bis 1850. I. Mitteilung. Slavica der Universitätsbibliothek in Debrecen

E. Ojtozi

Dem Andenken meiner Mutter

Der IV. Internationale Kongress für Slawistik, Moskau, 1958 hat die bibliographische Erschliessung der alten slawischen Bücher beschlossen. Die Bibliographie der Slavica der Universitätsbibliothek in Debrecen wurde von Dorothea Gottesmann im Auftrage von Prof. Béla Sulán, dem damaligen Leiter des Instituts für Slawische Philologie zusammengestellt. Diese Bibliographie erschien im Jahre 1963.

Vorliegende Arbeit hat sich zum Ziele gesetzt die alten slawischen Bücher, welche nach 1963 in den Besitz der Universitätsbibliothek gekommen sind, bibliographisch zu erfassen. In einer weiteren Veröffentlichung möchte ich in Zusammenarbeit mit Prof. Endre Iglói die alten slawischen Bücher des Instituts für Russische und Slawische Philologie und die unvollständigen (ohne Titelblatt stehenden) kirchenslawischen Bücher der Universitätsbibliothek beschreiben. Das wird aber eine langwierige Arbeit sein.

Vorliegende Beschreibungen sind alphabetisch geordnet. Als Ordnungswort dient der Name des jeweiligen Verfassers oder (bei Werken nicht ermittelter Verfasser) das erste im Titel vorkommende Wort. Diejenigen Angaben, welche nicht von dem Titelblatt ermittelt worden sind, wurden in eckige Klammern gesetzt. Runde Klammern wurden nicht verwendet. (Die runden Klammern in Titel 4 und 20 stammen von den entsprechenden Titelblättern.)

Wir waren bestrebt die ortographischen Eigentümlichkeiten der Titelblätter treu wiederzugeben. Auf die Druckfehler haben wir überall durch „(sic!)" aufmerksam gemacht. Die russischen Titel sind in der Originalschreibung und auch in Transkription wiedergegeben.

Das Zeichen „ъ" wurde durch einen einfachen Apostroph, das Zeichen „ъ" durch einen doppelten Apostroph transkribiert. Die Aufzählung der unnumerierten Blätter steht in eckigen Klammern. Auf die fehlenden, die unvollständigen, die korrigierten, die durch handschriftlichen Text ergänzten

Blätter die Provenienzangaben, wie auch verschiedene handschriftliche Eintragungen wurde überall angewiesen.

Bei den unvollständigen, ohne Titelblatt stehenden Büchern wurden alle zur Identifizierung verwendeten Angaben und Quellen aufgezählt. Jene Angaben, welche nicht vom Titelblatt ermittelt worden sind, stehen auch in den Registern in eckigen Klammern. Das Register der Druckorte enthält alle auf den einzelnen Titelblättern vorkommenden Varianten der Städtenamen.

Es sei mir gestattet meinen aufrichtigsten Dank den Oberbibliotheksräten der Universitätsbibliothek Dr. Lajos Bertók, Dr. Dorothea Gottesmann, Dr. Magdolna Kállay, Dr. Éva Némedi, Valéria Szénássy, der Bibliothekarin Irén Lévay und Kand. Phil. Dr. László Karancsy, Dozenten des Instituts für Russische und Slawische Philologie für ihre kollegiale Hilfe auszusprechen.

Literaturverzeichnis:

Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. I—XII. Paris—Bruxelles—Louvain, 1960. Reimpression anastatique. — BIRÓ M.—KERTÉSZ Á.—NOVÁK L.: Nyomdászati lexikon. Budapest, 1936. — EBERT F. A.: Allgemeines bibliographisches Lexikon. I—II. Leipzig, 1821—1830. — GENLIS S. F. de: Théâtre à l'usage des jeunes personnes I. Berlin, 1801. — GOTTESMANN D.: Slawische Bücher der Universitätsbibliothek in Debrecen bis 1850. Debrecen, 1963. — GRAESSE J. G. Th.: Orbis latinus. Dresden, 1861. — HORÁK F.: Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II. Tisky z let 1501—1800. Praha, 1950—1963. — JÖCHER C. G.: Allgemeines Gelehrtenlexikon. I—IV. Leipzig, 1750—1751. — KUKULJEVIČ I.: Bibliografia hrvatska. Zagreb, 1860. — MEL'NIKOVA N. N.: Izdanija napečatannye v tipografii Moskovskogo universiteta XVIII vek. Moskva, 1966. — PETRIK G.: Magyarország bibliographiája 1712—1860. 1—3. Budapest, 1888—1891. — RIZNER L. V.: Bibliográfia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. 1—6. Turčiansky Sv. Martin, 1929—1934. — Slovník pseudonymov slovenských spisovatel'ov. Matica slovenská v Martine, 1961. — SZINNYEI J.: Magyar írók élete és munkái. 1—14. Budapest, 1891—1914. — TOBOLKA Z. V.: Knihopis českých a slovenských tisků od doby najstarší až do konce XVIII. století. Díl II. Tisky z let 1501—1800. Praha, 1939—1950. — VENGEROV S. A.: Russkija knigi. I—III. Sankt-Peterburg, 1897—1899. — VOLF J.: Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und Mähren bis 1848. Weimar, 1928.

1. Agenda Ecclesiastica Slavonica August. Conf. addictorum In extractu Propter majorem V. D. Ministrorum harmoniam. Accedit Brevis Extractus Ritualis Hungarici et Germanici. M. DCCLXXXIX. Neosolii Typys Joannis Josephi Tumler, Anno M. DCC. LXXXIX. [7], 54 S. 21 cm

781.053

Slowakischer Text. Auf den beiden Seiten des Schutzblattes sind slowakische Aufzeichnungen sich vorzufinden. Auf dem Titelblatt steht die lesbare Provenienzangabe: Nachanaëlis Bisskup ab Anno 1827. Zusammengebunden mit Agenda Ecclesiastica in deutscher und ungarischer Sprache.
2. Biblia Sacra, To gest Biblj Swatá, a neb wssecka Swatá Pjsma, Starého y Nowého Zákona, Se wssj pilnostj opět přehlédnuta, ponaprawena a nowě wydaná. W Kyseku, 1842. Wytisstěná v Karla Reicharda. [4], 848, [2], 275, [1] S. 22 cm
Das Neues Testament ist mit einem Sondertitelblatt versehen: Nowy Zákon Pána a Spasytele nasseho Gězjsse Krysta. Opět s welikau pilnostj přehlidnutý, ponaprawený a nowě wydaný. W Kyseku, 1841. T jskem (sic!) a Nákladem Karla Reicharda.

781.057

Auf dem Vorsatzblatt findet sich eine geschwundene slowakische Aufzeichnung.

3. DOBROWSKY Joseph. Slavin. Beitraege zur Kenntniss der Slawischen Literatur, Sprachkunde und Alterthuemer, nach allen Murdarten. Von Joseph Dobrowsky, Mitglied der k. boehm. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, und der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften zu Warschau. Mit Kupfern und Tabellen. Prag 1808, in den Herrlschen Buchhandlung. [1], 479 S. 17 cm

762.798

4. ESZTERÁS Pawel. Krátki Opis Milost'iwich Obrazow blahoslawenég Panni Marie Matki Božég, které w Králowstwe Uherském, a w patrících k ňemu Částkách, a Kragnách weregňe sa čt'á. Podla predešlích dwoch od ňeknagšého Knižata PAWLA ESZTERÁSA, Králowstwa Uherského Palatína Roku 1690, a 1696 widanich Kňih; prám w tom Dome, kterí wčil zmiňené Kňiža w hrubég kapitulskég Ulici wistawit'i dalo, pod Snemem 1832/3 spolu ag z Obrazmi zebral, a k duchownému Pot'ešeňú Ct'it'elow Panni Marie widal, Aleš Jordánszky Tininskí (Kniski) poswácaní Biskup, blahoslawenég Panni Marie ze Szászváru Opát, Ostrihomskég Kapituli Spewar, a Kanowňík, Arcibiskupstwa Ostrihomského w Polowici Trnawskég Mistobiskup, Apoštolskí Prwoznačňík, swatého Bohoslawa Učitel, a biwali Professor, pri Peščanskích wisokich Škólách spolkowní Ud. Prešpurku, pismem Belnaiho Dediču. 1838. [5], VI—XXVI, [1], 179 S. 23 cm

780.818

5. GERDENICH Stipan. Govorenja nedilnja za cilu godinu cerkvenu sloxena i izdana po Stipanu Gerdenichu jerebichkomu, Preposhtu S. Pavla od Nyír—Pályi, Paroku kod S. Augustina u Pecsuhu. S — dopushtenjem Preuzvishenog,

Prisvitlog i Priposhtovanoga Gospodina Ivana Kersi. Scitovszkya od Nagykéra Biskupa Pecsuhskoga. Knjiga II. U Pecsuhu, Slovima Lycea Biskupskoga. 1845. [3], 4—240 S. 19 cm

728.690

6. [JAKOBEI Pavel] Ewangelický Funebrál, obsahugjcý w sobe Pjsně Pohřebnj i giné přjhodné, star é (sic!) i nowé které se zpjwati mohau netoliko při Pohřebu kterýchkoli lidj wůbec ale také i při Pohřebu lidj rozličného wěku, stawu, powolánj a losu obwzlásstně s připogenjm, některých Latinských Pjsnj, gako také i některých Pjsma S. Rečj, Modliteb, Werssů a Kollekt Pohřebnjch. Ku sláwě Božj, a ku wzdělánj Cýrkwe, a zwlásst' ku pronikawému zarmaucených a nad mrtwými plačjcých potěssenj opět na světlo wydaný od gednoho Pána Gežjsse Krysta Milownjka Snážného. W Budjné, Wytisstěny Literámi Anny Landererky 1831. [9], 10—235, [2], 238—476, [15] S. 15 cm

753.013

Pana Gežjsse Krysta Milownjk Snažny ist der Deckname Pavel Jakobeis.: Slovník pseudonymov slovenských spisovatel'ov S. 169.

7. Комедия щастливой островъ, въ двухъ дѣйствіяхъ. 4. Въ Москвѣ Въ Университетской Типографіи у Н. Новикова 1780 года.
Komedija sčastlivoj ostrov" v" dvuh" dejstvijach". No 4. V" Moskve V" Universitetskoj Tipografii u N. Novikova 1780 goda. 55 S. 19 cm

720.708

Es ist die Übersetzung der Komödie „L'isle heureuse" aus dem Sammelwerk „Theâtre à l'usage des jeunes personnes" von Stephanie Félicité de Genlis.

8. Králow radca wiswetluje ludu nowje zákoni. 1848. [W Pessti, Tiskom Trattner—Károlyiho.] 33 S. 20 cm

762.865

9. LANGUET Jozef. Důwěrnost w Milosrdenstwj Božjm Založená, k Potěssenj těch Dussý, gežto bázeň málomyslné činj, Od wysoce včeného, a mnoho wáženého Biskupa Soisonského Jozeffa Languet, Francusku řečj ljbezně složená, a ostrowtipně na dwě Strany rozdělená, Potom pak gak světským tak duchownjm Osobám k Ljbosti, pro gegj znamenitu Vžitečnost na ňemecký, z tohoto ale na slowenský Gazyk skrze gjstého Kněze z Řádu swatého Pawla prwnjho Pustewnjka přeložená. W Uherské Skalicy, [1737] Wytisstěná v Joz. Antonjna Skarnycla. [14], 192 S. 16 cm

752.909

10. Manuale confessariorum illiti ruchna knisicza szpovednikov navlasztito brattinszkeh otczev Marianszke y Seraphinszke Brattovschine Szvetoga Skapulara, y Szvete Kordicze Hasznovita kruto, prilichna, y potrebna, tak na ravnanye zdraveh, kak na razveszelenye betesneh, y vumiraiucheh : Poszlana iz Zagreba Od PP. PP. Francziskanov Vu vszu Seraphinszku Sz. Ladiszlava Provincziu. Zagrabiae Typis Joan. Barthol. Pallas, 1725. [10] 11—269 [7] S. 12 cm

752.011

Auf dem Schutzblatt ist eine geschwundene lateinische Aufzeichnung sich vorzufinden. Die Jahreszahl 1744 ist zu entziffern.

11. MURCZYNSKI Jędrzej. Kazania Przygodne Na Adwent y Passye Chrystusa Pana Oraz Uroczystośći Nayś: Matki Jego, záwżdy Panny, Z Przydatkiem rożnych Kazan Przez X. Jędrzeia Murczynskiego Soc. Jesu. Ogłoszone A Potym do druku Podane. Roku od Wćielenia Syná Boskiego 1753. w Sandomierzu w Drukárni J. K. M. Colleg: Soc. Jesu. [10], 670, [10] S. 19 cm
Auf dem Schutzblatt ist eine Provenienzangabe: Ex libris L. Szacillo. Auf dem Titelblatt steht die unvollständig lesbare Provenienzangabe: Pertinet ad Bibliothecam Collegij Luceoni..... A. Dni 1757. Auf dem 2. Blatt findet sich der Siegeldruck: Sigillum Bibliothecae Seminarii Luceor- Zendomiriensis.

762.835

12. Nôvi Zákon ali Testamentom goszpodna nasega Jezusa Krisztusa zdaj oprvics zgrcskoga (sic!) na sztári szlovenszki jezik obrnyeni po Küzmics Stevani, surdanszkom farari. I Knige 'Zoltárszke. V Kőszegi, 1848. Stampane z sztroskom i piszkmi Reichard Károla i Szinov. [2], 466, 120 S. 16 cm.
Das Buch der Psalmen ist mit einem Sondertitelblatt versehen: Knige 'Zoltárszke. Szlovencsene po Terplán Sándori, püczonszkom farari. V Kőszegi, 1848. Stampane z sztroskom i piszkmí Reichard Károla i Szinov.

753.140

13. PAVICH Emeric. Epistole i Evangjelja Priko sviu Godissnji nediljah i svetkovinah, s-dvima mukama, po Mathaeu i Ivanu ispisanima, Po Uregjenju Rimskoga Misala, i Naredbi Svetoga Tridentinskoga Sabora sloxena, I ù Slovinski, iliti Illyricski Jezik, trechiput prisstampana, i od zamersitog sstivenja ocsistita Po O. F. Emericu Pavichu, Lecturu Jubilatomu, i Sadassnjemu Diffinituru, Prov. S. Ivana od Capistrana ù Budimu Godinae 1764. S-dopusstenjem Staressinah. Sstampano ù Budimu po Leopoldi Francesku Landereru. [10], 504 S. 16 cm

752.108

Auf dem Vorsatzblatt steht die Aufzeichnung: Conventus Quinque-Ecclesie Patrum Franciscanorum Et deputatur pro Cella Contoris Dominicalis.

Auf den beiden Seiten des Schutzblattes finden sich kroatische Aufzeichnungen.

14. Rádostné Plesáňj w dne prichodu 17. a 18-ho Dubna Nejdustognegsjho a Wisoce Oswjceneho Pána Pána ANTONJNA MAKAY Slobodného Pána z Gelej. Z Božeg Milosti Biskupa Bansko Bistrickeho Geho Gasnosti Cisársko Královskeg Rimskeg Aposstolskeg Dworanskému Radci Gmenem wsseho Zástupného Lidu Obetowane. MDCCCXIX. W Banské Bystricy, Wytjsstěné v Jána Sstěfánj. [3], 4—8 S. 21 cm

762.796

15. SAMUEL. Traktát Rabby Samuele Žida, Prevkazugjcý blud židowský w zachowáwanj Zákona Mogžissowého, a w očekáwánj Prichodu Messyássowého. Práca owssem zlatá, a wssem Krestianom, a Pjsma Swatého zběhlym Včitelům welmi vžitečná, skrze něho sýce Arabským gazykem predstawená. Potom pak Skrze Alfonza Homo-bonus rečeného Spanihele, z Rádu S. Dominyka Reholnjka za časůw Benedikta XI. Rjm. Papeže na Latinský obrácená, skrywaná od židůw, ale skrze Dwogictihodného Pána Gryff Frantisska Kněže Matelicenského sstastliwe naleznutá, nowě w Maceratě městě roku 1639. na swětlo wydaná; a skrze gistého Reholnjka z Rádu Swateho Frantiska z Prowincye Vherskeg Maryánskeg Léta Páne 1745. na Vherský gazyk prenessená. Nynj skrze Rabček Andrásse na ten čas Janikowského Farára Pjsma Swatého Včitele, a Wydiku Nowozámského Wjce-Archy-Diakona slowenským gazykem ozdobená, Roku 1756. W Trnawě wytjsstěny w Impressy Akademické Roku Páně 1756. [6], 124 S. 16 cm

752.475

Auf dem Vorsatzblatt steht die Provenienzangabe: Antonii Augusztényi.

16. SCITOWSKY Jan. Osem kázní, které Oswíceni Pán Pán Jan Scitowsky Rožnawski Biskup w Púšte pred Weliku-Nocú swogim Wericím Roku 1837 powedel, a z powoleňím geho Roku 1838. P. C. H. Skalického Klásstera Frantisskán ku spasitedlnému Rodičúw a Ditek Dobrému, z Uherského na Slowenskí Gazik preložil. Z powoleňím cis. král. Cenzúri. W Skalici, pismem Frant. Xav. Skarnicla, a Sinúw. [3], 4—106, [2] S. 18 cm

762.938

17. Swaté Pismo starého i nowého Zákona podla obecného latinského, od sw. Rimsko-Katolickég Cirkwi potwrdeného, Preložeňá s Prirownáňim gruntowného Tekstu, na Swetlo widané Ďel druhí. Leta Pána 1829. W Ostrihome, Witlačené z Litterámi Josefa Beimela, Cis. Kral. Priv. Primatiálského Kňihtlačára 1832. 935, [2] S. 21 cm

762.534

Auf dem Titelblatt steht die Provenienzangabe: Maczko Hilárion Bazil 1885.

Důwěrnoſt
w
Miloſrdenſtwj
Bożim

Založená,

K Potěſſenj těch Duſſý, gežto bázeň
málompſlné činj,

Od wyſoce včeného, a mnoho
wáženého Biſkupa Soiſonſkého
Jozeffa Languet, Francuſku řečj
ljbezně ſložená,

A oſtrowtipně na dwě Strany
rozdělená,

Potom pak gak ſwětſtým tak du-
chownjm Oſobám k Ljboſti, pro gegi znamenitu
Užitečnoſt na německý, z tohoto ale na ſlowenſký
Gazyk ſkrze giſtého Kněze z Řádu ſwatého
Pawla prwnjho Puſtewnjka
přeložená.

W Wherſké Skalicy,
Wytiſſtěná v Joz. Antonjna Sſkarnycla.

Zu Nr. 7 — Titelblatt

KAZANIA
PRZYGODNE
Pertinet ad Bibliothecam NA Collegij Lucensi
ADWENT y PASSYE
CHRYSTUSA PANA
Oraz
Uroczystości Nayś: MATKI Jego, zawżdy
PANNY,
Z Przydatkiem rożnych Kazań
Przez
X. JĘDRZEIA MURCZYNSKIEGO Soc. JESU.
OGŁOSZONE
Ord. Disc: tertiæ A Trinitate Redemt. Capt.
Comperata Potym do druku et. Bn. 1757.
PODANE.
Roku od Wćielenia Syná Boſkiego 1753.

W SANDOMIERZU
w Drukárni J. K. M. Colleg: Soc. JESU.

Zu Nr. 9 — Titelblatt

КОМЕДІЯ

ЩАСТЛИВОЙ ОСТРОВЪ,

ВЪ ДВУХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

No 4.



ВЪ МОСКВѢ

ВЪ Университетской Типографіи
у Н. Новикова 1780 года.

Zu Nr. 11 — Titelblatt

Vſem Kázni,

které

Oſwícení

Pán Pán Jan Scitowſky

Rožnawſki Biſkup

w Púšte pred Weliku-Nocú

ſwogim Wericim Roku 1837

powedel,

a

s powolenim geho

Roku 1838.

P. C. H. Skalického Kláſtera Frantiſkán

ku ſpaſitedlnému

Rodičúw a Ditek Dobrému,

z Uherſkého na Slowenſki Gazik

preložil.

S powolenim cſ. król. Cenzúry.

W Skalici,

piſmem Frant. Xav. Skarnicla, a Sinúw.

Zu Nr. 16 — Titelblatt

18. Szveti Evangeliumi, z-Koteremi Szveta Sztolna Czirkva Zagrebechka Szlovenszko-Horvaczka chez leto, po Nedelyah, i Szvetkeh sive. Ziednem Kratkem Catechismusem, za nevmetelne lyudi hasznovitem, Z- Dopuscheniem Glavarov. Stampani vu Zagrebu, Letto 1730. pri Ivanu Weitz. [12], 303, [9] S. 14 cm

752.048

Auf den unnumerierten Seiten 6—12 (bis März) (—) sind ein Kalender und das Verzeichnis der Kirchenfeste sich vorzufinden. Der Teil vom April bis Dezember wurde in 10 Blättern durch die handschriftliche Abschrift der fehlenden Blätter ergänzt. Auf dem vorderen Schutzblatt steht die geschwundene Provenienzangabe: Pro Simplici Usu Partis Marci Kregár Franciscanj. Anno 1768 7m̃a Aprilis.
Auf den beiden Seiten des hinteren Schutzblattes stehen kroatische Aufzeichnungen.

19. [Театръ для пользы юношества. Переводъ съ французкаго языка] № 1. Въ Москвѣ Въ Университетской Типографіи 1779 года.
[Teatr" dlja pol'zy junošestva. Perevod" s" francuzkago jazyka]
No. 1. V" Moskve V" Universitetskoj Tipografii 1779 goda. [4], 9—24 S. 19 cm

720.707

Der obere Dritteil des Titelblattes fehlt. Auf der Rückseite des Titelblattes steht der Name des Zensors: Антонъ Барсовъ = Anton" Barsov"
Auf dem 3. unnumerierten Blatt findet sich der Stücktitel: Агарь въ пустынѣ, драмма въ одномъ дѣйствіи. Agar' v" pustyne, dramma v" odnom" dejstvii. Die Ergänzung des Titelblattes ist zweifelhaft und bedingt. Der fehlende Teil wurde durch die Angaben von Mel'nikova op. cit. Seite 180., und Vengerov op. cit. Bd. I. Seite 39. ergänzt. Aus der Veröffentlichung von Vengerov ist nicht zu ermitteln, was auf dem Titelblatt steht. Seine Mitteilung von dem Stücktitel ist ungenau, die Beschreibung des dritten unnumerierten Blattes ist falsch. Es ist die Übersetzung der Komödie. „Agar dans le désert" aus dem angeführten Werk von Mme de Genlis.

20. VOLTIGGI Jose. Ricsoslovnik (Vocabolario-Woerterbuch) Illiricskoga, Italianskoga i Nimacskoga Jezika s' jednom pridpostavljenom Grammatikom illi Pismenstvom: sve ovo sabrano i sloxeno od Jose Voltiggi Istrianina. U Becsu (Vienna) [1803] U Pritesctenici Kurtzbecka. [35], LIX, 710 S. 20 cm

762.964

21. Wynaučeni Krestianske Prwné O znamenj Swateho Kríže Wssem tym na Vžjtek a Prospech buduce kterj w sprawedliweg Krestianskeg Katolickeg Wjre se wynaučiti žádagu a Cwičenj takowé votrebugu. (Sic!) Z Bibliotheky ktereg Meno Catechetica w Trnawe v Páterůw Towarystwa Gežjssowého sporádaneg. w Trnwe Academiae tlačený Towaryšstwa Gežissowého. M. DCC.XX. [40] S. 12 cm

753.109

Die Ränder der Blätter 7., 8., 16. sind schadhaft und unvollständig. Der schadhafte Teil wird durch Papierstreifen geschützt.

22. ZÁVODŇÍK Štefan. Škola Ďed'inská, alebo spuosob lahkjeho uwed'eňja Skuol Ďedinskich od Štefana Závodňika, Welko-Ďivinskjeho Farára. W B. Bistrici, Tiskom Filipa Macholda 1846. [5], 6—48 S. 20 cm

762.744

Namenregister der Drucker

Beimel Josef 17
Belnay [György Alajos] und seine Erben 4
Herrl [Johann] 3
Kurtzbeck [Josef von] 20
Landerer Anna 6
Landerer Leopoldus Franciscus 13
Machold Filip 22
Novikov N[ikolaj] [Ivanovič] 7
Pallas Joannes Bartholomaeus 10
Reichard Karl und seine Söhne 2, 12
Skarnicl Frantisek Xaver 16
Skarnicl Jozef Antonin 9
Stefáni Ján 14
Trattner [Mátyás]—Károlyi [István] 8
Tumler Joannes Josephus 1
Weitz Ivan 18

Namenregister der Übersetzer, Zensoren und Provenienzangaben

Auguszténvi Antonius 15
Barsov" Anton 19
Jordánszky Ales 4
Kregár Marcus 18
Küzmics Stevan 12
Maczko Hilárion Bazil 17
Makay Antonin 14
Nachanaël Bischof 1
Rabček András 15
Scitovszky Ivan Kerst. 5
Szacillo L. 11
Terplán Sándor 12

Register der Druckorte

Bécs, Vienna 20
Banská Bystrica siehe auch Neosolium 14, 22
Buda 6,13
Kőszeg, Kysek 2,12
Moskva 7, 19
Neosolium 1
Ostrihom 17
Pécs 5
Pest 8
Prag 3
Pressburg 4
Sandomierz 11
Skalica, Uherská Skalica 9, 16
Trnawa, Tyrnavia 15, 21
Vienna 20
Zagrab, Zagrabia 10, 18

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 171—173 1971 Debrecen

Chronica

Конференция о славянском слове

С 11 до 16 сентября 1970 г. в Лос Анжелосе состоялась международная конференция о славянском слове, организованная Кафедрой славянских языков и Центром русских и восточно-европейских исследований Калифорнийского университета в Лос Анжелосе. В работе конференции, помимо самих хозяев — славистов Калифорнийского университета в Лос Анжелосе и вообще славистов США — , по приглашению организаторов и в качестве их гостей, принимали участие представители девяти стран (Австралии, Австрии, Великобритании, Венгрии, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швеции, Югославии). Были приглашены специалисты из других стран также (в частонти, из ГДР, Польши и СССР), но они не могли прибыть в силу разных технических причин; есть надежда на то, что в сборнике работ конференции будут фигурировать и их работы. Фактически на конференции было зачтено и обсуждено 19 докладов, на английском, русском и французском языках. Кроме этого, были проведены две общие дискуссии по вопросам деривационной морфологии и порождающей грамматики, по вопросам предстоящих задач в исследовании славянского словоизменения и словообразования.

Так как доклады и непосредственные рефлексии на них со стороны участников выйдут в особом сборнике, их детальный осмотр можно оставить на более поздний срок; здесь можно удовлетвориться их суммарной характеристикой.

В части докладов были затронуты общие вопросы, связанные с формой и/или со значением слова. Так, Б. Панцер (Мюнхен) выдвигал интересные идеи особенно относительно фонологических и акцентуальных признаков границ слов в славянских языках. В докладе А. В. Исаченко (КУ ЛА) были показаны некоторые семантические признаки, связанные с словами в разных языках, на примере названий некоторых животных и связанных с ними переносных значений.

Вопросы истории славянских литературных языков были затронуты в других докладах. Г. Х. Уорт (КУ ЛА) с привлечением огромного фактического материала и обширной специальной литературы, говорила о некоторых словообразовательных суффиксах церковно-славянского происхождения в русском литературном языке (*-тель*, также *-ние* и *-тие*). Говоря о «языковом обновлении» в истории лексики некоторых западно- и южно-славянских литературных языков, Р. Оти (Оксфорд) неоднократно ссылался на сходные процессы в истории венгерского литературного языка.

В области сравнительно-исторических грамматических исследований Х. Бирнбаум (КУ ЛА) посвятил свой доклад теме судеб индо-европейских именных образований в раннем славянском. Й. Марван (КУ Дэйвис) исследовал вопросы контракции, как одно из проявлений морфологической дивергенции славянких языков. В своем выступлении в заключительной дискуссии Г. Якобссон (Гётеборг) указывал на необходимость дальнейшего развития этимо-

логических исследований, столь характерных как раз для изучения слова как такового. Х. Бирнбаум там же подчеркивал значение системного обозрения исторического лексического материала (его доклад, кстати, был хорошим примером подобного подхода к этим явлениям).

Большинство докладов было посвящено проблематике структуры слова в современных славянских языках. — Важное место занимали здесь работы по славянскому словообразованию. Исходя из положения, что многозначность — это не исключение, а закон для естественного языка, Д. С. Уорт (КУ ЛА) выдвинул особенно интересные идеи в русском отглагольно-именном словообразовании, где под одним результирующим отглагольным именем могут скрываться два, четыре, а то и шесть разных глаголов (ср. *обмен — обменить, обменивать, обменять* и те же с *-ся*). Л. Дюрович (Братислава) говорил об образовании т. н. относительных прилагательных в славянских языках; указывая на разного рода причины, делающие невозможными теоретически возможные образования. Вопросы словообразования в связи с видовыми парами (и псевдо-«парами») глаголов были затронуты в докладах Д. Б. Джонсона (Санта Барбара) и М. С. Флайера (КУ ЛА). Глагольное формообразование и отглагольное словообразование, распределение коренных алломорф глаголов в глагольной парадигме и в словообразовании рассматривались в работе Р. Мразка (Брно — сам докладчик не мог прибыть, но его статья будет включена в сборник). — В центре внимания были вопросы славянской и, в особенности, русской морфонологии. Д. Уард (Эдинбург) вводит понятие двух «смягчителей» (softeners), обозначаемых им как j и jj соответственно, работающих в порождающем процессе после отмены знаков границ между морфемами и приводящих к разным результатам (например: *н+j→н'*, *б+j→б'*, *т+j→т'* и т. д., *н+jj→нл'*, *б+jj→бл'*, *т+jj→ч/ш* и т. д.). М. Шапиро (КУ ЛА) дает точные формальные правила синкопы согласных в современном русском литературном языке. П. Гард (Экс-ан-Прованс) говорил чрезвычайно оригинально о распределении зияния в русских словоформах и об обязательном появлении йота (во избежание зияния) в «правой половине» (т. е. после корня) словоформ. — Ф. Оливериус (Монаш) проводит семантический анализ русских падежей и предлогов.

Трудно без натяжки группировать доклады, даже в применяемых нами весьма свободных рамках. Ф. В. Мареш (Вена) предоставил участникам конференции целый план новой исторической фонологии, на материале славянских языков, на базе учета дифференциальных признаков. Г. Якобссон (Гётеборг) дает по-настоящему скандо-славянское исследование, сравнивая некоторые просодические возможности в сербо-хорватском и шведском литературном языках. Л. Р. Миклесен (Вашингтон) описывает оригинальным образом систему русских глагольных основ. (Пишущий эти строки говорил о двух вопросах автоматического синтеза русских словоформ.)

Обо всем этом, стало быть, будет говориться более подробно в рецензиях на сборник работ конференции. Но сама конференция, как таковая, заслуживает не меньшего внимания. Она явилась настоящим brain storming-ом. Были приглашены немногие, хорошо подготовленные (все доклады были напечатаны и разосланы предварительно), объединенные общими интересами, порою и общим знакомством и даже многолетней дружбой, живущие и работающие в расстоянии на тысячах и десятках тысяч километров друг от друга. Это привело к тому, что конференция, в отличие от многолюдных конгрессов, вовсе не оказалась утомительной, хотя в то же время научные дискуссии велись буквально днем и ночью, в небольшой аудитории университета, в уединении Центра университета в Лэйк Эрохеде. Поэтому все участники, кажется, вернулись с конференции не тупые и ошеломленные, как обычно с больших конгрессов, а весьма оживленные, наполненные новыми мыслями и планами на будущее. Все это хвалит, прежде, всего, зачинщика и организотора конференции — Д. С. Уорта. Он не только добился (значительных) средств, необходимых к такому мероприятию, но, что гораздо больше этого, он знал, кого пригласить и по какому поводу, чтобы

разговоры были с начала до конца плодотворными, чтобы все говорили об одном, но каждый по-другому.

Как было уже указано выше, по крайней мере одним из центров дискуссии были вопросы русской морфонологии. Разными авторами были сделаны попытки дать более точные и более универсальные морфонологические правила относительно той или другой части комплекса русской морфонологии. При этом наблюдались разные степени (или ступени?) абстракции; были высказаны по такому поводу крайне общие, философского полета мысли (в «устном» докладе М. Шапиро); необыкновенно далекие от вещественно, непосредственно данных явлений формы (Миклесен); или весьма реальные, уже сегодня используемые конценции (Уард, Гард).

Несколько удивляла нас следующая черта дискуссии, если мы правильно восприняли ее. Вырисовывались как бы две группы, понимающие друг друга и склонные дискутировать скорее внутри группы: европейские специалисты с одной стороны (неважно с этой точки зрения из Англии или из Чехословакии, из Венгрии или из Швеции) и американские с другой. Единство конференции и дискуссий было обеспечено европейцами, умеющими говорить и мыслить в американском стиле, как П. Гард; такими американцами с богатым европейским образованием, как Д. Уорт, чтобы не говорить уже о Г. Уорт и об А. В. Исаченко. (Кстати говоря, единство представителей старого мира, обусловленное историческими и географическими факторами, обнаруживалось не только в узко специальных вопросах.) Мы можем только искренно сожалеть о том, что такие выдающиеся представители европейской лингвистической мысли, как И. А. Мельчук, Ю. Д. Апресян или А. А. Зализняк лично не могли участвовать в работе конференции (только лично: их идеи были высказаны неоднократно): с своей гибкостью и оригинальностью склада ума они, как П. Гард, могли бы интенсивно участвовать и в «американских» дискуссиях.

Надо было бы иметь как можно больше таких симпозиумов, с немногочисленными участниками, в Лэйк Эрохеде или в Тихане, под Братиславой или под Лейпцигом. Именно такие совещания кажутся в наши дни эффективными, продвигающими вперед нашу науку. И искреннее взаимопонимание и дружбу между представителями нашей (все же единой) науки.

Ф. Папп

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 175—177 1971 Debrecen

Ivan Petrovyč Kotljarevski (1769—1838)

Als der junge Arzt und opferbereite Mäzen der ukrainischen Literatur M. I. Parpura im Jahre 1798 die ersten drei Teile des „Eneida na malorossijski jazyk pereliciovannoj ... I. Kotljarevskim" (Travestierter Aeneis in kleinrussischer Sprache von I. Kotljarevski) herausgab, hat er wahrscheinlich auch selbst nicht daran gedacht, wie sonderbarer Weise jemand manchmal unsterblich wird. Obwohl die meisten ukrainischen literaturhistorischen Handbücher (wenn sie auf grössere Gründlichkeit und Wissenschaftlichkeit Anspruch erheben) an den ersten Verleger des Aeneis von Kotljarevski gedenken, wurde M. I. Parpura in der Literaturgeschichte zuallererst doch nicht von den Sachverständigen, sonder durch die späteren (nach 1798), sich in der ganzen Ukraine verbreiteten Aeneis-Ausgaben unsterblich geworden. Kotljarevski hat nämlich in sein Werk auch seinen Verleger eingefügt. Es umschwingt — sonderbarer Weise — nicht der Nimbus der Ehre die Gestalt des Mäzens, wie man es erwarten könnte, sondern er muss in der Unterwelt leiden, weil er den damals in Manuskript verbreiteten Aeneis ohne Bewilligung des Verfassers herausgab („Čužeje oddavav v pečatj"). Soweit war aber Kotljarevski doch taktvoll, dass er in der angeführten Zelle seines Aeneis den nicht ersuchten Verleger nicht gennant hat, sonder nur eben allerlei Missverständnisse ausschliessend auf den Fall Anspeilungen machte.

Diese Ausgabe im Jahre 1798 hat eine epochemachende Bedeutung in der Geschichte der ukrainischen Literatur. Das erscheinen des Aeneis von Kotljarevski zeigt den Anfang der neuen ukrainischen Literatur an. Deshalb wird Ivan Petrovyč Kotljarevski als der Vater und erster Klassiker der neuen ukrainischen Literatur verehrt. Hinsichtlich der Zahl seiner Werke kann er zu den Schriftstellern gerechnet werden, die verhältnismässig nicht viel geschaffen haben. Wenn er aber mittels seiner dichterischen Kraft ausser dem Aeneis nichts geschaffen hätte, hätte ihm schon dieses Werk einen Platz am Parnass gesichert.

Er ist im Jahre 1769 in der Stadt Poltava geboren. Diese Stadt wurde nicht nur durch die geschichtlichen Ereignisse des XVIII. Jh.-s berühmt, sondern auch durch den hellklingendsten ukrainischen Dialekt, der der Ausgangspunkt der sich später ausbildenden ukrainischen Literatursprache geworden war.

Der Vater des Dichters, ein verarmter Adeliger arbeitete als Schreiber am städtischen Magistrat. Er wollte seinen Sohn die herkömmlichen Wissenschaften lehren lassen, deshalb gab er ihn in ein Seminar. Im letzten Studienjahr stellt aber der junge Kotljarevski seine Studien ein. In Fusstapfen seines Vaters schreitend trat er zuerst auch die Stelle eines Schreibers an, später wirkte er dann als Hauslehrer bei reichen adeligen Familien. In dieser Epoche seiner dichterischen Entwicklung (von 1796, also noch vor seinem Soldatendienst) machte er sich an die Verwirklichung seines schon sehr lange gehegten dichterischen Planes. (Der Gedanke dessen tauchte in dem kleinen Kotljarevski zuerst vielleicht eben an diesen Seminaren auf, wo er schon mit seiner dichterischen Begabung unter seinen Gefährten erhob.) Sein Plan war schon damals die Helden Virgils in Bauerntracht und in einer ukrainischen Umgebung in einem travestierten Aeneis auftreten zu lassen.

I. P. Kotljarevski konnte etwa von einigen ähnlichen dichterischen Werken Kenntnis haben, die im Ausland und auch in Russland dem Erscheinen des ukrainischen Aeneis vorangingen. Im Besitze französischer Sprachkenntnis konnte er auch „Virgile travesti", das in 1648/52 herausgegebene Werk von Paul Scarron, von dem europäischen Schöpfer der dichterischen Übung der neuzeitlichen Travestie kennen. Es ist ebenfalls möglich, dass ihm auch „Myszeidos" (1775) oder „Monachomachia" (1778), die komischen Epen des polnischen Dichters Ignacy Krasicki in die Hände gelangen. Aber ein Vorbild konnte er auch in der Ukraine treffen, wo sich ein Dichter, namens A. K. Lobysevyč schon vor Kotljarevski mit Travestie der Eklogen Virgils befasste. (Diese Werke sind aber verschwunden.) Von den deutschsprachlichen Dichtern können wir noch den Österreicher Aloys Blumauer hier erwähnen („Abenteuer des frommen Helden Aeneas", 1784/88).

Am meisten konnte doch das Epos „Vergilieva Eneida, vyvoročennaja naiznanku" (Verdrehter Aeneis des Virgils) von dem russischen Dichter N. P. Osipov für Kotljarevski erreichbar gewesen zu sein. (Die ersten vier Verse des Epos wurden zwischen 1791 und 1796 hearusgegeben.) Wir möchten jetzt auf diese Auseinandersetzungen nicht eingehen, die um die Möglichkeiten und das Mass der Übernahme handeln. Kotljarevski übernahme gewiss nur das Gerüst der Handlung von Osipov. Wenn man die zwei Werke vergleicht, ist es nicht schwer zu bemerken, dass Kotljarevski's Aeneis von A bis Z ein eigentümlich originales, an gemütvollem Humor und an volksmässiger Anschauung reiches Burlesk-Epos sei, das man auch heutzutage gern in die Hand nimmt, während Osipov's Werk schon längst in Vergessenheit geriet. Der Aeneis von Kotljarevski, nach der Meinung eines seiner Forscher, „gleicht dem Aeneis von Osipov so, wie die lebende Blume der erbärmlicher Kunstblume".

Der ukrainische Aeneis erlebte noch im Leben seines Dichters mehrere Ausgaben. Kotljarevski arbeitete fortwährend und unermüdlich an den weiteren Versen. Sein Lesekreis empfing die Geschichte von dem ukrainischen „Parubok" (Bursche) Enej (Aeneas) immer mit grosser Begeisterung, aber leider erlebte Kotljarevski die vollständige Ausgabe seines Werkes (6 Teile, 1842) nicht, denn er starb 1838, vier Jahre vor derselben.

Im Jahre 1796 — wie schon erwähnt — trat Kotljarevski in Soldatendienst. 1808, als er 39 Jahre alt war, liess er sich als Dragonerhauptmann in Ruhestand setzen. Die Erinnerung seiner Militärzeit enthält das Gedicht „Pisnja na novy 1805 hod panu našomu i batjku knjazu Olexiju Borysovyču Kurakynu" (Neujahrsgruss zur Ehre unseres Herren und Vaters, des Herzogs Kurakin — 1805), das ausser gehaltvollen Gedanken auch an für den Aeneis charakteristischen Spässe und Humor nicht mangelt. Nach dem Soldatendienst arbeitete er lange Jahre in einer Erziehungsanstalt für arme adelige Kinder. Das 1812. Jahr rief den Dichter wieder auf das Schlachtfeld. In dem Vaterländischen Krieg gegen Napoleon leitete er die 5. kosakische Kavalleriebrigade. Im Jahre 1817 wurde er zum Major befördert.

In den nächtsfolgenden Jahren war Kotljarevski im Theater seiner Vaterstadt Poltava tätig. Nach Aussage seiner Zeitgenossen war er ein hervorragender Komiker. Das Theater in Poltava regte ihn an, seine dichterische Kraft auch auf dem Gebiet des Dramas zu versuchen. Er wurde auf einige Jahre der Direktor des Theaters des Herzogs Repnin in Poltava. Man musste auf seine dramatischen Werke nicht lange warten: bald verfertigte er die Dramen „Natalka Poltavka" (Natalka aus Poltava) und „Moskal-čarivnyk" (Der Soldat als Zauberer) (1819). Beide Theaterstücke wurden zuerst in Poltava aufgeführt. Mit diesen zwei Dramen legte Kotljarevski den Grundstein zu einer neuen ukrainischen Dramatik. Sowohl in „Natalka aus Poltava" (wo die Deutung der Gestalten den Einfluss des Sentimentalismus zeigt), als auch im Drama „Der Soldat als Zauberer" offenbart sich die demokratische Darstellung des Volkslebens. Mit seinem ersten Theaterstück „Natalka aus Poltava" wollte der Dichter sein Wort eben gegen die karikierte literarische Volksdarstellung heben. Fügen wir hinzu: mit vollkommenem Erfolg! Das Volk machte sich dieses Stück zu eigen, das bis heute ein ständiges Repertoirestück des ukrainischen Theaters ist. (Der Erfolg der „Natalka aus Poltava" steigerte sich nur, als M. Lysenko, der berühmte ukrainische Komponist dasselbe Thema in einer Volksoper (1889) vertonte).

I. P. Kotljarevski ist der erste ukrainische Klassiker im heitigen Sinne des Wortes, dessen Kunst zu dem vorbereitenden Prozess der Erscheinung von Ševčenko (1840) wurde. Über die wahrhafte Volkstümmlichkeit der ukrainischen Literatur können wir nur seit Kotljarevski sprechen. Er hat die besten Traditionen der Burleske im XVIII. Jh., der russischen Satire und der Laienbühne weiterentwickelt. Grosse Aufmerksamkeit widmete Kotljarevski der vor ihm noch nicht ganz sicheren, aber immer kräftiger gewordenen ukrainischen Sprache, in deren Formierung er sich grosse Verdienste erwarb. Sein sozialer Scharfblick verband ihn mit der Literatur des XIX. Jh.-s. Demselben war es zu verdanken, dass die Verwirklichung seiner künstlerischen Vorstellungen meistens doch auf realistische Weisegelungen ist (obwohl seine Gestalten oft noch eher romantisch oder gar sentimentalisch sind). Weder die sozialen Probleme der Epoche („Natalka aus Poltava", „Neujahrsgruss...“), noch die Lage seines Vaterlandes nach dem Zarenmanifest im Jahre 1775, das praktisch die Saporoger Seč aufgelöst hat („Aeneis"), sind ihm entgangen. Kotljarevski war immer für die fortschrittlichen Ideen seiner Epoche begeistert. Er war Mitglied der Freimauerloge in Poltava, und stand in Verbindung mit den Dekabristen. In seinen Werken drängten aber alle Probleme der Zeit durch das Prisma seines ursprünglichen, frischen Humors. Wenn man dann noch seine färbigkernige Sprache hinzufügt, ist das Geheimnis seiner Popularität auch im XX. Jahrhundert zu verstehen. Schon Taras Ševčenko wahrsagte ihm — dem Vater der ukrainischen Literatur — eine helle Zukunft. Mit Recht kann I. P. Kotljarevski, der patriotische Schriftsteller, der Demokrat, der grossartige Meister der schönen Literatur auf das Gedächtnis der Nachwelt rechnen.

P. MISLEY

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 179—182 1971 Debrecen

Critica et Bibliographia

А. Е. Супрун: Славянские числительные — Становление числительных как особой части речи. Минск, Издательство БГУ им. В. И. Ленина, 1969; 232 стр.

Рецензируемая книга А. Е. Супруна «Славянские числительные» является монографией, представляющей собой обобщение предшествовавшей ему обширной научной деятельности автора в области славянских числительных. В монографии со строгой научной последовательностью раскрываются основные вопросы о становлении числительных как особой части речи.

В первой главе рассматриваются семантические предпосылки превращения числительных в особую часть речи. Семантической базой для становления числительных как самостоятельной части речи явилась необходимость обозначать языковыми средствами отвлеченные числа и количества: «Грамматическая общность числительных в славянских языках, а с нею и превращение числительных в особую часть речи, является отражением той их семантической общности, которая еще продолжает складываться как результат проникновения в повседневную жизнь, в практическое мышление сравнительно абстрактного, близкого к математически отвлеченному, представления о числе и количестве»(5). Возникновение числительных отнесено автором к начальному этапу зарождения формальной логики, чем — т. е. возникновением чисел и числительных на самой заре формально-логического мышления — и объясняется, что «в этой, чуть ли не самой логичной, части речи есть до сих пор немало нелогичного»(6).

Автор подробно анализирует процесс возникновения количественных числительных-существительных типа *пять*, образованных от числительных-прилагательных типа *пять* и заменивших собой старые индоевропейские неизменяемые количественные числительные исчезшие из праславянского языка уже на раннем этапе его развития. Прослеживается в работе также эволюция и числительных других типов, в том числе эволюция числительных *дъва — четыре*, числительного *сорокъ* и др.

Основой основ для становления числительных как самостоятельной части речи явилось общее значение отвлечения, абстрактизации признака, что нашло свое выражение в возникновении у числительных типа *пять* отвлеченного значения 'нечто пятое': «как слово *новъ* обозначало нечто новое, *твердь* — нечто твердое, *бель* — нечто белое, так *пять* обозначало нечто пятое»[8]. На последующем этапе отвлечения признака «слова типа *пять* стали обозначать количество, понимаемое как некий предмет, как некоторое опредмеченное свойство, но теперь уже не свойство 'быть пятым', а свойство 'быть в количестве пяти'»(11). Это и привело к «сближению числительных-существительных типа *пять* с числительными-прилагательными типа *три*, обозначавшими свойство расчлененно понимаемого множества, состоящего из нескольких элементов. Разница состояла в том, что числительные-существительные обозначали опредмеченное свойство, а числительные-прилагательные — свойство как признак» (11).

В системе славянских числетельных, однако, имеются слова, существенно отличающиеся по своему происхождению и по грамматическим свойствам как от числительных типа *три*

так и от числительных типа *пять*. Имеются ввиду слова типа русского *сорок* '40', словацкого устар. диал. *meru* '40', полабского *stig* '20' и *pöl t'ürě* '30'. Объясняется это явление тем, что «на более ранних этапах развития человеческого мышления отвлечение от свойств предметов не могло быть столь сильным, как теперь. С этим, возможно, связано и наличие различных систем счета, различных счетных слов для разных предметов» (8). Так, например, в русских говорах имелась система счета для обозначения различных количеств льна и близких ему культур: *горсть*, *повесмо*, *емок*, *пучок*, *кербь* и т. д., которая не приложима для других предметов, например, скошенных зерновых культур, для обозначения которых использовалась уже другая система счетных слов: *копна*, *крестец*, *скирд*, *стог* и т. д. «В дальнейшем специальные системы счета для разных предметов постепенно утрачиваются. Некоторые из слов, применявшихся для счета того или иного ряда предметов, могут проникнуть в общую систему числительных, большинство же таких слов уходит из языка» (9). Условием для такого проникновения в общую систему числительных является постепенное затемнение общего значения меры и усиливание значения количества составных частей этой меры. «Дальнейший отрыв значения количества от значения меры позволил этим словам частично вытеснить соответствующие числительные: в восточно-славянских языках слово *сорокъ* стало употребляться вместо **четыредцать*...» (См. также кашубское *kora* '60' и *polkopy* '30', полабское *pöl t'ürě* '30' и словацкое устар. диал. *meru* '40'), что и сблизило эти слова на базе понимания количества как предмета с числительными типа *пять*. Все же для семантического сближения слов типа *пять* и слов типа *копа* имелись в славянских языках весьма ограниченные возможности. Благоприятным условием для проникновения слов данного типа в общую систему славянских числительных автор монографии считает «границу между типами образовании числительных (ср. *тридцать* и *пятьдесят*) при наличии иноязычного влияния» (13).

Далее говорится о развитии у слов типа *дьвойь* количественного оттенка значения, что и сблизило их семантику с семантикой слов типа *пять*: автор монографии предполагает, что в сближении семантики слов типа *дьвойь* с семантикой слов типа *пять* существенное влияние имело сближение значения числительных-прилагательных типа *трие* с семантикой числительных типа *пять*.

В результате перечисленных изменений «на некотором этапе существования праславянского языка в нем сложилась некоторая семантическая система слов с количественным значением. В эту систему входили: 1) поядковые числительные (*пять*, *треть*, *четьверть*); 2) числительные-существительные *(пять*, *десять);* 3) числительные-прилагательные *(дьва*, *трие*, *четыре);* 4) прилагательные с разделительно-количественным значением *(дьвойь*, *четьверть/четьворь);* 5) существительные с совокупностно-количественным значением *(копа*, *сорокъ)*. Стрежнем такой системы авляется значение количества» (13—14). Такая система числительных уже могла быть соотнесена с натуральным рядом чисел, однако такое соотнесение в то же время требует заполнения пустых клеток вертикальной системы числительных. В качестве таких заполнителей пустых клеток появляются как слово *сьто*, так и сочетания слов типа *дьва на десяте* и *дьва десяти*. Автор монографии особо подчеркивает роль сочетаний слов указанного типа в затемнении прежнего значения предметности *(пять*, *сорокъ*, *сьто)* и оттенка признака *(дьва)* и в выступлении на первое место у этих слов значения количества и числа. «В семантическом отношении роль будущих сложных и составных числительных исключительно велика тем, что они, по-видимому, ранее, чем другие (простые) числительные, освобождались от дополнительных семантических оттенков, которыми еще долго отягощается основное значение количества и числа у простых числительных... Будущие составные и сложные числительные использовались не для обозначения мер, а для выражения чисто количественных значений» (17). «Приобретение словами с количественным значением семантики числа было не просто фактом появления у них некоторого нового смыслового оттенка, но и фактом становления специфической семантики числительных, отличающей их от других слов» (18).

Далее в той же главе говорится о возникновении числительных *один* и *нуль/ноль;* о собирательно-разделительных числительных, которые не выстраиваются во всю длину натурального ряда чисел; о порядковых «числительных», которые выстраиваются в ряд, параллельный натуральному ряду чисел; о производстве новых слов с корнями числительных *(двойка, пяток; второе; тройной; семиэтажный; десятилетка; утроить* и т. д.); о дробях, которые соотносятся с натуральным числовым рядом довольно специфически; о неопределенных числах *(сколько, несколько, много, мало)* и еще о многих частных вопросах.

Дальнейшие главы рецензируемой монографии А. Е. Супруна с такой же научной тщательностью, которой нельзя не отметить при чтении первой главы, анализируют словообразовательную систему числительных и превращение их в особую часть речи (гл. II), изменения, наставшие в формообразовательной системе славянских числительных (гл. III) и изменения, получившие отражение в системе снитаксических свойств славянских числительных (гл. IV). В четвертой главе отдельно рассматриваются: *а)* сочетания числительных с существительными в разных славянских языках; *б)* форма согласованного определения при числителных и *в)* согласование сказуемого с количественным подлежащим.

Заключительные замечания о становлении числительных особой частью речи являются как бы пятой главой монографии. В ней автор еще раз останавливается на важнейших вопросах, затронутых им в предшествующих главах. Рецензент подчеркивает из этих вопросов лишь некоторые.

1. «Лексико-семантической предпосылкой становления числительных особой частью речи является выработка общего количественного значения у всех „количественных числительных", характерного одинаковым соотнесением разных числительных с соответствующими членами натурального ряда чисел» (194).

2. Однако, . . .«лексико-семантическое единство числительных оказалось в противоречии с их грамматическим разнообразием» (195), что и вызвало необходимость грамматической унификации. «Грамматическая унификация числительных протекала в рамках процессов, специфических для каждого из славянских языков, хотя в этих процессах и было много общего» (195). Общими для всех славянских языков тенденциями являются: *а)* тенденция к утрате числительными грамматического числа; *б)* тенденция у славянских числительных к нейтрализации по отношению к грамматическому роду: *в)* тенденция к утрате числительными склонения или, по крайней мере, к сокращению количества надежей.

Монография снабжена довольно обширной библиографией (стр. 217—225) и завершается именным указателем авторов.

Книга А. Е. Супруна «Славянские числительные» в равной мере может быть полезной как для преподавателей и студентов-славистов, так и для лингвистов, интересующихся славянскими числительными.

Ш. Яношка

Russian Derivational Dictionary. By Dean S. Worth, Andrew S. Kozak, Donald B. Jonhson. – American Elsevier Publishing Company Inc. New York 1970. – xxiv + 747 pp.

В результате семилетней интенсивной совместной работы лингвистов, специалистов по вычислительной технике и умных машин (под общим руководством Д. С. Уорта) осенью 1970 г. вышел капитальный труд-справочник по русскому словообразованию. Он был получен нами уже после того, как настоящий том нашего ежегодника был сдан в печать — поэтому мы можем на нем здесь остановиться только совсем кратко с тем, что в ближайшем будущем вернемся к нему и ознакомим с ним читателей более подробно; укажем на некоторые сходства и расхождения между машинной обработкой русского словаря коллективом Д. С. Уорта и

венгерского словаря нашим коллективом; укажем на некоторые конкретные цели, в которых эта работа может быть, на наш взгляд, использована.

Это — труд-справочник в следующем смысле слова. Допустим, лингвиста интересует вопрос о том, сколько и какие образования в современном русском языке (по Орфографическому словарю, по крайней мере) от корня *мир*[1] ('вселенная' и 'тишина'). Обычные словари дают в одной группе (друг под другом) только такие конструкции в связи с этим, как *мир*, *мирить*, *мирный*, *мировая* и т. д. (В обратном словаре данный корень неинтересен, он фигурирует там один: но ясно, что в обратном словаре были бы собраны только заглавные слова с концовкой *мир*.) А в этом, словообразовательном словаре 110 тысяч заглавных слов названного источника сгруппированы по корням — сами корни расположены в обычном алфавитном порядке. Внутри своеобразной словарной статьи (фактически — словообразовательного гнезда) расположены друг под другом заглавные слова, образованные от разных вариантов корня непосредственно или опосредствованно, со многочисленными предкорневыми и закорневыми элементами. В случае примера *мир* у корня только этот единственный вариант, так что дело обстоит довольно просто: сначала идут друг под другом заглавные слова с последним элементом *мир (мир, макромир, микромир)*, потом — заглавное слово *полмира* (потому что корневой и закорневой элемент вместе: *-мира*, с *а* после корня), потом — заглавные слова с предкорневым элементом *утихо- (утихомиренный, -ить, -иться, -ивать, -иваться)* и т. д. Всего почти 100 заглавных слов от этого корня. Есть, конечно, гораздо более сложные словарные статьи, с большим количеством дериваций от одного и того же корня (ср., например, корень *раз* — около 770 образований, *вод*[1] [~ *вед*]—около 700 образований и т. д.), и/или с большим количеством вариантов корня (ср. корень *им*: *ем*, *ём*, *им*, *йм*, *ым*, *я* [! — *рукоятка*, *вероятность* и т. д.]). Всего 10 953 таких словообразовательных гнезда в словаре — стало быть, в каждом гнезде примерно по 10 слов, включая каждый раз и само корневое слово, если оно может выступать в качестве заглавного (*им*, например, ни в одном из своих вариантов не может выступать самостоятельно как заглавное слово).

Гнездование, а также — упорядочение (установление порядка следования) внутри каждого гнезда выполнены полуавтоматически. Это означает, что *а)* в качестве исходных данных на картах фигурировали только заглавные слова, без отмеченных морфемных швов, *б)* разбивка на конкретные морфы проводилась полностью автоматически, но *в)* так как результат *б)* был далеко не удовлетворителен, в нескольких этапах вмешивались лингвисты и «вручную», т. е. составляли программы, удаляющие некоторые массовые ошибки; наконец вмешивались и в некоторых индивидуальных случаях совершенно конкретно, при создании того или иного конкретного гнезда (отнесения того или иного заглавного слова к тому или иному гнезду). Все это четко и ясно изложено в введении к словарной части, подписанном Д. С. У.

В конце этого введения пишется, что настоящий труд нельзя рассматривать как законченное описание русского словообразования — действительно, в нем есть «только» колоссальный сырой материал, невиданных до сих пор размеров и упорядоченный с чрезвычайно жесткой внутренней логикой. На базе этого материала, безусловно, возможно будет сделать значительные шаги вперед в области исследования русского словообразования: небезынтересен также и опыт, накопленный в работе с машинами над решением лингвистической задачи. Однако обо всем этом — в предстоящей, действительной рецензии на эту работу.

Ф. Папп

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 183—188 1971 Debrecen

Русский язык и советское общество. Под ред. М. В. Панова. [Т. I:] Лексика современного русского литературного языка (185 стр.); [Т. II:] Словообразование современного русского литературного языка (330 стр). Издательство «Наука». Москва, 1968.

Вводный раздел первого тома «Принцицы социологического изучения языка советской эпохи» (стр. 16—49) призван теоретически обосновать большую тему (анализ недостатков работ, посвященных в 20—40-е годы проблеме развития русского языка в советскую эпоху; пять основных антиномий, стимулирующих внутреннее развитие языка — говарящий и слушающий, узус и возможности системы, код и текст, асимметричность языкового знака, информационная и экспрессивная функции; внешние — социальные факторы развития языка — изменение круга носителей языка, распространение просвещения, территориальные перемещения народных масс и т. п.). Очень существенным кажется нам замечание авторов о том, что «любой конкретный языковой процесс, отмеченный в языке социалистического общества, возможен и в языке несоциалистического общества. Но определенное целостное единство всех процессов, протекающих в языке социалистического общества, характерно именно для этого общества» (36).

В основном разделе первого тома, написанном под общим руководством Д. Н. Шмелева, сначала дается общая характеристика лексических процессов русского языка советской эпохи, проявляющихся в тенденциях к однотипности (регулярности) и экспрессивности наименований под влиянием измененных функций литературного языка и расширения состава его носителей. В ходе рассмотрения путей обогащения словарного состава среди неологизмов выделяются, например, своеобразные единицы типа *столовка*, образуемые путем «включения»: прослеживаются источники заимствования — просторечная, диалектная, профессиональная лексика с указанием на относительно сокращенную роль последней; анализируются семантические изменения уже существуюих слов. В росте системности общеупотребительной лексики исследователи приписывают большое значение косвенному влиянию научно-технической терминологии, наиболее активным и перспективным способом образования которой для середины века ими считается создание словосочетаний с помощью аналитических форм прилагательных и особых аналитеческих частиц типа *изо-*, *космо-*, представляющих собой агглютинативные элементы. Мы бы подчеркнули здесь только важность и свежесть мысли авторов о том, что в лексике СРЯ отдается предпочтение составным наименованиям и в этом, по их имению, выражается, с одной стороны, усиленное стремление к аналитизму, а с другой — к экспрессивности. В рамках этой тенденции указывается на случаи замены глаголов составными глагольно-именными сочетаниями типа *оказать помощь*; этот процесс в то же время противоречит тенденции к лексической цельнооформленности смысловых единиц.

Второй том написан под общим руководством Е. А. Земской. Во вступительной главе авторы указывают на рост агглютинативности как на наиболее общую тенденцию развития системы современного русского словообразования; на увеличение регулярности словообразовательных типов и на связанное с этим увеличение абстрактности суффиксов. В следующих главах названные общие тенденции иллюстрируются сначала с точки зрения структуры, потом — семантики производных слов. Так, с одной стороны, наблюдается ослабевание чередования согласных на морфемных швах (ср.: *таганрогцы*, *таганрогский*; *пылесосить — пылесосю*; в

анкетах были вопросы относительно образования названий детенышей редких животных: *кабарга: кабарганенок, кабаргачонок*). Процессу устранения чередования по наблюдениям авторов способствует включение в основу морфонологических средств — интерфиксов *-ов, j, -и-, -ни-* (ср.: *мхатовец, ифлийский, эмгеушник, мирнинец*). В то же время отмечается и явление наложения морфем, поддерживающее фузионное начало в соединении морфем (ср.: *некрасовед*). В связи с анализом аббревиации — «нового словообравовательного способа, получившего гражданство в советскую эпоху» (22), авторы предполагают, что причиной возникновения и распространения сложносокращенных слов является не изменение субъекта (носителей) языка, а его объекта—общественно-экономического уклада. Крайне агглютинативные слоговые аббревиатуры, соответствующие общей тенденции языка к агглютинативности, могли легко распорстраняться в языке, в котором, однако, имеются и инициальные сокращения, носящие фузионный характер.

В дальнейшем прослеживаются словообразовательные типы с возрастающей продуктивностью — в изучаемый период возникает класс процессуальных существительных с суффиксами *-фикация, -изация* при основах, не соотносительных с глаголами (ср.: *телефикация, советизация*); расширяется круг основ с суффиксом *-ов* и т. д. В числе специализирующихся словообразовательных средств приводятся суффиксы *-чанин, -овец, -щик*. Делается вывод о росте регулярности типов отвлеченных существительных с суффиксом *-ость*, отглагольных существительных с суффиксом *-ка*, прилагательных с префиксами *без-, сверх-, анти-*, проходящими процесс превращения из частей слова в слово не без влияния интернационализации нач к.

С другой стороны, стали более абстрактными значения таких суффиксов, как *-льник, -тель, -щик-, -льщик*; намечается процесс превращения маркированных членов противопоставления личных существительных мужского рода в немаркированные путем постепенного оттеснения коррелирующих существительных ж. р. ед. ч. словами м. р. с суффиксами *-тель, -щик, -ник*, применяющимися с обобщенным значением лица. Авторы считают, что в наше время категория м. р. в коррелирующих личных названиях не указывает на пол, является немаркированным членом оппозиции. «Немаркированность личных существительных м. р. в том и состоит, что они могут иметь как значения лица м. рода ([sic! — должно быть, очевидно, «. . . м. *пола*» — Ф. Э.], так и значения лица без указания на пол при обозначении специалистов или лиц с определенными свойствами» (207).

Сделаны предметом изучения и изменения в морфемной членимости слов вследствие выделения элементов из заимствований одинаковой структуры (ср.: *телевизор, троллейбус, фильмотека*; *космодром*). Указывается, что стилистические изменения в системе словообразования в основном происходят вследствие синонимического взаимодействия словообразовательных единиц. При этом стилистическая дифференциация может происходить как одна из сторон специализации словообразовательных типов (ср.: глаголы на *-ствовать, -ничать*, отыменные существительные на *-ник, -щик*) или, наоборот, углубление стилистических различий протекает в процессе деспециализации типов (ср.: качественные наречия типа *-о* и *по-. . .-ому*). Заключительная глава раздела посвящена влиянию сокращения и пополнения лексики на словообразовательную систему.

Авторы сделали предметом многостороннего изучения не всю лексическую и словообразовательную систему языка, а только такие изменения, которые обусловлены не одними лишь их внутренними отнешениями к другим явлениям данного уровня, но и измененными социальными условиями бытования языка. Выдвижение таких переменчивых явлений того или иного уровня языка на сравнительно небольшом этапе его развития и открытие движущих ими внутриязыковых и внеязыковых сил, которые не враждебно взаимодействуют друг с другом, осуществимо только с учетом всей системы языка, с точки зрения которой могут и должны быть оценены всякие изменения. Процессы, проанализированные авторами, выявленные ими развивающиеся тенденции кажутся нам определяющими, решающими в настоящем и будущем развитии всей языковой системы.

В ходе анализа исследователи, с одной стороны, применяют результаты, достигнутые общим и советским языкознанием в области общих внутренних и внешних законов изменения языковой системы (ср.: положения об антиномиях, общей тенденции развития языков — в том числе и русского языка — к аналитизму), а, с другой, дополняют и подтверждают их новыми, существенными, конкретными наблюдениями и частными выводами о росте регулярности, экспрессивности и агглютинативности. Залогом успеха в установлении зависимости языковых тенденций от разных социальных причин явилось использование обширного, тщательно собранного фактического материала, полученного как из традиционных письменных источников лингвистических исследований, так и путем применения метода опроса информантов по программе, составленной с большой осмотрительностью.

В то же время авторы, как на это они сами несколько раз указывают, не претендуют на окончательное решение выдвинутых вопросов, в котором немалую роль играет неразработанность общих и частных теореитеческих вопросов лексики и словообразования как в общелингвистических, так и специальных социолингвистических исследованниях.

В дальнейшем, не касаясь многих вопросов, которые в данных книгах нашли интересное освещение, нам хотелось бы коротко остановиться на некоторых проблемах и положениях, оставшихся, по нашему мнению, открытыми и спорными. Так, авторы неоднократно ссылаются на определяющее значение лексической парадигмы в изменении места и роли единиц в словарном составе и системе словообразовательных типов. Было бы небесполезно дать хотя бы короткую дефиницию понятию лексической парадигмы, содержание которого, по нашему предположению, может быть разное, шире или уже, в зависимости от того, какие семантические и структурные критерии лежат в основе включения единиц в общую парадигму.

В анализе изменений значения слов, проведенном в рамках проблем метафорического, метонимического и функционального переносов, которые уже давно формулированы и разрабатываются традиционной лексикологией и семасиологией, показывается, что авторы придерживаются контекстуального понимания значения слова, принимая положение о том, что между значением слова и его окружением (лексическим и синтагматическим) существует определяющая связь. Трудно сомневаться в том, что слово получает конкретное, актуальное значение в контексте, но в то же время у слова должно быть свое самостоятельное значение, на основе которого оно может входить в разные контексты. Надо сказать, что в исследовании специально не выдвигается задача решения вопроса о значении слова, поэтому, останавливаясь на нем, мы хотели просто указать на один из общетеоретических вопросов, продолжающих двигаться в замкнутом круге.

От перечисленных в первом разделе социальных факторов, взаимодействующих с внутренними, антиномично проявляющих себя факторами, и тем более от частого ислользования некоторых из них в качестве причин, вызывающих и поддерживающих те или иные языковые процессы, может создаватсья впечатление, что они слишком общего характера. Так, например, изменение социального состава носителей литературного языка в послеоктябрьский период, актуальность определенных лексических групп и словообразовательных типов или социальный заказ на них, на которые часто ссылаются авторы, разыскивая внешние причины разных изменений, кажутся нам факторами, постоянно обуславливающими продуктивность и употребительность образований всякого типа. Впрочем, в связи с положением о соотношении таких особенностей словообразовательных типов, как продуктивность и употребительность, в общем можно согласиться с тем, что большая употребительность единиц определенного типа является решающей в продуктивности той или другой группы слов с одинаковой структурой. Но между количеством слов, созданных по какому-то словообразовательному типу и их употребительностью едва ли имеется прямая зависимость. Тут уместно указать на определенную непоследовательность, которая имеется в книге о словообразовании, относительно оценки роли потенциальных образований в возникновении словообразовательных разрядов и особенно в росте продуктивности последних. Основанием для выделения особого класса

процессуальных существительных, не соотностительных с глаголами, авторами принимается то обстоятельство, что глаголы, соответствующие существительным с суфф. *-фикация*, *-изация*, не всегда реализованы в языке, так как они не зафиксированы в словарях. (Кстати, неизвестно, как смотреть на образования с суфф. *-фикатор*, приведенные, например, в обратном словаре Бильфельда, существуют они в языке или их даже в потенции нет?) А при анализе стилистических изменений в системе словообразования, происходящих в основном вследствие синонимичного взаимодействия разных словообразовательных типов, одинаково учитываются образования, «реально и потенциально присутствующие в языке» (232). Это делается не только в теории, но и на практике, когда в числе слов, отражающих «продуктивность в современной разговорной речи качественных образований с суфф. *-щик*», учтены и «различные образные окказионализмы, которые рождаются постоянно в живой непосредственной речи...» (239—40). А по мнению некоторых исследователей, к которому мы тоже присоединяемся, окказионализмы — это осуществление потенциальных моделей языка. Ясно, что материалом лингвистичес ких исследований наряду с единицами, фактически встречаемыми в источниках, могут быть и окказионально осуществляющиеся в речи образования, поэтому нельзя забывать о потенциальных возможностях языковой структуры, которые, по-видимому, представляют собой важную, может быть, главную сторону системы языка.

Относительно применяемых в работе методов у нас есть два замечания, кажущиеся противоречащими друг другу. Отмечаемые в «Лексике» затруднения при определении внутри языковых закономерностей в выборе заимствований из просторечной, диалектной лексики, наверное, объясняются тем, что решение задачи предполагает выявление семантического и структурного отношения каждой единицы, вовлекаемой в литературное употребление, ко всем остальным единицам, имеющимся в употреблении в данное время. Такая трудоемкая работа, по всей вероятности, не может быть выполнена без применения методов статистической обработки материалов на ЭВМ. Другое замечание касается метода массового опроса информантов применительно к установлению стилистической отмеченности слов, надежность которого (-метода) кажется сомнительной. Для таких целей требуется более объективный метод, найти который остается задачей будущих исследований.

Не вдаваясь в дальнейшие отвлеченные теоретические рассуждения (что не явилось основной задачей и для авторского коллектива), сделаем еще некоторые замечания более конкретного характера, касающиеся проблем словообразования. В третьей главе, в конце которой делается вывод о сближении аббревиации с традиционным словосложением, о единицах типа *профсобрание* говорится, что они «внешне не изменились, но внутренняя их перестройка... была очень глубокой: из сложносокращенных слов они стали словосочетаниями» (93). Нам непонятно, почему нельзя их назвать просто сложными словами и в том случае, если элементы типа *проф-* превратились в аналитические прилагательные, даже учитывая условность границы между словосочетаниями и сложными словами.

Недостаточно обоснованным, поэтому неубедительным кажется написанное в § 75 (105—6) о существительных женского рода с окончаниями прилагательных, обозначающих помещения по их назначению. Не видно, чем новообразования указанного типа отличаются от слов, «образованных путем субстантивации и семантической конденсации» (ср.: *прямая*, *уборочная*), а также от «многочисленных старых слов женского рода с окончаниями прилагательных типа *детская*, *столовая* и под. Такие существительные представляют собой результат семантического изменения прилагательных, которое сопровождалось грамматическим изменением форм прилагательного, так как некогда за этими прилагательными стояли словосочетания со словами *комната*, *лавка*...». Как с точки зрения производящих основ (неодушевленных и одушевленных), так и с точки зрения использованных суффиксов *-н-*, *-ов-*, *-ск*, трудно отметить новизну продуктивных моделей типа *агрегатная*, *закусочная*; *ассистентская*, *учительская*, по которым давно образуются подобные наименования. Для доказательства того, что в выделенных в особую группу новообразованиях нет субстантивации и семантичес-

кой конденсации, мало что дает их сопоставление с симонимическими словосочетаниями или толкованиями. Говорящим, употребляя однословное название «*процедурная*» вместо описательного «*процедурный кабинет*» едва ли может мешать то обстоятельство, что в словосочетании определяемым является существительное мужского рода, тем более, что говорящие, по всей вероятности, не думают о словосочетании, стоящем за однословным наименованием, а просто называют помещение, следуя языковой аналогии со старыми словами типа *операционная*. В данном случае можно констатировать «увеличение в современном языке группы слов, принадлежность которых к той или иной части речи определяется контекстом и грамматическими средствами всего предложения» (106) — и ничего больше.

Необоснованно, на наш взгляд, разширяется понятие морфологической парадигмы, полностью стирается грань и различие между грамматическими и лексическими категориями, если стандартность значения и свободу образования прилагательных с приставкой *без-* считаем достаточным основанием для их сближения с парадигмой соответствующего существительного (ср. стр. 159). Какой бы степени не достигла регулярность прилагательных указанного типа, они представляют собой элементы микросистемы лексических единиц, объединяющихся в группу по смыслу противопоставленности. Подобные сомнения может вызвать сказанное о существительных с суфф. *-ка*, и- *ость*, «готовых войти» (16) в парадигму глагола и прилагательного.

Простой перечень слов в седьмой главе (186), использующихся без лексических сопроводителей для названия предметов — машин и механизмов — мало говорит о том, какие из них составляют большинство наименований, возникших непосредственно с предметным значением и какие являются результатом переносного употребления существительных личного значения. Но даже в том случае, если все перечисленные слова мужского рода имеют значение деятеля в широком смысле слова, не снимается вопрос о возможных частных значениях лица и предмета у слов данного словообразовательного типа, для различения которых (=значений) недостаточны имеющиеся у существительных м. р. формальные средства выражения одушевленности-неодушевленности в вин. п. как в ед. ч., так и во мн. ч. Точнее говоря, на эти формальные средства различения личного и предметного значения, как и на другие факты лексико-семантического контекста может опереться слушатель речи, а говорящий может выбрать одну или другую форму вин. падежа только в случае осведомленности в личном или предметном значении подобных существительных с общим значением деятеля Тоже в интересах говорящего, особенно иностранца, изучающего русский язык, надо было бы однозначнее указать, которая из представленных ему возможностей выбора между формами м.р. и формами ж.р. для обозначения женщины и при каких особенностях контекста и стиля высказывания более или менее поддерживается нормами литературного языка.

В конструкции представленных выше разделов монографии обнаруживаетсяя ясна логичность следования рассматриваемых вопросов, вытекающая из природы объекта исследования — слова, которое предстоит перед нами в единстве своих двух сторон — означающего и означаемого. Выдвижение в качестве предмета изучения сначала одной, потом другой из этих сторон, разумеется, неизбежно ведет к повторному возвращению к единицам одного и того же типа. Такой способ изложения предполагает применение аппарата взаимных ссылок то на семантическую, то на структурную сторону рассматриваемого явления. Но от этого объем материала чрезмерно не увеличивается.

Несомненной заслугой авторов надо считать и использование достаточного количества фактического материала, иллюстративных примеров из источников разного стиля и жанра. Поставленные проблемы разработаны на высоком теоритеском уровне и изложены на языке, доступном не только специалистам-языковедам.

Недосмотров, опечаток, затрудняющих читателя в понимании изложенного и в той и в другой книге осталось мало. Из них упоминаем, что в разделе словообразования в таблице I (стр. 34), содержащей цифровые данные относительно образования названий детенышей

животных *кабарга, пасюк*, осталась путаница: неясно, какие данные к каким производным относятся.

Своей многолетней кропотливой работой авторский коллектив сделал значительный шаг на пути восстановления в свои права проблематики «язык и общество», которая и ранее не была чуждой советскому языкознанию, но некоторое время была дискредитирована. Создано исследование, которое может служить образцом многостороннего анализа сложного комплекса проблем развития языка при взаимодействии лингвистических и социальных факторов.

Ф. Эрдеи

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 189—191 1971 Debrecen

Журнал «Русская речь» (1967—), Москва. «Русская речь» — научно-популярный журнал Института русского языка АН СССР, выходит в Москве с 1967 года, 6 раз в год. Журнал, освещающий актуальные проблемы русской речи, завоевал широкую популярность у читателей-знатоков русского языка. «Я выписываю и читаю журнал «Русская речь» с начала его издания. Мне он нравится. Нравится потому, что прививает любовь к русской речи, борется за литературный язык против всякого рода неправильностей в произношении, словоупотреблении». «Я очень полюбила ваш журнал, всегда жду встречи с ним как праздника» (1969, № 1). Умелым подбором материала редакционная коллегия журнала (главный редактор В. И. Борковский) удовлетворяет самые разнообразные вкусы читателя.

Журнал, как сказано в обращении «К читателю» (1968, № 1,. стр.3—4) призван рассказать широкой публике о достижениях современного языкознания, призван бороться за высокую речевую культуру народа и познакомить своих читателей с текстами древней письменности и произведениями советских авторов, со специфическими особенностями крестьянских говоров России, с разговорным языком современного социалистического города и особенностями профессиональной речи. Журнал «Русская речь» обращен «ко всем любителям русского языка, ревнителям его чистоты и ценителям его неисчерпаемых богатств» (там же, стр. 4).

Разделы журнала: «Язык художественной литературы», «Стилистика», «Грамматика», «Выдающиеся советские лингвисты», «Орфография и пунктуация», «Язык газеты», «Изистории слов и выражений», «Введение в языкознание», «Консультация» и т. д. Мы остановимся более подробно лишь на нескольких разделах журнала, представляющих непосредственный интерес для преподавателей русского языка и лингвистов.

В год столетнего юбилея ряд статей посвящен ленинским мыслям о русском языке, ленинскому отношению к языку как важнейшему средству человеческого общения и орудию политической борьбы пролетариата: «Ленин и культура речи», «Ленин и словарь Даля» (1970, № 2, стр. 3—7 и 8—12), «Ленинская национальная политика в языковом строительстве» (1970, № 3, стр. 3—7).

Каково влияние революционных общественных преобразований на развитие русского языка и языков народов СССР? В журнале «Русская речь» много места отведено статьям по этому важному вопросу. Автор статьи «Русский язык в годы революции» (1967, № 3, стр. 3—6) устанавливает: «Революция в обществе не приводит к революции в языке». Главный и самый общий из процессов, наблюдавшихся исследователями в русском языке революционной эпохи — демократизация языковых стилей и литературного языка в целом. — Кандидат филологических наук К. М. Мусаев пишет об унификации алфавитов народов СССР на основе русской графики. По его мнению, унификация письменности «большое достижение в процессе сближения народов Советского Союза, в особенности их культур» (1967, № 2, стр. 3—6.)

Интересная статья посвящена культуре русской речи у нерусского населения СССР (1967, № 6, стр. 9—15). При решении вопросов культуры русской речи у нерусских народов филологи сталкиваются с фонетическими, лексическими и морфологическими трудностями, в принципе сходными с теми, которые приходится преодолевать при разработке вопросов культуры речи у самих русских.

В 4 номере 1968 г. редакция «Русской речи» публикует отрывки из научно-популярного очерка проф. Л. А. Булаховского «Происхождение и развитие языка». Читатель, интересую-

щийся процедурой сравнительной оценки языков, может читать интересную статью «О прогрессе в языке» (там же, стр. 7—12).

В содержании теоретических статей и кратких заметок о новых словах и выражениях, о нормативном словоупотреблении, заключающих каждый номер «Русской речи», отражается сама динамика современного языкового развития, а также живое участие и заинтересованность русского народа в чистоте и правильности русской речи.

В постоянном разделе «Выдающиеся советские лингвисты» редакция публикует интересные и полезные статьи о научной творческой деятельности советских языковедов — И. И. Мещанинова, С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова и др., — продолжавших лучшие традиции русского языкознания и в то же время прокладывавших новые пути в науке о языке.

Большое значение придает журнал языку театра и кино. Опубликованные в первых номерах «Русской речи» материалы о современном произношении вызвали живой интерес у читателей журнала. К популярным актерам этого самого массового вида искусства редакция обратилась с интересными вопросами: «Существует ли различие между разговорно-бытовой речью и речью актера в кино?» «Насколько верно распространенное сейчас мнение о том, что кино подчас дурно влияет на речь молодежи?» «У кого из актеров кино, по Вашему мнению, образцовое произношение?» и т. д. Редакция журнала получила много читательских откликов на анкеты. По заслуженному артисту РСФСР Г. М. Вицину речь в кино не должна быть такой, какую мы слышим в театре или на эстраде. «Это речь, которая произносится как бы на ухо: сокровенно, просто, как в жизни». Ю. В. Никулин подчеркивает: «...речь с экрана влияет на нашу молодежь, влиянию этому особенно подвержены дети: они очень восприимчивы ко всему, что видят и слышат» (1967, № 3, стр. 23, 25). Статья А. А. Реформатского «О речи в устах артиста» посвящена также этой теме (1967, № 6, стр. 78—82). Вопрос о языке фильма, о качестве речи, звучащей с экрана, очень непрост. Он интересует и деятелей кинематографии, и лингвистов, но и всех, кто видит в кино серьезное искусство. Качество языка киносценариев и его влияние на культуру речи, особая художественная роль слова в кинематографе — вот проблемы, затронутые лингвистом Л. И. Скворцовым и кинокритиком А. Е. Балихиным в статьях «Говорливые фильмы» и «Живое слово с экрана» (1969, № 2, стр. 47—53 и 53—58).

Под рубрикой «За рубежом» публикуются рецензии на иностранные лингвистические журналы (1968, № 2; 1969, № 1). Статья Джеральда Стоуна (1970, № 2) посвящена «Истории изучения русского языка в Англии». В том же номере Петр Митропан пишет о взаимодействии между русским и сербскохорватским языками: «Русская речь в иноязычной среде».

Приохотить детей к чтению — это значит открыть для них постоянный источник приобретания знаний, самообразования. В разделе «Прочитайте детям» редакция публикует занимательные стихи для детей. Вот несколько из них: «Плакун-трава», «Пастушья сумка», «Удивительные слова» и т. д.

Раздел «Консультации» содержит словари и статьи по общей теории речи и преподаванию русского языка. Большой практический интерес представляет «Краткий словарь русского литературного произношения и ударения» (1967, № 2—6), включающий около 800 слов и форм, в произношении, ударении или образовании которых чаще всего наблюдаются ошибки или колебания. Терминологический «Словарь начинающего филолога» составила кандидат филологических наук В. Н. Виноградова (1969, № 1—6; 1970, № 1—3).

Интересна статья Б. М. Гриншпуна о дефектах звуковой стороны, ритма, смысла и грамматического строя детской речи. Автор указывает «четыре аспекта, в которых может осуществляться помощь «неспециалистов» ребенку с нарушениями речи: выявление нарушений, предупреждение их, предупреждение нарушений письменной речи в связи с подготовкой к обучению грамоте и участие в работе по исправлению речи» (1969, № 3, стр. 120). Раздел «Консультации» чрезвычайно важен для преподавателей, стремящихся повысить свой общетео-

ретический уровень и быть в курсе современных проблем языкознания применительно к русскому языку.

В журнале можно найти информации о новых книгах. Под названием «Советское языкознание за 50 лет» (1967, № 2, стр. 89) редакция знакомит читателей с книгой, написанной большим коллективом авторов — крупных лингвистов, работающих в различных научных центрах СССР. Рецензированная книга представляет большой теоретический и пракрический интерес: в ней читатель найдет обзор основных достижений советских лингвистов в изучении разных языков.

С выходом первых номеров «Русской речи» у журнала появились тысячи друзей и сотни корреспондентов. В их письмах звучит любовь к родному языку, желание знать о нем больше. Решительные протесты вызывают коверканье языка, вульгаризмы, злоупотребление канцеляризмами. В редакцию посылают вырезки из газет со стилистическими и орфографическими ошибками, образцы неграмотно написанных объявлений и вывесок. Читатели приводят примеры нарушения норм литературного языка, призывают бороться за чистоту устной и письменной речи. Многие читатели пишут о лингвистическом воспитании народа: «Надо больше, выпускать популярных книг о языке, разнообразных словарей и пособий, публиковать серьезные языковедческие статьи в массовых изданиях» (1967, № 4, стр. 79).

В письмах читателей не только предложения и пожелания. Они обращаются к редакции с просьбой ответить на интересующие их вопросы о языке. Многие читатели интересуются например, на каком слоге делать ударение в том или ином слове (*киломе́тр* или *кило́метре*) почему допускаются варианты в ударении некоторых слов (*собра́лся* и *собрался́*), как понимать необычное ударение, встречающееся в поэтических приозведениях («...то бурла́ки идут бечевой») и др. Литературный язык «принимает за норму один вариант» (*киломе́тр*) — говорится в ответе редакции — «и отвергает другой как неправильный». Что касается «неправильного» ударения у поэтов XIX века, то оно неправильно только с точки зрения современной литературной нормы. «Сформулировать правила ударения в современном русском языке часто бывает трудно. Поэтому во всех сомнительных случаях следует обратиться к словарям и справочникам» (1968, № 1, стр. 104—105). Ответы на письма читателей публикуются в постоянном разделе «Почта „Русской речи"».

Б. Леван

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 193—195 1971 Debrecen

С. Б. Бернштейн, В. М. Иллич-Свитыч, Г. П. Клепикова, Т. В. Попова, В. В. Усачева: Карпатский диалектологический атлас. Изд. АН СССР. Институт славяноведения. М., (1967), 271 стр. текста + 212 карт.

За последние десятилетия заметно усилился интерес специалистов по славянскому языкознанию различных стран к проблемам древних связей славянских языков и в частности к проблеме взаимоотношений украинских говоров карпатского ареала с южнославянскими языками. Постановка этой проблемы не нова, ее касались исследователи-слависты еще в XIX веке, однако многие из них не придавали этой проблеме особого значения. Исследования часто строились на изолированных и случайных сопоставлениях отдельных фактов, а иногда служили определенной националистической концепции.

Качественно новым шагом в изучении этой сложной, но чрезвычайно интересной проблематики явились подготовка и издание Институтом славяноведения АН СССР Карпатского диалектологического атласа (в дальнейшем КДА).

Решение о подготовке КДА было принято на Первом всесоюзном координационном совещании по актуальным проблемам славянского языкознания в 1961 году. Сбор материала в 150 населенных пунктах Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях УССР был начат в 1963 и окончен весной 1966 года и через два года (в конце 1967 года) атлас был издан двумя книгами на ротапринте.

Первая книга состоит из нескольких разделов: Предисловия (стр. 3, 4); Вступительной статьи: Карпатский диалектологический атлас (стр. 5—32); Программы собирания материалов для КДА (стр. 32—72); Комментариев к картам КДА (стр. 73—252); Приложения и указателей (стр. 252—71).

Во вступительной статье дан краткий, но обстоятельный критический обзор истории изучения проблемы. Несмотря на то, что в истории славянского языкознания известны случаи, когда украинско-южнославянские языковые связи с определенных националистических концепций искусственно преувеличивались (например, работы С. Смаль-Стоцкого), «было бы большой ошибкой игнорировать в грамматическом строе украинского языка, в словарном составе, в значении многих слов наличие элементов, которые ориентируют украинский язык к южнославянскому языковому миру». Эти общие элементы в большинтве случаев не являются общеукраинскими, а локализуются преимущественно в украинских говорах Прикарпатья и Закарпатья.

Большую роль в изучении данной проблемы сыграли статьи профессора В. Погорелова, несмотря на то, что его статьи были написаны на низком профессиональном уровне.

Критики Погорелова (И. Панькевич, М. Фасмер) «хорошо показали слабость его аргументов, но не поняли важности самой проблемы: почему на территории юго-западных говоров украинского языка проходит много изоглосс, которые прерываются к востоку от Днестра, но идут далеко на славянский юг?» К тому же «статья Ив. Панькевича по своему уровню мало чем отличается от статьи Погорелова. Изолированные и случайные сопоставления отдельных фактов, отсутствие строгого этимологического анализа, поразительная неосведомленность автора в южнославянской диалектологии, игнорирование данных ру-

мынской и венгерской диалектологии — все это ставит под сомнение почти все конкретные сопоставления».

Авторы убедительно показали недостатки работ Б. В. Кобылянского, который более обстоятельно останавливался на данном вопросе.

Ничего нового в изучении поставленной проблемы не внесли и исследования И. А. Дзендзелевского.

После этого краткого исторического очерка истории изучения генетических связей украинских говоров района Карпат с южнославянскими языками, авторы излагают те задачи и принципы, которыми по их мнению, должны руководствоваться исследователи данной проблемы. Эти принципы можно суммировать в следующем:

1. Эта проблема — часть большой проблемы карпатского языкознания. Необходим тщательный анализ аналогичных фактов в словацких и польских говорах, в румынском и венгерском языках.

2. Общие элементы словаря юго-западных украинских говоров с южнославянскими языками нужно рассматривать дифференцированно. Нельзя смешивать древнейшие общие элементы (целесообразно их называть «карпатизмами», поскольку в украинских говорах они в такой же степени могут считаться южнославянизмами, как в южнославянских языках — украинизмами) и более поздние общие элементы (целесообразно их называть «балканизмами», «так как на основании балканизмов нельзя говорить о древних этнических и языковых связях восточных и южных славян».

3. В установлении древних карпатизмов большую роль играет румынская этимология. Изучение славянских элементов румынского языка дает возможность разграничить древние общие славянские элементы от поздних южнославянизмов.

4. Необходимо обратить внимание на поразительные лексические совпадения северо-западных украинских и русских, западных белорусских говоров с юго-западными говорами украинского языка и южнославянскими языками. Нужно детально изучить в лингвогеографическом аспекте наиболее архаические зоны восточнославянских языков, чтобы надежно определить тот круг лексики, который объединяет южнославянские языки с определенными говорами восточнославянских языков.

5. Рассматривая карпатско-южнославянские лексические соответствия, нельзя ограничиваться данными южнославянских литературных языков (как это делалось раньше), и оставлять в стороне богатейшую диалектную лексику.

6. При изучении данной проблематики большое внимание следует уделить семантике, поскольку в связи с карпатской миграцией славян (под влиянием изменения географической среды) произошли значительные семантические изменения в лексике говоров карпатского ареала и южнославянских языков.

В заключение вступительной статьи авторы описывают историю постановки и решения вопроса о подготовке КДА.

Программа собирания материалов для КДА (стр. 32—72) содержит 556 вопросов, из них посвящены лексике 470, словообразованию 34, морфологии 24, синтаксису 11, дополнению 17 вопросов.

В разделе лексики вопросы строятся двояко: 1) «что означает...?», т. е. от слова к значению и 2) «Как называется...?», т. е. от значения к слову, что позволило позже составлять и семантические карты. В этом разделе большое внимание уделено географическому ландшафту, природе, фауне, флоре, человеку, сельскохозяйственному производству и т. п.

В связи с тем, что в области словообразования (в первую очередь именного) языки карпатского ареала имеют много общего с южнославянскими языками, в программе большое внимание уделено этому вопросу. Вопросы морфологии и синтаксиса занимают в программе скромное место. Раздел, специально посвященный фонетике вообще, отсутствует, но раздел «Дополнение» включает ряд вопросов для сбора материалов по фонетике.

Комментарии к картам (стр. 73—252) построены по единому принципу. Название комментариев всегда соответствует названию карт. В комментариях всегда указывается номер вопроса «Программы», на материалах которого построена карта. В комментариях к картам указываются фонетические варианты картографируемых лексем, конкретизируются оттенки обобщенного значения, картографируемых одним знаком.

Приложение (стр. 252—70) содержит список архивных карт, указатель участников экспедиций по сбору материалов для КДА, указатель слов в картах КДА и список сокращений.

Вторая книга атласа содержит 212 лингвистических карт. Кроме этого, 180 карт оставлены в архиве Института славяноведения АН СССР. На каждой карте 150 пунктов обследования (138 украинских, 10 молдавско-румынских, и 2 венгерских), которые на карте обозначены кружком, рядом с которым стоит номер.

Все карты «иллюстративного» типа. Цели иллюстрации лингвистических данных служат знаки различной конфигурации и цвета (роль последних, кроме черного и белого, исполняют различные виды штриховок). Атлас содержит различного типа карты: 1) лексические (от значения к слову) (39 карт), 2) семантические (от слова к значению) (33 карты), 3) карты на распространение слова (138 карт) и структурные карты (№№ 32 и 53), на которых показаны соотношения значений совместно употребляемых однокоренных лексем.

Иногда на картах кроме основной темы отражается еще одна - второстепенная тема (напр., карты №№ 39, 56, 80 и др.). В случае наличия картографируемых вариантов фигуры на картах делятся на две или три части (на лексических картах) или пририсовываются другие фигуры (на семантических).

Атлас имеет ряд достоинств. Карты, как правило, не перегружены информацией. Они легко обозримы и поэтому изоглоссы явлений вырисовываются четко. Четкость изоглосс — следствие доброкачественности собранного материала, но необходимо учесть и то, что эта четкость, а также и обозримость карт обусловлены и типом атласа, «иллюстративным», а не «вписывающим» методом подачи материала. Известно, однако, что такой метод картографирования имеет и отрицательные стороны (см. Deme, Nyelvatl. стр. 24 и след.). Опасность заключается, прежде всего, в том, что фигурами и цветами нельзя передать все богатство фонетических и семантических вариантов картографируемых явлений. К тому же количество фигур в легенде карты должно быть ограничено, ибо безмерное увеличение их числа неизбежно ведет к нарушению обозримости карт (см. например, карту № 173), а ограничение их количества невольно ведет к упрощению, схематизации действительности, к насилию над ней. Из этой сложной дилеммы авторы КДА нашли удачный выход: с помощью подробных, вмещаемых большое количество вариантов картографируемых явлений, комментариев рецензируемый атлас устранил все основные недостатки «чисто иллюстративного» типа лингвистического атласа, сохранив в то же время его преимущества.

Техническое оформление атласа оставляет желать лучшего. Можно только сожалеть, что КДА издан на ротапринте. Недостатки технического оформления обусловлены именно этим. По техническим причинам не сняты с карт белые кружки, обозначающие пункты обследования и не несущие никакой лингвистической информации (см. карты на распространение), это несколько снижает четкость (тем более, что черные и белые кружки иногда противопоставляются [см. семантические карты]). Причинами такого же порядка обусловлено и то, что карты и соответствующие комментарии оказались в двух рахных книгах, это значительно затрудняет пользование атласом.

Эти частные недостатки не снижают общего значения КДА, выход в свет которого без преувеличения можно назвать началом нового, более высокого этапа в изучении сложной, но очень важной и чрезвычайно интересной проблемы — проблемы языковых контактов в районе Карпат, проблемы древних непосредственных контактов восточно - и южнославянских языков.

А. Фодо

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 197—199 1971 Debrecen

K. Habovštiaková: Bernolákovo jazykovedné dielo (Oeuvre linguistique de Bernolák), SAV, Bratislava, 1968, 443 p. (pp. 379-92: un résumé allemand).

Anton Bernolák (1762—1813) est le premier codificateur de la langue littéraire slovaque, ainsi que le fondateur des conditions du développement de la culture et de la littérature slovaques. L'importance de ses ouvrages était justifiée par le fait que presque tous les spécialistes de dialecte, de système et d'histoire de la langue slovaque qui le succédaient, se réclamaient de Bernolák. Il faut avouer cependant qu'il y avaient des causes politiques, des problèmes des nationalités et ceux des confessions qui résultaient des interprétations parfois négatives, et qu'on ne considérait souvent qu'une partie de son oeuvre et qu'on ne la connaissait pas toujours à fond.

Mais la justesse de la conception fondamentale de Bernolák était prouvée par le progrès. Ses successeurs savent depuis longtemps que même après plusieurs décades, ils lui doivent l'appréciation de son oeuvre à sa juste valeur. Au cours des 40 années passées plusieurs savants essayaient de payer au moins une partie de cette dette. C'est tout d'abord Katerina Habovštiaková (candidat, collaboratrice de l'Institut de Recherches Linguistiques de l'Académie des Sciences de Slovaquie) qui s'est chargée d'une partie considérable de ce travail, d'abord par ses études importantes (v. pp. 363—4), puis par sa monographie vaste, dont on rend compte ici.

Dans le premier chapitre (pp. 9—14) l'auteur fait une esquisse brève et concise de la carrière de Bernolák, marquant ses étapes les plus importantes qui, comme centres de culture (Bratislava, Emericanum; Trnava, Stephaneum; Vienne, Pazmaneum), lui assuraient des conditions et des possibilités où il a pu se procurer une culture immense, faire la connaissance de modernes tendences d'idée de son époque, les résultats les plus récents des science (les lumières, la philosophie, la linguistique, la médecine, la botanique, etc.) et qu'il pouvait développer ses qualités d'organisateur, ses activités scientifiques.

Dans le chapitre suivant (pp. 15—37) l'auteur traite l'origine de la langue littéraire (écrite), codifiée par Bernolák. En bref, pour qu'on puisse connaître des tendences convergentes du développement, il s'appuie aux résultats récents de la recherche des linguistes et des historiens, et fait une esquisse du chemin du processus linguistique dont l'aboutissement aura lieu à l'époque des idées triomphantes des lumières et ce processus aboutira à ses fins dans les ouvrages de Bernolák. La nation slovaque commençait à se développer au XI^{e} et au XII^{e} s. La formation de sa bourgeoisie et de sa couche de propriétaire foncier prend son départ au cours du XIII^{e} et du XIV^{e} s. L'intégration linguistique se trouvait en face des obstacles produisés par les conditions infavorables qui ont relenti la marche de cette évolution. A travers plusieurs siècles au sein de l'ethnie slovaque c'était le tchèque, langue apparentée, étant d'ailleurs compréhensible sans aucune difficulté qui a remplit la fonction de la langue écrite et littéraire. Mais on doit remarquer la pénétration des éléments phonétiques, sémantiques et lexiques du slovaque qui commençait assez tôt. La slovaquisation assez lente, mais intensifiée sans cesse, n'était pas de caractère littéraire, elle était la plus forte dans le langage des terriers, des correspondances des cours du chateau, des livres de compte de ville et dans celui des correspondances privées. La pénétration des éléments slovaques à la langue tchèque n'avait pas de même intensité sur tout le territoire linguistique slovaque, mais elle se présentait, comme processus naturel, sur le territoire linguistique de l'ouest, du centre et de l'est. Au XVII^{e} et au XVIII^{e} s. sur le territoire de l'ouest il y avaient d'importants centres économiques et culturels, connus dans le pays entier (Bratislava, Trnava). Par conséquence sa langue, la plus proche de la base linguistique du

tchèque, se développait au fur et à mesure, commençait à percer d'une façon assez forte dans les livres imprimés et même dans les écrits de caractère littéraire. Certains traducteurs et écrivains emploient déjà dans leurs ouvrages l'usage du slovaque de l'ouest. C'était Jozef Ignác Bajza qui dans son ouvrage littéraire, intitulé «René» frayait consciemment le chemin à l'usage de la langue littéraire slovaque (I. 1783; II. 1785). Après ces phénomènes isolés, en 1787 est arrivé un tour radical, car à Bratislava une partie de la jeunesse théologique, avec Bernolál à leur tête commençait une action en vue d'acquérir des droits civiques de la langue slovaque et ils ont fondé une association en faveur de sa cultivation. Mme Habovštiak a très bien aperçu que l'activité de Bernolák pour la prédominance du slovaque n'était pas menée par son catholicisme et non plus par des sentiments contre-tchèques, et la pertinence ainsi que la nécessité de son programme linguistique ne peuvent être comprises que pour ceux qui prennent la suite de l'évolution historique et sociale et le processus de la formation en nation du peuple slovaque.

Le programme linguistique de Bernolák favorisait à l'extrême l'unification des forces nationales et culturelles. Ses partisans ont aperçu que la langue slovaque codifiée offre de grandes possibilités au développement de la vie culturelle et littéraire, et qu'avec son aide, comme Fándly l'a exprimé, chez les slovaques on peut commencer l'édification de l'époque «argent» — si ce n'est plus l'époque d'or.

Dans les suivants (pp. 38—55) on reçoit un résumé excellent de l'accueil de son travail codificateur en son temps et l'auteur rend également compte des jugements de valeur de la langue littéraire de Bernolák, dans les années depuis passées. C'est bien entendu qu'il y en avaient beaucoup qui, à cause des considérations politiques, n'avaient pas d'enthousiasme pour la nouvelle langue littéraire; et on a accusé son codificateur d'incompétence et d'antipatriotisme. Malgré tout la première langue littéraire slovaque a servi plus de 50 ans le renforcement de la conscience nationale et l'enrichissement culturel.

L'auteur consacre un chapitre à part (pp. 59—73) à l'analyse et au jugement des ouvrages de Bernolák. Il constate le but, la portée de ses écrits, chacun en particulier, et il précise leur place dans la linguistique slovaque, slave et européenne, en outre il essaie découvrir la base scientifique, où Bernolák pouvait puiser au temps de leurs écritures, en qoi existe son originalité et qu'est-ce qu'il a emprunté d'autres auteurs. Considérant globalement son expérience littéraire on doit remarquer le caractère méthodique du travail de Bernolák, ses connaissances bibliographiques profondes, son excellente perception critique et que dans les solutions des problèmes il était un savant rationaliste. Dans ses ouvrages intitulés «Dissertatio et Linguae Slavonicae ... Orthographia», parus dans la même année (1787), il fixe ses principes d'orthographe, il motive les modifications et la nécessité des simplifications. Son intention était d'introduire à l'orthographe l'homogénéité et un esprit conséquent. Il a fondé ses principes pour une bonne part sur la prononciation. Partant du principe qu'on n'a besoin que tant de graphèmes qui existent dans la langue — et pour faciliter l'orthographe — il a supprimé plusieurs signes employés usuellement, mais qu'il a jugés seperflus, p. ex.: les graphèmes *q*, *x*, *y*, et *j*, ayant la fonction de *i*; à la place de *au* il a introduit *u* et parmi *g*, *j*, *y*, employés dans la littérature du slovaque de l'ouest pour *g*, il n'a retenu que *g*.

En ce qui concerne *l* doux et dur, il les distinguait tipographiquement. Pour marquer la quantité des voyelles et la mollesse des consonnes il a introduit des signes diacritiques. Dans l'orthographe des mots d'origine latine et grecque c'était la prononciation du pays qui lui servait de gouverne.

Il a élaboré la phonétique de la langue littéraire slovaque et une bonne partie de sa phonologie dans son ouvrage «Grammatica slavica... ad systema scholarum nationalium» (1790). Mme Habovštiak a fait l'analyse de cet ouvrage avec soin et prouve avec compétence que quel sont les cas où Bernolák garde les formes tchèques p. ex. dans la conjugaison et dans la déclinaison, et où il a ses préferences aux formes du slovaque du centre ou même du slovaque de l'ouest.

Dans son analyse multiple elle aborde également le vocabulaire de la langue littéraire slovaque, à propos de «Slovar». Les parties les plus importantes sont celles où elle découvre ses sources, mesure l'étendue de certains secteurs du vocabulaire et désigne également les néologismes.

Écrire une monographie sur Bernolák ce n'est pas une tache facile parce qu'en traitant son expérience linguistique il faut éclaircir un assez grand nombre de questions sociales, politiques et confessionnelles. L'auteur aborde également ces difficultés. La monographie s'est faite sur des recherches originales et à coups d'une bibliographie très large. Le compte rendu de l'auteur sur les précédents de la langue littéraire de Bernolák n'est pas surdimensionné, mais c'est un avertissement util, écrit d'une critique compétente, au sujet proprement dit. La représentation des ouvrages de Bernolák est bien détaillée; c'est vrai d'ailleurs que sans une telle analyse philologique et sans une comparaison tellement précise elle n'aurait pas pu de constater de manière rassurante que Bernolák, jusqu'à quelle mesure, tenait-il aux traditions grammaticales et linguistiques, comment il a perfectionné dans sa propre oeuvre la systématisation et les définitions des grammaires connues par lui, et sous quels rapports dépassait-il avec 20—25 ans, les modernisations fugitives de l'orthographe tchèque; elle examine aussi les éléments de différents dialectes slovaques qui donnaient une forme à la phonétique, à la morphologie de la langue littéraire. L'auteur accorde de l'attention à l'éclaircissement du fond social du chemin qui menait au développement de la langue littéraire. Elle affirme très bien que l'oeuvre de Bernolák n'est pas seulement l'accomplissement des tendences slovaquisantes, mais en même temps il pose le fondement de la langue littéraire autonome, il élabore d'une manière systématique et bien raisonnée son système. L'auteur soulígne encore que cette langue avait un rôle important dans l'évolution de la conscience nationale ainsi que dans celle de la vie culturelle.

Pour faire une critique nous pouvons dire que Mme Habovštiak emploie un jugement sévère quand elle examine l'étendue du vocabulaire du dictionnaire polyglotte de Bernolák par une comparaison d'un dictionnaire monoglotte, récemment paru: «Slovník slovenského jazyka» (Dictionnaire de la langue slovaque). Elle aurait pu mentionner que l'opinion de Gregor et celle de Hájeková étaient tout à fait différentes en ce qui concerne les éléments slovaques de «Lexique de Beszterce». Il aurait été très util la diminuation du nombre assez grand des idées, le remplacement des constatations détaillées par les indications brèves. Selon les renseignements bibliographiques Bernolák suivait les cours de la théologie pendant 9 ans, dès l'année scolaire 1780/81; ce fait a échappé à la vigilance de l'auteur, car à la page 11 nous lisons qu'en été 1787 on l'a ordonné déjà prêtre, et bientôt on l'a nommé au vicaire à Čeklis.

Au bout du compte, la monographie est très utile pour les slovaquistes tout comme pour les slavistes.

I. Kovács

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 201—205 1971 Debrecen

James B. Woodward, Leonid Andreyev. A Study. Clarendon Press, Oxford, 1969, XI+290 c.

На пятидесятом году после смерти Леонида Андреева вышла книга Дж. Б. Вудуорда — профессора университета Суонси (В. Британния) — о творчестве писателя. Это—единственная синтетическая работа, увидевшая свет в связи с годовщиной.

Да и вообще крупных работ об Андрееве поразительно мало. Кроме А. Кауна и Л. Афонина[1] не брались за составление большой монографии о творчестве писателя ни советские, ни зарубежные литературоведы. Книга Кауна была написана без использования важнейших материалов, обнаруженных лишь после ее опубликования и к нашему времени в значительной степени устарела, книга же Афорнина по существу и не претендовала на монографическую полноту.

Рецензируемая книга — значительное достижение в андрееведени. Критически подходя к творчеству писателя, автор не закрывает глаз перед слабостями Андреева и систематично указывает на те места его произведений, где художник оказывается неспособным убедительно мотивировать абстракции мыслителя, или, где он падает в сентиментальность. В то же время работа Будуорда свободна от тех предрассудков и схем, которые вплоть до последных времен мешали объективному и многостороннему подходу к творчеству писателя. Вудуорд считает Андреева значительным художником и достойным внимания мыслителем, явлением, во всяком случае во многом симптоматичным в духовной жизни России конца XIX, начала XX века и вместе с тем заслуживающим внимание как исследователей так и читателей нашего времени.

По методу и концепции книгу Будуорда можно назвать работой философского характера. Автор полемизирует с андрееведами, считающими, будто у писателя не было целостного мировоззрения, не было своей «философии». Главная цель книги: освещение идей, со строгой систематичностью пронизывающих важнейшие произведения Андреева и изучение многообразия форм, художественно воплощающих эти идеи. Автор не оставляет без внимания общественных отношений и исторических переворотов, повлиявших на мышление и на метод писателя (так, неоднократно указывает на антибуржуазный характер андеевского творчества). В то же время он полагает, что с учетом лишь этих факторов (впрочем, в достаточной степени изученных андрееведами-марксистами), невозможно составить полное представление об этом исключительно своеобразном художнике-одиночке.Поэтому Вудуорд уделяет особое внимание воздействию других, до сих пор менее удовлетворительно исследованных факторов на формирование мышления и метода писателя: идейно-философским влияниям и событиям личной жизни. В связи с упором на второй из этих факторов, автор вплетает в свою книгу и подробную биографию Андреева, во многом также полнее и систематичнее предшествуюших ей попыток.

В оценке идейно-философских влияний на Андреева автор отказывается от достаточно распространенного взгляда, согласно которому писатель был лишь иллюстратором или даже вульгаризатором известных ему философских систем. Вудуорд исходит из соображения, что Андреев только в такой степени опирался на философию Шопенгауера, Ницше, Гартманна,

[1] A. KAUN. Leonid Andreyev. A Critical Study, New-York, 1924. *Л. Н. Афонин.* Леонид Андреев. Орел, 1959.

Достоевского или Толстого, в какой они соответствовали его собственному мышлению, а заимствованные у них мысли он подвергал своеобразной переработке, неоднократно попадая даже в полемику со своими идейными «вдохновителями». Хотя Андреев был органически неспособен выработать свою философскую теорию, из его литературных произведений все же вырастает вполне определенное единство мыслей, отражающее не менее определенное отношение к жизни. В своей книге Будуорд, по существу, берет на себя задачу исследования этого единства.

Основу философии Андреева Вудуорд видит в своеобразном дуалистическом понимании действительности, в своеобразной поляризации внешнего разнообразия и дисгармоничности с одной стороны, и метафизического единства и гармонии, с другой. Существуют две действительности: первая, поверхностная, «феноменальная» действительность, «эмпирическое» существование человека, в котором доминируют сознание, интеллект и воля — и вторая, «трансцендентальная» действительность, доступная лишь подсознательному, интуитивно-эмоциональному поинманию явлений. Так как человек — раб в стенах своего индивидуума, из которых он тщетно старается вырваться при помощи своего разума и воли, весь размах андреевской мысли направлен на то, чтобы установить связь со «второй» действительностью. Постоянной, единой темой его творчества (наличие которой ставится под сомнение большинством исследователей) вытекает, следовательно, из стремления привести героев в это .состояние «трансценденции», или сопоставить их с этим состоянием. Отрыв «первой» действительности от «трансцендентального» единства; путь от первой реальности ко второй через согласование человека с природой, сознательного с бессознательным; торжество второй действительности над первой или трагедии из-за невозможности достижения такой тармонии — вот главные темы Андреева, пронизывающие все его творчество.

Несмотря на подобные, идеалистико-агностические основы философии Андреева, имеющие несомненные признаки внешнего сходства с религиозным мышленнем, Вудуорд все же не считает его мистиком, так как вера в другую, более верную действительность у писателя не приводит к отходу от «первой» действительности; напротив: конфликты в его призведениях вытекают, как правило, из «дурного самочувствия» эмпирического бытия; он раскрывает главным образом те отрицательные явления жизни, причины которых по, его убеждению, следует искать в разрушении гармонии двух реальностей. Полемизирует Вудуорд также и с исследователями, обвиняющими Андреева в пессимизме. В том-то и дело, что пессимизм произведений Андреева, заражающий и читателя, касается лишь внешней, феноменальной стороны вещей, относящейся к первой действительности; во второй же действительности господствует постоянная целесообразность и гармония. Подобно Гартманну, Андреев предполагает существование некой космической жизненной силы, частицей которой является и подсознательное человека, как моментальная объективация индивидуума, но, в отличие от немецкого философа, Андреев верит в то, что эта сила направлена на постоянное исправление жизни; космический процесс для него идентичен беспрерывности подобного обогащения бытия. В противоположность общепринятому воззрению, для Вудуорда Андреев скорее идеалист, чем скептик, скорее моралист, чем мизантроп.

Такое понимание андреевской философии (изложенное нами, конечно, лишь в некоторых главных ее аспектах) может казаться неожиданным, отвлеченным и даже натянутым для тех, кто интересуется внешней, «феноменальной» проблематикой творчества писателя. То, что Вудуорд не дает оценки этой философии, не излагает своего к ней критического отношения в свете современного развития философии, сможет вызвать ряд неодобряющих реакций. Однако, основополагающее и постоянное наличие такой философии в андреевском творчестве у Вудуорда доказывается не только отдельными теоритескими высказываниями писателя. В том-то и заключается основное стремление автора, чтобы проследить реализование и варьирование этой философии во всем процессе творческого пути художника, и при том не только в произведениях, ограничивающихся постановкой, так сказать, «чисто метафизических» проблем,

но и в произведениях, строящихся — иногда только по-внешнему — на вопросах из круга явлений «первой» действительности. В этом смысле для Вудуорда важнейшие произведения Андреева составляют определенную систему символов, сквозь которую развертывается философское единство, рассматриваемое автором в историко-эволюционном процессе творческого пути писателя.

После подробной характеристики «годов формирования» (до 1898 г.) дальнейший творческий путь Андреева Вудурод разделяет на три периода. В заглавиях отдельных частей книги весьма ощутимо передается главное направление андреевской мысли, характерное для данного периода. В первый период (1898—1904) (часть «Жизнь и отступник») доминируют темы судьбы одинокой личности, противопоставляющей себя «живой жизни», отрывающей себя от «высшей» реальности, отчуждающейся от природы и общества. Разные вариации этой темы воплощаются в таких важнейших произведениях Андреева, как *Рассказ о Сергее Петровиче*, *Молчание*, *Вездна*, *В тумане* , *Мысль*, *Жизнь Василия Фивейского*, *Красный смех*, *Губернатор*. Во второй период (1905—1911, под заглавием «Трансценденция личности»), составляющий важнейший этап творческого пути Андреева, эти темы как бы уравновешиваются темами «спасения и воскресения», полностью, однако, не затемняющими их. Все же в таких значительнейших произведениях, как *К звездам*, *Савва*, *Елеазар*, *Иуда*, *Жизнь Человека*, *Царь-Голод*, *Тьма*, *Проклятие зверя*, *Рассказ о семи повешенных*, *Мои записки*, *Черные маски*, *Анатэма*, которые в книге Вудуорда подвергаются особенно тщательному разбору, сквозь сложную метафизическую проблематику, мрачную тональность и кажущуюся пессимистичность, в разной форме и в разной степени, но почти всегда просвечивает своеобразная андреевская вера и жизнеутверждение. В третьем периоде (1912—1919), однако, эти ноты не усиливаются, напротив, Андреев создает «Трагедию идеалиста» (заглавие соответствующей части). В связи с надвигающимися историческими переворотами в творчестве писателя растет роль актуальной историко-политической проблематики (произведения на тему войны). В лучших произведениях периода (драмы *Профессор Сторицын*, *Екатерина Ивановна*, *Не убий*, *Тот, кто получает пощечины*, *Самсон в оковах*) органическая связь таких тем с философской постановкой жизненных проблем не утрачивается, но показательно, что формула, характерная для произведений раннего периода, вывертывается на изнанку: теперь рупором авторских идей выступает личность, а «отступником» является общество, что приводит к усилению общественно-критического начала. Нехарактерная для Андреева пессимистичность и мизантропичность *Дневника Сатаны*, а также и его художественная посредственность, связанные с изменившимися условиями жизни писателя и его непринятием последствий Октябрьской революции, свидетельствуют об изнурении Андреева — художника и мыслителя: последний акт трагедии обозначает и трагедию Андреева-идеалиста.

Такова в общих чертах эволюция андреевской мысли, предлагаемая Дж. Б. Вудуордом. Такой подход к творчеству писателя оправдывается тем, что благодаря этому подходу, автору удается, во-первых, включить все творчество писателя в стройную систему, во-вторых, сказать новое слово о некоторых, на вид мало проблематичных произведениях его, а во-третьих, дать удовлетворительное толкование таким произведениям, которые до сих пор не получили полного и убедительного объяснения. Одим из главных достоинств Вудуорда следует признать, на наш взгляд, то, что свою мысль он строит на поразительно точном знании и на исключительно обстоятельном разборе *текста* андреевских произведений, что, по правде сказать, являлось ахиллесовой пятой большинства более ранних работ об этом писателе.

Особенно значительным для андрееведения нам кажется толкование Вудуордом некоторых, особенно сложных по своей проблематике, произведений Андреева, в первую очередь *Жизни Человека*, *Иуды* и *Анатэмы*. Стоит кратко рассмотреть предлагаемое Вудуордом понимание этих произведений. С убедительной аргументацией Вудуорд доказывает, что по авторской мысли *Жизнь Человека* не является мистерией человеческой жизни вообще, так как герой его, во многом выступающий представителем *посредственности*, все же не предстает символом

универсального человека, а является тем же «отступником», человеком современного Андрееву общества, которого художник и не вздумал сделать положительным героем и рупором своих идеалов. В интерпертации *Иуды* прежние ктитики и исследователи, опираясь главным образом на известную работу А. А. Измайлова[2], ограничивались, как правило, тем, что доказали: в своем герое Андреев выносит приговор над отвратительной, эгоистичной любовью: Иуда готов погубить Иисуса, а затем и самого себя, для того только, чтобы хотя бы в смерти добыться его любви. Правильности такой интерпретации не отрицает и Вудуорд, но он идет дальше, указывая и на более глубокие причины безнадежной привязанности Иуды к Иисусу. Андреевский Иуда — прежде всего правдоискатель, полагающий, что в Иисусе ему наконец удалось найти всю жизнь тщетно искомую высшую правду. Иуде, однако, присущ тот же односторонний «рационализм», характерный для доктора Керженцева из повести *Мысль* и для других андреевских «отступников». Чуждый «живой жизни», «жизни души», Иуда тем самим остается чуждым и Иисусу; в его суьдбе символизируется падение и отрицание принципа разума. Вудуорд указывает и на то, что правдоискательство Иуды, имеющее положительный, альтруистический смысл, трудно уживается с его эгоизмом и мизантропией, и эта противоречивость его фигуры допускает разные толкования повести. Герой *Анатэмы* также является представителем отвергаемого Андреевым чисто эмпирико-интеллектуального знания ; это — Сатана, скорее, однако, незначительный и ограниченный, чем злой (как и любое обыкновенное земное существо); он догадывается о противоречии между собственным пониманием мира и высшей гармонией, но к последней он (как и большинство людей) остается глух и слеп. Ограниченность и бессилие заставляют его доказать, что жизнь устроена вкорне несправедливо. Доказать этого ему, однако, не удается: пожертвовавшему собой Давиду Лейзеру — характерному представителю андреевской «второй» действительности — достается высшая правда, навсегда скрытая перед Анатэмой.

В противоположность разбору вышеуказанных произведений, спорным нам кажется в книге Дж. Б. Вудуорда анализ повестей *Мысль* и *Тьма*; тут нам казалось, что чисто философский подход к творчеству Андреева в известных случаях оказывается все же узким для передачи всего богатства андреевской концепции[3]. Далее, вызывает чувство неудовлетворенности, что и эта большая, синтетическая работа, написанная с учетом биографии писателя, связей с писателями-современниками и множества других факторов, все же не содержит подробного анализа всех важнейших произведений Андреева. Бросается в глаза отсутствие анализа единственного законченного романа писателя *Сашка Жегулев*, тем более, что роман этот, ввиду своеобразной «многопредметности», вполне, на наш взгляд, укладывается в установленной Дж. Б. Вудуордом системе. То же самое можно сказать о некоторых других произведениях позднего Андреева, в частности о повести *Он* (о которой в книге вовсе и не упоминается), а также о драмах *Собачий вальс* и *Реквием*. Мы ничего не имеем против опущения драм вроде *Дней нашей жизни*, которых Андреев и сам не очень ценил, но анализ указанных произведений в подобной синтетической работе считаем необходимым даже и в том случае, если выводимые из них заключения существенными чертами уже не дополняют нарисованного без них портрета писателя.

[2] *А. А. Измайлов*. Литературный Олимп. Москва, 1911, стр. 277.

[3] О повести *Мысль* много интересных, хотя и не бесспорных суждений содержится в недавно вышедшей статье Ю. В. Бабичевой (Научные доклады высшей школы, филологические науки, 1969/5, 30—41). Свой взгляд на повесть *Тьма* автор настоящей рецензии публиковал в ежегоднике Slavica X (1970), стр. 173—85.

Все это, конечно, не лишает книгу Вудуорда большого научного значения. В раскрытии идейно-философских доминант творческого пути Андреева автор совершил образцовую работу. Ему удалось осветить этого сложного и проблематичного художника с совершенно новой стороны. Интерес к творчеству Леонида Андреева в последние годы находится в подъеме; убедительное свидетельство этого подъема, ценный труд Дж. Б. Вудуорда, несомненно, будет способствовать собой и дальнейшим успехам андрееведения.

Л. Каранчи

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

Slavica XI. 207—208 1971 Debrecen

Матеріали до вивчення історії української літератури (Materialien zum Studium der ukrainischen Literaturgeschichte). I-V. „Радянська школа", Київ, 1959-1966.

Durch die Erscheinung des letzten Bandes „Materialien" ist die Herausgabe eines nützlichen und interessanten Werkes auf dem Gebiet der ukrainischen Literaturgeschichte beendet. Solche „Materialien" können, natürlich, nur eine beschrenkte Aufgabe erfüllen. Sie sind, in erster Linie, als ein Lehrbuch für Philologiestudenten zu betrachten. „Materialien" sind dem Universitätsprogramm für die ukrainische Literaturgeschichte entsprechend aufgebaut. Die vorliegende Ausgabe hat das Ziel ihren Lesern solche Werke zu geben, die zum Studium der ukrainischen Literaturgeschichte notwendig sind. Nämlich: die wichtigsten wissenschaftlichen, literaturkritischen Aufsätze, Archivdokumenten, bibliographische Angaben. In den „Materialien" werden die Biographien einzelner Schriftsteller kurz erhellt. Die Verfasser des Buches sind Mitarbeiter des Lehrstuhls für ukrainische Literaturgeschichte der Ševčenko-Universität Kiev.

Jeder Band der „Materialien" beginnt mit einer literatur-historischen Einleitung, in der das literarische Leben der Ukraine in den entsprechenden Perioden geschildert wird. Im ersten, der altukrainischen Literatur gewidmeten Band (1959) befinden sich zwei Essais, die einer der grössten ukrainischen Literaturforschern, Akademiemitglied Olexander Bilecki geschrieben hatte. Das sind „Entwicklungswege der ukrainischen Literaturwissenschaft" und „Der gegenwärtige Zustand und Probleme zum Studium der altukrainischen Literatur". In diesem Band wird das Schaffen solcher Schriftsteller betrachtet, wie I. Vyšenski, H. Skovoroda usw. Der zweite Band (1961) ist der Geschichte der ukrainischen Literatur in der ersten Hälfte des XIX. Jh. gewidmet. Grosse Aufmerksamkeit wird hier dem Schaffen von I. Kotljarevski, dem bekannten Autor des travestierten Epos „Eneida" geschenkt. Das Schaffen des grossen ukrainischen Dichters, des berühmten Kobsar, Taras Ševčenko bildet den Inhalt des IV. Teiles dieses Bandes. Der Redakteur Doz. I. Skrypnyk betrachtet in diesem Band die Entwicklung der ukrainischen Literaturwissenschaft in der ersten Hälfte des XIX. Jh. Im dritten Band (1960) ist der Stoff zur ukrainischen Literatur in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts gesammelt. Der Verfasser der Einleitung ist Doz. M. Komyšančenko. Gegebener Band macht uns mit der Schriftstellerin Marko Vovčok, P. Kuliš, mit den Klassikern des ukrainischen Romans I. Nečuj-Levycki, Panas Myrny, mit dem hervorragenden Revolutionär-Demokrat, Dichter, ersten Übersetzer Petőfi's Werke in Ukrainisch P. Hrabovski, mit den bedeutenden Dramatiker Starycki, Kropyvnycki und Karpenko-Kary bekannt. Dieser Band ist mit Materialien von dem Riesen der ukrainischen Literatur Ivan Franko geschlossen. Im vierten Band (1961) befassen sich die Autoren mit dem Schaffen ukrainischer Schriftsteller, die Ende des XIX. — Anfang des XX. Jh. in der Literatur wirkten. (M. Kocjubynski, Lesja Ukrainka, V. Stefanyk, O. Kobyljanska usw.). Der einleitende Aufsatz des Bandes wurde von der Redakteurin des Bandes Doz. N. Žuk geschrieben.

In den zwei Büchern des Letzten Bandes der „Materialien" sieht man die ukrainische sowietische Literatur. Die beiden Bücher werden vom Leiter des Lehrstuhls der ukrainischen Literaturgeschichte an der Kiever Universität, von Prof. Dr. A. Iščuk und von den Mitarbeitern des Lehrstuhls Doz. P. Syrenko und Oberassistent P. Kononenko druckfertig gemacht. Das erste Buch erschien 1963. Es bezieht sich auf die Periode 1917—1932. Das Buch beginnt mit dem Artikel von Prof. Iščuk „Die Entwicklung des wissenschaftlich-kritischen Gedankens über die ukrainische sowietische Literatur".

Der zweite Teil (1966) wird der Periode von 1932 bis heute gewidmet. In diesen beiden Büchern des letzten Bandes wurden die wichtigsten, sich auf die gegebene Epoche beziehenden Literatur- und Parteidokumente versammelt. Hier ebenfalls werden wichtige Artikel über die Werke solcher Schriftsteller als Tyčyna, Rylski, Dovženko, Janovski, Ellan-Blakitny, Sossjura, Pervomajski, Bažan, Kornijčuk, Hončar, Stelmach, Tjutjunnyk vorgefürt.

Man kann behaupten, dass es in dem letzten Jahrzehnt in der Ukraine viele interessante literaturwissenschaftliche Werke erschienen sind. 1954—1957 gab das Ševčenko-Institut für Literatur der Akademie der Wissenschaften der Ukraine „Die ukrainische Literaturgeschichte" in zwei Bänden heraus. Seit 1959 bis 1966 erfolgte die Arbeit an der Herausgabe der „Materialien zum Studium der ukrainischen Literaturgeschichte". In der nächsten Zukunft werden die letzten Bände der achtbändigen Ausgabe „Ukrainische Literaturgeschichte" erscheinen. Wir, die sich für das Schicksal der ukrainischen Literatur interessieren, begrüssen diese neuen Erfolge der Ukrainischen Literaturwissenschaft und erwarten mit grossem Interesse das Erscheinen weiterer Werke von zusammenfassenden Charakter.

P. Misley

Изестия на Етнографский Институт и Музей VII (1964), 193-228, 233-63; VIII (1965), 31-5; 125-33. София.

During the past years a great number of publications, books and articles, saw the light in Bulgaria which are all connected with folk-lore and its different forms. The periodical "Izvestiya na ethnographskiya Institut i Muzey", published annually by the Bulgarian Academy of Sciences, carries most of the results of research on ethnography and folk-lore. This periodical gives a representative survey of the scientific, scholarly and research activity of experts in the above fields. Owing to exigencies of space it is impossible to enter into the details of all the papers, books and reviews published during the past few years, we must restrict ourselves to drawing attention to the most important of these.

1) For those interested in general questions of folk-lore, the article "Objectives of folk-lore research in present-day Bulgaria" written by Cvetana Romanska might offer some valuable information. The author points out that research must be carried on mainly in two directions: *a)* problems of folk-lore today, *b)* problems of traditional folk-lore.

In the article the author lays emphasis on the importance of the first problem, he points out the main lines of research and the conditions for the emergence of new folkloristic phenomena. The author goes on to analyse the present problems of traditonal folkloristic genres and the pattern of development as well as research on revolutionary, working class folk-lore and works reflecting the social circumstances of everyday life. The author points out the following: work should always be conducted according to the principles of Marxism-Leninism and the historical-comparative method must be used in all fields possible. In view of the above circumstances the author outlines the following working programme for the Section of Folklore of the Bulgarian Academy of Sciences: *a)* collection and classification of all the songs of outlaws[1], *b)* collection and evaluation of Bulgarian folk-lore popular tradition, *c)* the drawing up of a subject-index of popular pieces *d)* collection and a critical evaluation of popular prose-works, a typology of folk tales[2], *e)* collection and a critical evaluation of present day folk-lore.

[1] The word "hajdut" in Bulgarian means *outlaw*. The chief figure of "hajdut-sons" is always a simple member of poor people, the outlaw, who protects his people with sword in hand during the time of Turkish oppression.

[2] An attempt at the typology of folk-tales in Bulgaria was made already by M. Arnaudov at the beginning of the 20th century in *Български народни приказки. Ппит за класификация.* СбНУ. XXI,1905. 1—110.

Cv. Romanska points out that another important field of research could be the examination of the relationship between folk-lore and literature, and another the history of folkloristic research in Bulgaria.

In connection with Cv. Romanska's paper on folk-lore research in Bulgaria, one cannot avoid mentioning P. Dinekov's book "Bolgarski Folklore" (Sofia, 1959), in which the author gives a detailed outline of the work to be done in the above field.[3] Among others P. Dinekov draws attention to the examination of objective social and economic conditions which have an effect on the development of folk-lore, suggests new methods of research to adopt, urges to make a comparative study of Slavic and Balkan folk-lore.

2) The article written by St. Stoikova "Traditional and Progressive Motifs in the Historical-Heroic Folk Poetry of Bulgaria" is also of interest which, investigating the interaction of tradition and folk-lore, is trying to find the forms of this interaction and raises the question: to what extent is the development of folkloristic genres affected by this interplay. In the paper the author comes to the conclusion that tradition and progress act as two dominant forces in all the traditional genres of folk-lore. The development of folk-poetry is basically a constant process of interplay between tradition and the sentiment of the present day. St. Stoikova points out that the interaction of tradition and progress can be studied especially in the historical-heroic songs. The author mentions the heroic songs which emerged during the Turkish opression. These songs were known and sung up till the 16th century, and the 17th century saw the appearance of hajdut-songs. Revolutionary songs appeared in the second half of the 19th century and in the 20th century. According to the author these songs were closely connected with the revolutionary ideology and traditional poetry of hajdut-songs. The last period of historical-heroic folk poetry of Bulgaria is represented by anti-fascist songs. The author treats them in great detail and states that the interplay of tradition and progress can be seen in the sharpest form in these folk songs. As regards their form, they fall into two groups in the classification of St. Stoikova: 1. Songs composed with the motifs of traditional folk songs; 2. Songs composed with the motifs of various individual poets which, in the course of time have passed into folk-lore, etc. According to St. Stoikova the adaptation of poetic works is the principal sign of the work of tradition.

3) Already from the first decades of Bulgarian folkloristic research the various collections of texts contain a number of songs, verses, dialogues, ditties which were written for children. Of the papers published recently, the one written by Cv. Romanska and G. Veselinov "Problems of the Study of Childrens' Folk-lore. Lullabie's is of particular interest, which is part of the research work completed in this field so far.

In the introduction general questions of children's folk-lore are treated, e.g. what should be classified as children's folk-lore, the comlexity of the problem, its ancient forms and specific nature, etc. The authors discuss the importance of children's folk-lore in education, analyse the ways and means how these pieces come into being, spread and survive. They also comment on the literature written on this branch of folk-lore studies.

In connection with children's folk-lore the authors propose an entirely new classification on the basis of a critical examination of previous classifications and with due attention paid to the problems of the content, poetic and linguistic qualities of these pieces.

The authors point out that the various verses and songs show a great diversity, exhibit not only contextual differences, but moral and linguistic peculiarities as well. When Bulgarian children's folk-lore is compared to similar folkloristic pieces of other Slavic peoples, one cannot help noticing similarities of content, specificancy and motifs.

The authors give a detailed analysis of nursery rhymes in their paper. They study the motifs, content, character, poetry, structure, the connections between their form and content. They come to

[3] П. Динеков, Български фолклор (София, 1959, 146—55).

the conclusion that the peculiar, typical features of popular poetry can be found in these nursery rhymes, similarly to nearly all other forms of children's folklore.

4) Comparatively little attention was paid in Bulgaria to folk tales until quite recently. There is, however, still a great number of problems to solve in this field. One must state at the same time that much has been done in the past years in the investigation and publication of these works. A fine paper should be mentioned in this place: Rositsa Angelova's "Bulgarian Folk-Tales and Legends Today". In this article the author treats popular prose works collected by herself for over ten years and which have not been published so far.

In the first part of the paper the author gives a chronological list of collections of folk-tales and publications which have seen the light up till the present day. R. Angelova's paper is an important contribution to research and gives invaluable help to those interested in questions of popular prose works in Bulgaria.

Then the author goes on to treat questions which have not as yet been dealt with to any appreciable extent in folk-lore research in Bulgaria. Three major points should be mentioned here: 1) The relationship of popular prose works and the genres of popular (folk) poetry; 2) The problems of how popular prose-works are made and how they spread; 3) In what circumstances popular prose works live nowadays and how they flourish and spread.

In connection with the first problem, the author proves with a great number of examples that the same themes are found to live side by side in popular prose works, and in popular (folk) poetry, displaying only minor variations.

As regards the authors and propagators of popular prose works, R. Angelova points out that story-tellers in rural communities do very much in keeping the stories alive and handing down from generation to generation; they almost invariably are people with artistic abilities. As regards the repertoire of story-tellers the author has found that among the changed circumstances of the modern socialist society these people tend to know less stories and tales than was the case formerly, and it is only among the old people (60—70 year old men and women) that one can find persons who know as many as 100—150 tales. The author also concerns herself with the problem of how the various social layers of the people in Bulgaria are interested in popular prose works. She proves with examples and instances taken from her own collection and experience that there is still a marked interest in popular prose tales and legends among the people of Bulgaria and the talented story-tellers greatly contribute to keeping these stories alive for the young generations.

As it is probably clear even from this short survey, experts of folk-lore in Bulgaria are doing their best to meet the manifold tasks arising from the various fields of folk-lore studies. It is especially important in Bulgaria, where research of folklore started much later than in other countries and they have to overcome a considerable timelag both in field work, theoretical matters and methodological problems. The need to employ methods which have proved effective in other countries is being more acutely felt than ever before; methods which could speed up folkloristic work in all fields.

M. J. PANDUR

INDEX

П. Швайгер —Я. Матэ: К вопросу о структурном описании предложения в русском языке 5
Ш. Яношка: Особые случаи употребления союзных слов *кто* и *что* 17
Й. Драхош: К вопросу категории предельности/непредельности в глагольных действиях 31
A. Steffen: Greckie ślady w toponomastyce Rusi 43
В. М. Григорян: Пушкин в оценке русских поэтов конца 30-годов XIX века . . . 47
L. Karancsy: Léonide Andréiev après la révolution de 1905 71
J. Veress: Andreï Roublev 81
Л. Имре: М. Бабич и В. Брюсов 91
L. Jagusztin: The Last War in Present Literature 103
J. A. Matyi: L'expérience de la deuxième guerre mondiale dans quelques ouvrages de I. Naguibine 113
Л. Хегедюш: Молодежный журнал «Юность» 121
J. Orłowski: Ferencz Renyi — bohatier zapomnianego polskiego wiersza 131
I. Csapláros: Histoire de la Société Hongroise de Mickiewicz 135
Z. Ujváry: Les rapports slaves des coutumes populaires hongroises et l'histoire du peuplement 153
E. Ojtozi: Slawische Bücher in den Sammlungen der Universität in Debrecen bis 1850. I. Mitteilung 163

Chronica

Ф. Папп: Конференция о славянском слове 171
P. Misley: Ivan Petrovyč Kotljarevski (1769—1838) 175

Critica et Bibliographia

А. Е. Супрун: Славянские числительные — Становление числительных как особой части речи *(Ш. Яношка)* 179
Russian Derivational Dictionary *(Ф. Папп)* 181
Русский язык и советское общество *(Ф. Эрдеи)* 183
Журнал «Русская речь» (1967—) *Б. Леваи)* 189
С. Б. Бернштейн, В. М. Иллич-Свитыч, Г. П. Клепикова, Т. В. Попова, В.В. Усачева: Карпатский диалектологический атлас *(А. Фодо)* 193
K. Habovštiaková: Bernolákovo jazykovedné dielo *(I. Kovács)* 197
J. B. Woodward: Leonid Andreyev *(Л. Каранчи)* 201
Матеріали до вивчения історії української літератури *(P. Misley)* 207
„Известия на Етнографский Институт и Музей" VII (1964), 193—228, 233—63; VIII (1965), 31—5, 125—33 *(M. J. Pandur)* 208

СОДЕРЖАНИЕ

П. Швайгер—Я. Матэ: К вопросу о структурном описании предложения в русском языке 5
Ш. Яношка: Особые случаи употребления союзных слов *кто* и *что* 17
Й. Драхош: К вопросу категории предельности/непредельности в глагольных действиях 31
А. Штеффен: Греческие следы в топономастике России 43
В. М. Григорян: Пушкин в оценке русских поэтов конца 30-х годов XIX века . . . 47
Л. Каранчи: Леонид Андреев после революции 1905 г. 71
Й. Верешш: Андрей Рублев 81
Л. Имре: М. Бабич и В. Брюсов 91
Л. Ягустин: Война в сознании наших дней 103
Й. А. Мати: Впечатления второй мировой войны в некоторых произведениях Ю. Нагибина 113
Л. Хегедюш: Молодежный журнал «Юность» 121
Я. Орловский: Ференц Рени — герой забытого польского стихотворения 131
И. Чапларош: История Венгерского Общества им. Мицкевича 135
З. Уйвари: Славянские связи венгерских обычаев и история населения 153
Э. Ойтози: Славянские книги в библиотеке Дебреценского университета до 1850 г. I. ч. 163

Хроника

Ф. Папп: Конференция о славянском слове 171
П. Мишлей: Иван Петрович Котляревский (1769—1838) 175

Критика—библиография

А. Е. Супрун: Славянские числительные — Становление числительных как особой части речи *(Ш. Яношка)* 179
Russian Derivational Dictionary *(Ф. Папп)* 181
Русский язык и советское общество *(Ф. Эрдеи)* 183
«Русская речь» I—III (1967—) *(Б. Леваи)* 189
С. Б. Бернштейн, В. М. Иллич-Свитыч, Г. П. Клепикова, Т. В. Попова, В. В. Усачева: Карпатский диалектологический атлас *(А. Фодо)* 193
K. Habovštiaková: Bernolákovo jazykovedné dielo (*И. Ковач*) 197
J. B. Woodward: Leonid Andreyev (*Л. Каранчи*) 201
«Матеріалы до вивчения української літератури» (*П. Мишлей)* 207
«Известия на Этнографский Институт и Музей» VII (1964), 193—228, 233—63; VIII (1965), 31—5, 125—33 *(М.Ю. Пандур)* 208

TABLE DE MATIÈRES

P. Svaiger—J. Máté: Le problème de la déscription structurelle de la phrase dans la langue russe 5
S. Jánoska: Les cas spécifiques de l'emploi des conjonctions кто et что 17
J. Drahos: Le problème de la catégorie terminative/aterminative du verbe 31
A. Steffen: Traces grecs dans la toponomastique de la Russie 43
V. M. Grigorian: Pouschkine dans la critique à la fin des années trente du XIX^{e} s. 47
L. Karancsy: Léonide Andréiev après la révolution de 1905 71
J. Veress: Andreĭ Roublev 81
L. Imre: M. Babics et B. Brĭoucov 91
L. Jagusztin: La guerre dans la conscience de nos jours 103
J. A. Matyi: L'expérience de la deuxième guerre mondiale dans quelques ouvrages de I. Naguibine 113
L. Hegedüs: Le journale de la jeunesse «Юность» 121
J. Orłowski: Ferencz Renyi — le héros d'un poème oublié polonais 131
I. Csapláros: Histoire de la Société hongroise de Mickiewicz 135
Z. Ujváry: Les rapports slaves des coutumes populaires hongroises et l'histoire du peuplement 153
E. Ojtozi: Les livres slaves dans les fonds de la Bibliothèque d'Université de Debrecen jusqu'à 1850. Partie I. 163

Chronique

F. Papp: Conférence sur le mot slave 171
P. Misley: Ivan Petrovicht Kotliarevski (1769—1838) 175

Critique et comtes rendus

А. Е. Супрун: Славянские числительные — Становление числительных как особой части речи *(Ш. Яношка)* 179
Russian Derivational Dictionary *(F. Papp)* 181
«Русский язык и советское общестно» *(F. Erdei)* 183
«Русская речь» (1967—) *(B. Lévai)* 189
С. Б. Бернштейн, В. М. Иллич-Свитыч, Г. П. Клепикова, Т. В. Попова, В. В. Усачева: Карпатский диалектологический атлас *(A. Fodó)* 193
K. Habovštiaková: Bernolákovo jazykovedné dielo *(I. Kovács)* 197
James B. Woodward: Leonid Andreyev *(L. Karancsy)* 201
«Матеріали до вивчения історії української літератури» *(P. Misley)* 207
«Известия на Етнографский Институт и Музей» VII (1964), 193—228, 233—63; VIII (1965), 31—5, 125—33 *(M. J. Pandur)* 208

NOS COLLABORATEURS

ISTVÁN CSAPLÁROS
titulaire de la Chaire de Philologie Hongroise
(v. Slavica I.)

JÓZSEF DRAHOS
(v. Slavica II.)

FERENC ERDEI
professeur adjoint à la Chaire de
Philologie Slave
(Hongrie, Debrecen 10.)

SÁNDOR FODÓ
professeur adjoint (l'URSS, Ouzgorod,
Université)

V. M. GRIGORĬAN
(l'URSS, Yerevan, 19, Aiguedzor, I tup., 9 N. 64)

LÁSZLÓ IMRE
assistant à la Chaire de Littérature Hongroise
(Hongrie, Debrecen 10.)

LIDIA HEGEDÙS
assistante à la Chaire de Philologie Slave
(Hongrie, Debrecen 10.)

SÁNDOR JÁNOSKA
(v. Slavica II.)

LÁSZLÓ JAGUSZTIN
assistant à la Chaire de Littérature Russe
(Hongrie, Debrecen 10.)

LÁSZLÓ KARANCSY
maître de conférences
(v. Slavica I.)

ISTVÁN KOVÁCS
(v. Slavica II.)

BÉLA LÉVAI
assistant à la Chaire de Philologie Slave
(Hongrie, Debrecen 10.)

JÓZSEF MÁTÉ
professeur adjoint
(Roumanie, Cluj)

J. ANNA MATYI
assistante à la Chaire de Littérature Russe
(Hongrie, Debrecen 10.)

PÁL MISLEY
assistant à la Chaire de Littérature Slave
(Hongrie, Debrecen 10.)

ESZTER OJTOZI
(v. Slavica II.)

JAN ORŁOWSKI
Chaire de la Philologie Slave, l'Université de
Marie-Curie Skłodovska
(Pologne, Lublin)

M. JÚLIA PANDUR
(v. Slavica II.)

FERENC PAPP
maître de conférences, titulaire de Chaire de
Philologie Slave (v. Slavica I.)

JAUGUSTIN STEFFEN
professeur de l'université
(Angleterre, 85 West Cromwell, London, S. W. 5)

PAUL SVAIGER
professeur adjoint
(Roumanie, Cluj)

ZOLTÁN UJVÁRY
maître de conférences
(v. Slavica I.)

JÓZSEF VERESS
(v. Slavica II.)